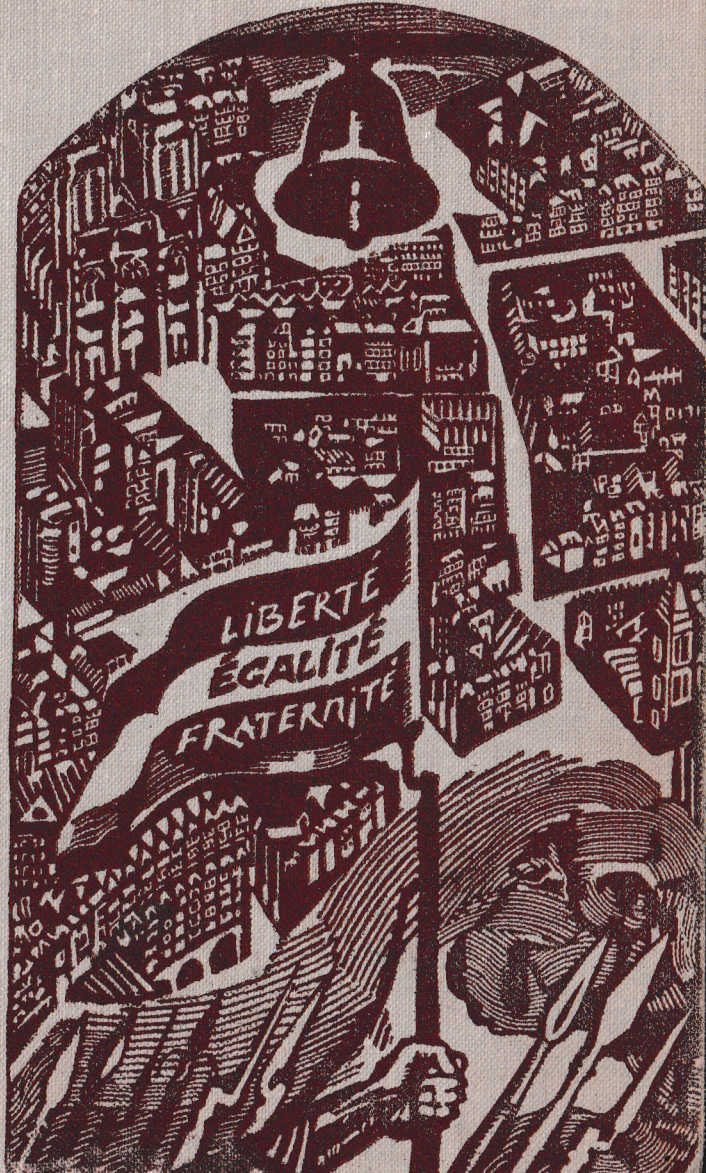


Евангелие от Робеспьера **ВДХ**

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

Евангелие от Робеспьера **ВДХ**

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН



**Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1970**



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •



• СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ

*Анатолий
Гладилин*

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ РОБЕСПЬЕРА

ПОВЕСТЬ
О ВЕЛИКОМ ФРАНЦУЗСКОМ
РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

Книга рассказывает о последних пяти годах жизни Робеспьера. Это время Великой французской революции, одним из вождей которой был неподкупный и железный якобинец Максимилиан Робеспьер. Перед читателем проходит весь путь Робеспьера-революционера от скромного провинциального адвоката, никому неизвестного депутата собрания, до фактического главы государства и революции, обладающего безграничным авторитетом и властью. Этот путь к вершине революции краток по времени, но необычайно насыщен по напряжению сил, абсолютной и бескомпромиссной отдаче себя общему делу.

Читатель почувствует накаленную атмосферу борьбы того времени, узнает соратников и врагов Робеспьера, героев и жертв Великой французской революции 1789—1794 годов.

... То, что было завоевано в результате первой победы, становилось прочным лишь благодаря второй победе более радикальной партии; как только это бывало достигнуто, а тем самым выполнялось то, что было в данный момент необходимо, радикалы и их достижения снова сходили со сцены.

*Ф. Энгельс
(Введение к работе К. Маркса
«Классовая борьба во Франции
с 1848 по 1850 г.»)*

Не могли ли бы Вы помочь мне найти... ту статью (или место из брошюры? или письмо?) Энгельса, где он говорит, опираясь на опыт 1648 и 1789, что есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвигаться дальше, чем она может осилить, для укрепления менее значительных преобразований?

*В. И. Ленин
(Письмо В. В. Адоратскому)*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Слово герцога де Лианкура

К лицу ли такие похвалы,
когда потеряно все, даже честь!

Сюло

Герцог де Лианкур, человек, имевший право входить к маркизу в любое время дня и ночи, 6 мая 1789 года сидел в будуаре госпожи Луизы, которую он всегда называл просто Луиза, ибо ему было решительно наплевать на звание и фамилию ее мужа, хотя там и была частица «де»,— ведь сейчас любой мошенник мог купить себе дворянское звание,— такие уж наступили времена.

Ее муж всегда предусмотрительно исчезал перед приходом герцога, а герцог приходил в определенные дни, и это было известно заранее. Эта связь тянулась уже два года. Герцог де Лианкур все больше привыкал к Луизе, а Луиза, молодая, очень красивая женщина, вела себя безупречно, и если раньше в ее манерах иногда чувствовалось плебейское происхождение, то за эти два года она стала настоящей аристократкой. Достаточно было одного взгляда герцога — и Луиза понимала его. Так, например, когда недавно

Луиза обила гостиную пестрой тканью, герцог только поморщился, и уже через неделю и мебель и стены были обтянуты спокойным синим бархатом. Правда, герцог подарил ей тысячу ливров, но ведь деньги можно было истратить на другое.

Она всегда называла его герцогом. И даже в минуты интимной близости он оставался для нее «вашей светлостью». Это обращение — ваша светлость — ласкало ее слух, поднимало ее в собственных глазах, и, понимая это, герцог все же хотел, чтобы она любила его не как приближенного монарха, имевшего право входить к нему в любое время дня и ночи, а просто как человека, уже немолодого, с седыми висками, ибо он не только любил ее, он доверял этой женщине. Герцог был достаточно умен, чтобы не питать никаких иллюзий относительно собственной особы. Он твердо знал, что никогда не откажется от своего положения при дворе и не бросится очертя голову в политику, как это сделали герцоги Орлеанский и Ларошфуко, а ведь он получил не менее блестящее образование, изучал философию и по многим вопросам, касающимся последних событий, имел собственное мнение.

Когда-то в аристократических салонах рассуждали о философии, потом пришла мода на мистицизм, теперь все говорили только о политике. Слушая герцога, сочувственно вздыхая и поддакивая ему в паузах, Луиза, наверное, думала, что она ведет обычную светскую беседу, но герцог был слишком горд для того, чтобы придерживаться общей моды. То, что он рассказывал, действительно волновало его, ему надо было выговориться, и, главное, он знал, что дальше этих стен его слова никуда не пойдут.

— Расточительность Калонна имела так же мало
6 успеха, как и бережливость Неккера, — говорил гер-

цог, попивая из тонкого бокала красное вино, — наш дефицит достиг почти ста сорока миллионов. Его величество уменьшил расходы на охоту, и это вызвало негодование двора. Королю ничего не оставалось, как попытаться через парижский парламент провести эдикт о займе на пять лет в сумме четыреста двадцать миллионов. Представляете ужас советников? Старик де Сен-Венсан сравнил королевство с несовершеннолетним мотом, который легкомысленно отдает себя в руки ростовщика. Король решил прибегнуть к силе, он арестовывает д'Эпремениля и ссылает герцога Орлеанского в Вилье-Котере. Чего же он этим добился? Парламент отказался вотировать эдикт и потребовал созыва Генеральных штатов. Парламенты Бретани и Дофинэ ответили еще резче. Нужно было успокоить нацию и удовлетворить кредиторов государства. Недовольны были все: двор, духовенство, дворянство, парламент, народ. Что бы ни делал король — все было плохо. Он шел на хитрость — и ронял себя в глазах общественного мнения. Он прибегал к силе — и его начинали ненавидеть. Он предлагал реформы — его называли узурпатором. И так как он уже не мог править нацией, пришлось призвать саму нацию к кормилу правления. Его величество добр, примерный семьянин, ревностный католик. Он покидал балы, чтобы в тишине спокойно поработать у столярного станка. И это вызывало насмешки. Король любит охоту, это единственная его отрада. Когда обсуждался вопрос о месте созыва Генеральных штатов, король заявил: «Это может быть только в Версале по причине охоты». Конечно, у каждого человека свои слабости, но ведь это король! Время ответственное! Король слабохарактерен — значит, надо окружать себя твердыми людьми! Кто же около него? Он опять призвал Неккера на пост министра финансов,

а сам не верит ему! Король громогласно заявляет, что поступил так против своей воли. Принцы? Граф д'Артуа — ограниченный недалекий человек. Вокруг него образовался штаб разгневанных дворян. Они кричат, что король решил принести в жертву наше храброе сословие, так много сделавшее для отечества. Но ведь народ голодает. Засуха и град уничтожили посевы. В Париже люди простаивают ночи у булочных, и номер очереди пишется мелом на спинах...

Вообще-то герцог де Лианкур редко думал о народе и представлял его себе некой абстрактной массой. О падеже оленей в королевских лесах он говорил бы также взволнованно, но с большим знанием дела. Но он заметил, что Луиза посмотрела на него с особенным уважением, и ему показалось, что он понял ее мысли: «Вот что значит государственный человек, его заботит судьба королевских подданных». И герцог продолжал развивать тему:

— Когда состоятельные парижане ехали на выборы депутатов в Генеральные штаты, им навстречу на телегах везли трупы замерзших бедняков. Во всей Европе мы держим первенство по роскоши двора и по числу нищих. А огромная армия разбойников на лесных дорогах? Ведь это люди, отчаявшиеся найти работу! Да что тут говорить, — герцог отставил бокал вина и взглянул на Луизу, — кажется, с нее достаточно. — А что заботит другого принца, графа Прованского? Он мечтает вернуть времена Ришелье. Назад в семнадцатый век? И эти люди определяют политику двора! На короля оказывает влияние Мария-Антуанетта? Конечно, она красивая женщина; естественно, она ищет развлечений... — Тут герцог вскочил и заходил по гостиной. — Но ведь это же неприлично! Она спала с каждым третьим! Она подарила государственную казну графине Полиньяк! А эта ее

новая страсть к принцессе Ламбаль! Да еще на глазах у всех! О какой же государственности может идти речь?

Герцог опустилсЯ в кресло.

— Вы устали, ваша светлость? — ласково спросила Луиза.

— Да, вчера был тяжелый день... Торжественное открытие Генеральных штатов. Много шума из ничего. Накануне открытия его величество лично отдавал указания при размещении ковров и драпировок и репетировал тронную речь, изучая интонации своего голоса. Но тем не менее он умудрился оскорбить все третье сословие. Дворянство и духовенство проходили во дворец через главный вход, а шестистам депутатам третьего сословия пришлось два часа протискиваться через узкую заднюю дверь. Кстати, им приказали быть одинаково одетыми, и они напоминали стадо баранов. Выступал Неккер. Депутаты, конечно, ожидали от него реформ, а он предложил им...

И тут герцог употребил изящный оборот, который нельзя перевести на русский язык, а смысл сводился к тому, что депутатам предложили фигу с маслом.

— А как была одета королева? — тихо спросила Луиза, и герцог, словно очнувшись, понял, что его рассуждения мало интересны молодой женщине и что она променяла бы все эти умные разговоры на возможность присутствовать на торжестве, на котором был весь большой свет. Более того, в этом вопросе чувствовался скрытый упрек: мол, герцог мог бы позаботиться о том, чтобы Луиза сидела в ложе одетая так же, как, допустим, графиня Монморанси или госпожа де Сталь. В первую секунду герцог готов был оскорбиться, но потом подумал, что нельзя требовать так много от милой и красивой женщины. И вообще, он приехал сюда не за этим.

— Королева была одета очень просто,— сухо ответил герцог.

* *

*

Герцог де Лианкур приезжал к Луизе раз в неделю. Их беседы теперь носили чисто светский характер, и если Луиза задавала вопрос о политике, герцог делал вид, что не слышит,— он был злопамятен. Но как-то в начале июля он пришел очень возбужденный и сам заговорил на тему, которой поклялся не касаться.

— Дорогая Луиза, мне жаль, что умер старик Вольтер. Ему не надо было бы ничего придумывать, вся наша теперешняя жизнь — сборник анекдотов.

Герцог при желании мог быть очень остроумным собеседником. Сегодня он был просто в ударе.

— Как вам известно, мы пошли на созыв Генеральных штатов не от хорошей жизни. Первые два сословия были похожи на шулеров, которые намеревались при помощи парламентского покера обобрать неопытного и простодушного новичка — третье сословие. Возможно, это бы нам удалось, но зачем, еще не успев сесть за стол, передергивать карты? Не понимаете, в чем тут фокус? — Объясню. Третье сословие хотело сообща проверять депутатские полномочия и заседать в одной палате с дворянством и духовенством. Но наши хитрецы объединяться, естественно, не желают. При голосовании посословно у дворянства и духовенства — два голоса против одного третьего сословия. При общем голосовании депутаты третьего сословия выравнивают свои шансы — их шестьсот человек, половина Собрания. Однако здравый смысл подсказывает идти на объединение и не отпугивать новичка, впервые принятого нами в игру. Но что нам

10 здравый смысл? Нам традиции дороже! Нэккер сове-

тует королю, как лицу наиболее заинтересованному, объединить сословия и тем самым, хотя бы для начала, создать видимость приличного заведения. Однако играть в покер его величеству слишком сложно. Он предпочитает жмурки. Больше месяца новичок не соглашается на крапленую колоду, к тому же он с удивлением замечает, что его не только не гонят из благородного дома (Версаля), а, наоборот, среди шулеров растерянность и уныние, и раздаются голоса, требующие честных условий. Новичок слышит громкий, одобрительный голос Парижа и идет ва-банк. Депутат Сиейс — он известен своей брошюрой о третьем сословии — предлагает не считать депутатами тех, кто не явится на общую переключку во дворец «Малых забав». Два первых сословия отклоняют предложение Сиейса, но через день туда приходит десяток священников. Их встречают слезами и объятиями. Король по-прежнему сидит зажмурившись, и тогда третье сословие провозглашает себя Национальным собранием и ходит с козырей: все налоги без санкции Национального собрания объявляются незаконными; сбор налогов прекращается, если собрание будет распущено; собрание начинает изучать требования народа. После этого депутаты расходятся по домам. Они объявили войну и ждут ответных репрессий: роспуска, высылки, ареста и т. д. Им остается уповать только на чудо, и чудо свершается. Через день в зал «Малых забав» с пением входят сто сорок священников, неся на руках своих епископов. Всеобщий плач и ликование. В городе повышается спрос на носовые платки. Тогда принцы расталкивают короля и заставляют его закрыть дворец «Малых забав». Прекрасное решение! Третьему сословию нечего терять, пути к перемирию отрезаны и депутаты собираются в зале для игры в мяч. Играют они дружно

и выигрывают сочувствие всей страны. Мунье, либерал из провинции Дофинэ, предлагает текст клятвы. Председатель Собраниа астроном Бальи зачитывает ее вслух и клянется первым. Национальное собрание торжественно обязуется не прекращать своих заседаний, пока не будет выработан текст конституции. Тут уж король и без советчиков понимает, что больше нельзя сидеть сложа руки, и собирает все три сословия. Наш добряк старается придать своему голосу металлические интонации и, отменяя все принятые ранее решения, распускает Национальное собрание, приказывает депутатам немедленно разойтись по-словно в разные помещения. Никогда его величество так молодецки не играл роль монарха. Правда, почему-то никто не кричит: «Да здравствует король!». Но дворяне и духовенство уходят вслед за его величеством. Третье сословие молча сидит в центре зала. Мой друг, оберцеремониймейстер маркиз де Брезе, с любопытством осведомляется, почему сидящая публика еще не очистила помещение. И тут встает известный кутила и смутьян маркиз Мирабо, которого еще родной отец предпочитал держать подальше от себя... в тюрьме. Обстановка скандала привычна для Мирабо, и он кричит: «Скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и оставим наши места только уступая силе штыков!» Де Брезе спешит сообщить его величеству о «маленькой заварушке». Офицеры королевской гвардии поправляют шпаги, но, дорогая Луиза, дело в том, что его величество просто не в силах играть роль решительного монарха два раза в один день. «Да идите вы все к черту!» — говорит король. Действительно, что пристали к занятому человеку, которого ждет столярный станок! На следующий день третье сословие заседает вместе с духовенством, а через день к ним приходят сорок семь дворян во

главе с нашими либералами — графами Монморанси, Клермон-Тоннером, герцогом Ларошфуко, и тут же, конечно, Орлеанский собственной персоной. Говорят, в зале такое началось! Итак, подведем итоги. Вместо того, чтобы стать во главе представителей нации, король сделал их своими врагами. Вместо того, чтобы укрепить свою власть, король отдал ее Национальному собранию. Теперь, конечно, ему осталось только придать своему лицу благородное выражение и указом сверху заставить присоединиться к Собранию тех немногих депутатов, которые еще ничего не поняли. Кстати, отныне собрание называется Учредительным. Ему предстоит выработать долгожданную конституцию. Париж ликует. В Пале-Рояле бесконечный митинг. Армия братается с народом. Как говорится, мы доигрались. Вид рослых гвардейцев, обнимающихся с мастеровыми, может кого хотите привести в волнение. Но, как ни странно, больше всего волнуются депутаты. Храбрые ребята из Учредительного собрания в панике бросаются к королю. Его величество успокаивает их: «Пока нация полагается на меня, все будет хорошо». Кажется, все встает на свои места. Есть возможность помириться с Собранием и заглазить промахи. Но граф д'Артуа грозит Неккеру кулаком. Добродетельная королева в ярости. Прошедшие два месяца их ничему не научили. При дворе ходят слухи, что короля снова уговорили прогнать в отставку Неккера, распустить Собрание и окружить войсками Париж. Король пока делает вид, что ничего не случилось, а на последнем заседании совета он вообще притворяется спящим. Может, он всерьез думает, что все это ему только снится и в один прекрасный момент он проснется таким же абсолютным монархом, как Людовик XIV? В преемники Неккеру прочат барона Бретейля. Барон уже успел

громогласно заявить: «Если надо сжечь Париж — мы сожжем его!» Не знаю, может, у него личные счеты с городской пожарной охраной, но для меня ясно: мы играем с огнем.

* *

*

14 июля герцог де Лианкур впервые за долгое время пропустил условленное свидание. День выдался хлопотный, разве тут до Луизы! Из Парижа приходили тревожные вести. Вчера кавалерийский отряд князя Ламбеска забросали камнями. В городской ратуше образован новый комитет. Горожане громят оружейные склады. Сначала говорили, что парижской ратушей управляет купеческий старшина Флессель. Потом прошел слух, что кто-то видел, как голову Флесселя проносили на пике. Вот и пойми этих парижан! Все утро со стороны Парижа доносилась оружейная и орудийная канонада. Во дворце все ходили с перекошенными лицами. Жадно ждали новых сообщений. Народ осаждает Бастилию! Комендант де Лонэ отбил нападение разбойников! Национальная гвардия присоединилась к народу! Бастилия взята!

Дважды к королю приходила перепуганная делегация депутатов собрания. Король лепетал что-то невразумительное. Принцы беспрерывно совещались. В конце концов они решили убедить короля, что слухи о взятии Бастилии — ложь. Успокоенный король ушел спать. Вероятно, в эту ночь заснул только он один. По залам дворца бродили тени. Огни во дворце были потушены.

У дверей спальни дофина герцог де Лианкур нос к носу столкнулся с принцем Конде. Они отошли к раскрытому окну. Герцогу показалось, что в темном парке ходят какие-то люди.

— Армия ненадежна. Париж в руках разбойников. Вся Франция в руках разбойников. Всеми виной либералы. Надо было сразу картечью расстрелять Национальное собрание. Король глуп. Теперь нам остается только эмиграция.

— Бастилия взята?

— Взята. Де Лонаэ — ничтожество. Кстати, мне сообщили, что толпа растерзала его на площади.

— За что убили этого... Как его?.. Флесселя?

— Он не давал ключи от оружейных складов.

— В Бастилии были политические заключенные?

Принц нервно рассмеялся:

— Я-то знаю, кто там сидел: четверо осужденных за подлоги, два сумасшедших, один развратник-садист. Хороши политики! Но Бастилия была самой неприступной крепостью Франции.— Принц забарабанил пальцами по стеклу.— А Версаль — оранжерея. Чем будем отбиваться от разбойников? Цветочками?

Принц Конде круто повернулся и исчез в темноте коридора. И снова герцогу показалось, что в парке за деревьями бродят какие-то люди.

В середине ночи герцог получил пакет. Секретные агенты сообщали, что по городу расклеены прокламации, в которых какие-то неизвестные люди приговаривают графа д'Артуа к смертной казни.

Рано утром герцог де Лианкур твердыми шагами вошел в спальню короля. Он принял решение. Довольно. Кончилась игра в жмурки. Надо раскрыть глаза королю. Произошло страшное. Непоправимое. Политика двора потерпела крах. Графу д'Артуа надо уезжать в эмиграцию. Надо уговорить короля прийти в Собрание. Он должен принять все их требования. Он должен пойти на поклон к Парижу. В этом единственное спасение. Иначе король потеряет корону вместе с головой. И сейчас именно герцог де Лианкур

может спасти монархию, если сумеет все объяснить королю, если король его поймет. Но как сделать, чтобы он понял?

— Ваше величество, Бастилия пала, — сказал герцог.

Король сидел в постели, недовольный тем, что его рано разбудили. Видимо, спрсонья он плохо соображал. Он поморщился и спросил охрипшим голосом:

— Это... бунт?

Опять он ничего не понял! Ну как ему растолковать? И тут герцог де Лианкур вспомнил то слово, которое все объясняло и о котором он раньше боялся подумать:

— Нет, ваше величество, вы ошиблись: это не бунт, это революция!

Герцог не подозревал, что с этого момента он навсегда вошел в историю.

Глава II

Вступление к Робеспьеру

Поняли его только тогда, когда сама революция потребовала, чтоб ее поняли.

Луи Блан

Максимилиан Мари Исидор
де Робеспьер
6 мая 1758 года
Аррас
В семье судейского чиновника

Лучший ученик колледжа Людовика Великого, увлеченный историей древней Греции и Рима, знающий
16 все про Траяна и про Тиберия, про Катона, Катилину,

Брута, братьев Гракхов, читающий наизусть отрывки из Цицерона.

Не в меру серьезный подросток, рано потерявший родителей,

открыл как-то книгу, где: «первый, кто, оградив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», и нашел людей, которые были настолько простодушны, чтобы поверить этому...»

Великий женевец гражданин Жан-Жак, страдая от нищеты, изобличал тиранов и деспотов и проповедовал идею всеобщего равенства, торжество добра и справедливости, которое обязательно, непременно наступит, как только добродетельные люди во главе с просвещенными правителями изгонят из своей среды людей корыстных и жадных и примут «Общественный договор».

Студент Сорбонны в то время, как его сокурсники расширяли свои познания на веселых пирушках у Мими и Жаннет, проводил вечера в маленькой мансарде, изучая юриспруденцию и философию, предварительно аккуратно повесив на вешалку свой единственный костюм.

Ничто человеческое не было чуждо

Максимилиану Мари Исидор де,

и мечта о прекрасной незнакомке, некой абстрактной девушке (нечто среднее между молоденькой белошвейкой, что каждое утро пробегала в лавку, и бледной аристократкой, проехавшей однажды в карете по его улице), конечно, посещала скромную студенческую мансарду.

Но, во-первых, прекрасная незнакомка должна была полюбить и понять застенчивого провинциального юношу,

во-вторых, к приходу единственной и вечной любви он должен был стать достойным ее, а эти

достоинства можно было приобрести только усиленной и усердной работой над книгами — ступеньками к познанию мира,

и, в-третьих, это восхождение к вершинам знания требовало времени, которого, увы, так не хватает человеку.

И воображаемая прекрасная незнакомка вежливо выпроваживалась за дверь, ибо уже тогда

Максимилиан Мари Исидор де

умел соизмерять свои желания и возможности.

Весной 1777 года

великий Жан-Жак, ниспровергатель тронов и деспотизма, философ, которому поклонялась Франция и Европа,

написал воззвание к людям, прося кусок хлеба и крышу над головой.

Старость и нищета опустили свои руки на плечи Жан-Жаку, но на его счастье меценат маркиз де Жирарден вовремя сообразил, что может прославить свое имя, дав приют женевскому гражданину в своем поместье Эрменонвиль.

Лишь через год после того, как Руссо поселился у своего благодетеля,

его воззвание

попало в мансарду к прилежному студенту Максимилиану Мари Исидор де.

Студент тут же помчался в Эрменонвиль — это абсолютно точно.

Но видел ли ученик своего учителя,

а если видел,

то о чем они говорили — абсолютно никому неизвестно.

18 (Однако есть основания предполагать, что ученик не забыл унижения, которому подвергся Руссо, живя

из милости у аристократа. Через несколько лет он об этом напомним Франции).

Прослужив около года в Париже письмоводителем прокурора парламента господина Нолло, Максимилиан Мари Исидор де, вернувшись в Аррас, стал адвокатом при совете Артуа и был избран членом Аррасской академии наук и искусств, написав работу о «Бесчестных наказаниях».

«...Граждане, отвечающие за преступления другого гражданина! Осужденные за бесчестье, заслуженное другим! О! Именно с этим чудовищем общественного порядка я борюсь. Препраждать путь преступлению следует посредством мудрых законов, соблюдения нравственности, еще более могущественной, чем законы, а не посредством жестоких обычаев, всегда более вредных для блага общества, чем самые преступления, которые они могли бы предупредить...»

И мечтал, чтобы «небо помогло бы довести его слабую работу до молодого монарха, который правит нами».

И послал эту работу в Королевское общество наук и искусств в Меце на конкурс, где и получил вторую премию.

Сделав Аррасскую академию полигоном для отработки своих тяжеловесных периодов,

Максимилиан Мари Исидор де скоро приобрел среди почтенных отцов семейств и либеральных молодых интеллигентов славу лучшего оратора

и был избран президентом Академии наук и искусств (учтивый священник Жозеф Фуше предлагал ему свою дружбу, и лишь сумрачный Лазар Карно

сразу хватался за голову, как только председатель академии просил слова).

Но разбор судебных дел при совете Артуа и успехи в литературном кружке «Розати»

не мешали ему каждый день открывать увесистый том в кожаном переплете, на страницах которого великий Жан-Жак заявлял, что не может быть исключительной национальной религии, но тем не менее требовал гражданской присяги.

Аррасского адвоката волновали политические воззрения Руссо, в которых:

Свобода каждого должна вытекать из его братского согласия с ему подобными, а то, что должно служить народу гарантией, вытекало бы из самого характера власти.

Потому что

ставить гарантии власти вне ее, а не в ней самой, значило бы неосторожно угрожать ей, раздражать ее, внушать ей желание захватить то, в чем ей отказывают, а это способствовало бы возникновению беспорядка в ожидании деспотизма.

И поэтому

Руссо взывал к общественному единству и из законов признавал только те, источником которых была общая воля,

и доказывал,

что деспотизму нескольких людей — все равно, организованному или анархическому — должна противостоять общая сила всех граждан.

Вот что запоминал адвокат при совете Артуа.

Ежедневное штудирование привело к тому, что господин Робеспьер был готов проповедовать теорию своего учителя и отстаивать принципы Руссо (ни на

йоту не отступая от них по каким-либо соображениям частного или политического характера), как только будет возможность, практически воплотить взгляды великого Жан-Жака в жизнь, но так как пока такая возможность исключалась, Максимилиан Мари Исидор де ставил увесистый том в кожаном переплете на полку и шел к мадемуазель Дезорти разучивать на клавесине в четыре руки сентиментальные романсы.

И наступил 1788 год, когда

гордые господа из парижского парламента категорически отказались вотировать королевский эдикт о новых формах налогов и, спасая кошелек дворян и духовенства, элегантно и красиво набросили им на шею петлю, потребовав созыва Генеральных штатов.

Услышав парижскую музыку, президент академии и член литобщества «Розати» быстро закрыл клавесин и издал две брошюры: 1. о необходимости коренного преобразования провинциальных штатов; 2. о выборах в Генеральные штаты; и составил наказ выборщиков Арраса.

Вскоре его избрали в Генеральные штаты от провинции Артуа (пятым из семи депутатов, и то при вторичной баллотировке).

3 мая 1789 года Максимилиан Робеспьер — малоизвестный провинциальный адвокат тридцати одного года от роду (как-то незаметно выбросивший из своей фамилии частицу «де»), одетый в новый камзол (купленный на деньги, взятые взаймы у предупредительного Жозефа Фуше), отбыл из Арраса на продолжи-

тельное свидание со своей единственной, прекрасной, которую он будет любить всю жизнь и которой никогда не изменит.

Из частного письма депутата от третьего сословия провинции Дофинэ.

«...Пока еще ничего не ясно, а тем временем по залу шляется праздношатающаяся публика, которая иногда занимает даже места депутатов. Никто не знает, что делать, но все хотят говорить. Каждый из депутатов считает своим долгом прочесть указы, и выступает так, как будто до него еще никто ничего не сказал, а он один знаток истины. Рабо Сент-Этьен предложил послать почтительные депутации к двум первым сословиям. Ле Шапелье вообще призвал начать проверку полномочий, не дожидаясь объединения. Это предложение вызвало бурю протестов. Пожалуй, этот господин слишком радикален. Тут произошел один комический эпизод. На трибуну вылез шут гороховый в каком-то диковинном камзоле оливкового цвета. Неповоротливый и неуклюжий, как твой кучер Мишель, этот депутат замогильным голосом начал читать свою речь, составленную по всем канонам школьного сочинения. Путаясь в длинных периодах, он бормотал нечто совершенно никому не понятное. Для меня так и осталось загадкой, зачем он вылез. Под конец он, по-моему, стал засыпать на трибуне, и тут уж никто ничего не слышал. Правда, если этот демосфен (я специально потом узнал его имя — не то Роберт Пьер, не то Робетпьер) хотел просто потешить собрание, то затея удалась ему блестяще. Сразу же после него на трибуну поднялся дельный человек Мирабо и предложил простую и оригинальную идею: послать депутацию только к духовенству. Очень вер-

ная мысль. По имеющимся слухам, священники хотят присоединиться к нам. Их легче уговорить. Возможно, в пику дворянству они согласятся, и тогда титулованные господа окажутся в безвыходном положении. Вообще, у меня складывается впечатление, что депутат Мирабо опытный оратор и весьма проницательный политик. Жалко, что большинством принято все-таки предложение Рабо Сент-Этьена...»

Историческая справка

14 мая 1789 года депутат от Арраса Максимилиан Робеспьер впервые выступил с трибуны Генеральных штатов. В своей речи (вызвавшей иронические аплодисменты) он предложил послать депутацию только к духовенству. Но его никто не услышал. Вернее, его услышал один человек, депутат от Прованса, граф Мирабо, который тут же повторил это предложение (вызвавшее долгие дебаты), но от своего имени.

Глава III

Хроника революции

— Да чего же, наконец, хотят эти люди?

— Ваше величество, эти люди хотят хлеба.

*Разговор Людовика XVI
с народным представителем*

Июль 1789 года.

Разгневанный парижанин танцует карманьолу, и охрипшие голоса женщин и мальчишек подхватывают припев:

— Аристократов на фонарь!

Взлетают поднятые на пики головы Фуллона и Бертье, которые совсем недавно обещали накормить

Париж сеном. А депутат Барнав иронически восклицает с трибуны Собраниа: «Так ли чиста эта пролившаяся кровь?» — и правые скамьи отвечают ему воем.

В карете, прыгающей по ухабам дороги, ведущей в Турин, граф д'Артуа, когда-то самый могущественный человек Франции, чихает от пыли и бормочет такие слова, которые еще не приходилось слышать из уст брата короля. Предатели, сволочи, свиньи! Он соберет дворян, он соберет армию!

Он уверен, что вернется. Но он не знает, что вернется только через двадцать пять лет.

А где потомки славных герцогов, баронов и маркизов, гвардии, которая умирает, но не сдается, офицеров, что на протяжении столетий воевали в белых перчатках, лихих дуэлянтов, мастеров шпаги и придворной интриги и прочее?

Скучную жизнь ведут эти господа. Они запираются в своих поместьях. На улицах города они появляются с застенчивой улыбкой и трехцветной кокардой. На муниципальных собраниях они произносят благонамеренные речи.

А по дорогам Франции идет **ВЕЛИКИЙ СТРАХ**.

Июль 1789 года. Митинги на площадях и зарево отдаленных пожаров.

ВЕЛИКИЙ СТРАХ смещает министров, подсказывает проекты законов, стоит за спинами ораторов.

Что происходит? На страну напали шайки разбойников, убийц, грабителей?

Нет. Это просто звучит «парижская музыка». И услышав ее, темный, покорный, терпеливый крестьянин прищурясь смотрит на замки сеньоров, сдвигает рваный платок на лоб и берет вилы наперевес.

Вечером четвертого августа на трибуну Учредительного собрания поднимается виконт де Ноайль.

24 С первых же его слов в огромном зале дворца «Малых

забав» все замирает. Остолбеневшие депутаты слышат, как дворянин предлагает покончить с феодализмом. Не успевают смолкнуть восторженные аплодисменты, как на трибуне аристократ-революционер герцог Эгийон. Он поддерживает предложения виконта де Ноайля. Его сменяют герцог Мателэ, потом епископ из Нанси. Начинается знаменитая ночь четвертого августа. Один за другим на трибуне появляются лидеры дворян от всех провинций. Под несмолкаемые рукоплескания трибун, под плач и приветственные крики депутатов первые два сословия отказываются:

от церковной десятины

от судебных прав

от податных изъятий

от прав на охоту

от прав на рыбную ловлю, на голубятни.

Первые два сословия отказываются от всех своих почестей и привилегий.

Но землю они оставляют себе.

Прошел август, сентябрь. Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина.

Строки Декларации отбивали похоронный звон феодальной Европе: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе».

Большинство депутатов считало, что революция — это пламенные речи, аплодисменты трибун, хлесткие статьи в газетах. Большинство было уверено, что революция кончилась. Ведь депутаты не покушались на порядок и традиции. Ведь Собрание оставило конституционную монархию, а короля утешили правом приостанавливающего вето.

Историками доказано, что среди депутатов Учредительного собрания не было ни одного республи-

канца. Возможно, революция и замедлила бы свой ход, но вдруг у нее появился новый союзник... в лице короля и его окружения. Отметим, кстати, что Учредительное собрание никогда не упускало случая хором надрывно скандировать «Да здравствует король!», если представлялась благоприятная возможность. Но такие возможности представлялись крайне редко, потому что король находился под полным влиянием двора. Двор ненавидел революцию, и каждую вынужденную уступку Собранию воспринимал как капитуляцию. Двор выискивал любую возможность нанести удар революции. Среди советчиков короля попадались и трезво мыслящие люди, но он прислушивался к наиболее оголтелым реакционерам, альковным интриганам и будуарным политикам. Их советы привели к тому, что Людовик XVI с поразительной настойчивостью и быстротой двигался кратчайшей дорогой к гильотине. И на этот раз результатом их маневров был новый революционный взрыв.

В Версаль призывают верную королевскую гвардию — фландрский полк и драгун Монморанси.

В Париже очереди за хлебом, а в театральном зале королевского дворца ресторатор Арму сервирует роскошный обед для офицеров его величества. Вино из королевских подвалов пробуждает в гвардии верноподданнические чувства. Господа офицеры срывают национальные кокарды, топчут их ногами и клянутся в верности монарху.

В Учредительном собрании гаснут речи трибунов.

Слышится дробь барабанов и четкий шаг гвардейских батальонов, марширующих на площади.

В Париже добродетельные буржуа закрывают ставни, а новая власть, муниципалитет, запирается в ратуше.

дет вперед революцию? Где вы, отчаянные ораторы, храбрые солдаты, мудрые философы, остроумные журналисты? Вы, конечно, возмущены, но почему-то вы притихли. Жутковато выступать против оцетинившихся штыками армейских каре?

Так кто же выступит?

И тогда поднимаются женщины Парижа. Они идут на Версаль.

Хлещет дождь. По булыжнику скользят легкие туфли и стоптанные башмаки. Нестройный топот многотысячной толпы. Но он звучит страшнее, чем четкая поступь солдат.

Впереди красавица Теруань де Мирекур. Она в ярко-красной амазонке, в шляпе с черным султаном. Одной рукой она правит лошадь, в другой сжимает пику. Потом газеты будут писать, что 5 октября Теруань де Мирекур была символом революционной Франции.

Рядом с ней бледнолицый высокий человек. Это Майяр! 14 июля он вел штурмовые колонны на Бастилию.

Далеко растянулась колонна женщин. А за ними идут мастеровые и люмпены Сент-Антуанского предместья, вооруженные крючьями, пиками, ружьями. И только за этой многокилометровой армией видны расшитые золотом мундиры буржуазной национальной гвардии. Ею командует герой войны за освобождение Северо-Американских штатов маркиз Лафайет. Как и все знаменитые герои, он пока держится в тени.

Авангард женщин входит во дворец «Малых забав». Майяр выступает от имени Парижа и говорит с Учредительным собранием в повелительном тоне.

У ограды королевского дворца начинается перестрелка между солдатами фландрского полка и версальской буржуазной милицией. Женщины врывают-

ся во дворец. Король обещает позаботиться о хлебе для народа. Мужественные депутаты в свою очередь не хотят ударить лицом в грязь перед столь многочисленными представителями слабого пола и посылают решительную делегацию к королю.

Уже поздний вечер, а за окнами гудит огромное людское море. Король ведет себя на редкость покладисто. Он подписывает Декларацию прав и декреты Собрания.

И тогда, блистая амуницией и звеня шпорами, появляется маркиз Лафайет.

Король на секунду пугается: новый Кромвель? Но нет, маркиз действует по-иному. Он, словно персонаж известной комедии, говорит примерно следующее: все спокойно, спите горожане! Роль железного диктатора не для Лафайета. Он выступает как «великий усыпитель», и весьма успешно.

Странный сон окутывает ночной Версаль. Спят в казармах солдаты. Мастеровые из Сент-Антуанского предместья расположились прямо на площади. Во дворце «Малых забав» на скамьях депутатов устроились женщины, вывесив для просушки промокшие юбки. Сами депутаты мирно почивают в своих домах. Утомленный Людовик XVI спит в королевской спальне. Королева Мария-Антуанетта — на своей половине... с графом Ферзенем. Не надо осуждать слабую женщину — в такие ночи страшно быть в одиночестве.

Но вот приходит рассвет и вместе с ним — неизвестные вооруженные люди в комнату королевы. Они убивают часового. Граф Ферзен, как галаитный кавалер, буквально растворяется в воздухе (наверное, чтобы не скомпрометировать свою возлюбленную). Королева, полуодетая, бежит через длинные коридоры в покои короля.

И снова перед дворцом бушует разгневанная толпа. Король появляется на балконе с женой и детьми, кое-как одетый и дрожащий (вероятно, от утренней сырости). Добрый король очень приветлив. Народ требует, чтобы он переехал в Париж? А кто спорит?

Так кончился Версаль.

Людовика XVI привезли в столицу, и, хотя он еще значился королем — фактически был пленником Парижа. Хозяином страны стало Учредительное собрание.

Так кто же продвинул революцию дальше? Кого можно назвать героями версальского периода?

Может, это были виконт де Ноайль и герцог Эгийон, которые поступили мудро и дальновидно, предложив дворянскому сословию добровольно, без пролития крови покончить с феодализмом?

Или на самом деле героем оказался маркиз де Лафайет, благоразумно присоединивший национальную гвардию к народной депутации?

Или революцию вели Мирабо, Барнав, Малуз, Бальи и прочие депутаты, которые в жарких парламентских дебатах сломили яростное сопротивление реакционеров и убедили Собрание провозгласить Декларацию прав человека и гражданина?

Что ж, не будем иронизировать над либеральными депутатами-дворянами, которые сделали все, что могли (правда, не так уж добровольно, вспомним, что по их поместьям уже гулял красный петух), для осуществления своего государственного идеала. Помянем их сейчас добрым словом, потому что скоро во Франции застучит нож гильотины, и сам факт биографии — дворянское происхождение — будет расцениваться как преступление.

Конечно, депутаты, которые, не жалея голосовых связок, отстаивали принцип будущей конституции, наверняка считали себя отчаянными реформаторами. Они были уверены, что ведут революцию.

Так кто же был героем версальского периода? Нам, теперешним историкам, вопрос ясен: парижский санкюлот и французский крестьянин! Но «люди 1789 года» не знали той простой истины, что революцию делает народ.

И должно было пройти немалое время, пока один депутат понял, что революцию ведут не популярные ораторы, что она продвинулась вперед потому, что народ взял Бастилию, потому, что крестьяне стихийно восстали против феодальных пут, потому, что парижская беднота пошла на Версаль. И вероятно, этот депутат не сразу принял как аксиому тезис «народ всегда прав». Он еще тщательно взвешивал доводы «за» и «против», он колебался, присматривался, выжидал и пока не рвался на трибуну Собрания.

...Время — художник бесспорно гениальный — работало над картиной «Великая французская революция». Прямо на холсте оно набрасывало рисунок, а потом видоизменяло его или попросту стирало и замазывало. Каждый день на этом полотне появлялись десятки, а то и сотни новых фигур. Часто случалось, что одна какая-нибудь личность выдвигалась на первый план, оттесняя своих соседей, загоняя их в углы или вообще выбрасывая из картины. Бывало, фигура красовалась на полотне неделю, а то и несколько месяцев. Но чаще всего она исчезала на следующий день, и на ее месте появлялись другие деятели. Казалось, что они останутся навсегда, по шли недели, фигуры эти тускнели, замазывались, появлялись но-

вые, и никто не мог вспомнить даже имен прежних героев.

В этом многокрасочном калейдоскопе гигантов и карликов, трибунов, проходимцев, фанатиков очень трудно было уследить за кем-нибудь одним, определенным. Сегодня он на первом плане в гордом одиночестве, а через неделю выглядывает из-за спины более чем сомнительной публики. Только привыкли к тому, что какая-то группа находится слева — глядь, она уже сместилась в центр или направо. Попробуй что-нибудь пойми, когда в одно прекрасное утро твой романтический, добродетельный идеал появляется с плутовской рожей, а лицо вон того комического персонажа вдруг приобретает трагические черты.

И естественно, что современник терял голову от бесконечного мелькания сотен новых типажей. Сбитый с толку и растерянный, он каждый день с надеждой вглядывался в изменившуюся картину, мучительно соображая: кто же настоящий? кто же останется? Современник не мог предположить, что время — художник не только своеобразный, но и несколько жуликоватый, что полотно, на котором он рисует, имеет сходство с гербовой бумагой: посмотришь его на свет, словно крупную ассигнацию, и вдруг видишь ранее совсем незаметный профиль человека.

Время, посмеиваясь, малюет этюды, но потом грянет час, и оно обведет профиль, наложит краски, и все ахнут: «Вот он! Где же он был раньше?» А он был тут, в центре картины, только современник не мог его различить, потому что поднять это неоконченное полотно и посмотреть его в свете будущего можем только мы, живущие в другом веке.

Велико было бы удивление современника тех событий, если бы он взглянул на картину 1789 года хотя бы из девятнадцатого столетия:

— Как мало, оказывается, нанесено штрихов! Сколько еще свободного места! Как несовершенна композиция! Поблекли и ступевались фигуры знаковых героев, зато явственно проступили черты нового лица. Что это за человек? Почему у него такой пристальный и недобрый взгляд? Почему он оставался незаметным, этот депутат из города Арраса?

Глава IV

Учредительное собрание

Я видел в истории, что все защитники свободы подвергались клевете, но их угнетатели тоже погибли.

Робеспьер

Каждое событие кроме своего исторического значения несет в себе для каждого человека последствия частного порядка. И нельзя точно определить, что важнее для человека — исторический смысл событий или то, как они сказываются лично на нем.

Конечно, депутаты Учредительного собрания понимали в той или иной степени значение великих перемен, происходящих во Франции. Но всегда ли поведением депутатов руководил высший смысл? Не примешивались ли тут чисто личные мотивы? Честолюбивые надежды и жажда популярности? Сведение счетов и сословные интересы? Разочарование, что не достается та роль, на которую рассчитывали? Зависть к более удачливым, ловким и талантливым?

Будем объективны: работа Учредительного собрания имела необратимые последствия не только для всей страны, но и для самих депутатов. Люди, которые 5 мая 1789 года приветствовали короля в зале дворца «Малых забав», думали не только о преобразовании общественной и политической жизни Франции, но и о своей, личной роли в грядущих событиях.

Провинциальные оракулы, философы и демократы — актеры, срывавшие аплодисменты на маленьких любительских спектаклях, — были выпущены на большую сцену.

И начались неожиданности. Многие сразу вышли из игры, потому что их не устраивало само «содержание пьесы». Другие поняли, что им просто противопоказано находиться на сцене: одно их присутствие вызывает ехидный смех публики, лучше уж тихо сидеть в зрительном зале подальше от рампы. Иные, которым на провинциальных подмостках пророчили славное будущее, быстро сникли; не соглашаясь быть статистами, они в дальнейшем вообще предпочли не выступать. И наоборот, какие-то ранее неизвестные молодые люди неожиданно выдвинулись на первые роли.

Словом, в Учредительном собрании очень скоро произошло «деление по рангам». Выступления признанных ораторов печатались на первых страницах газет и встречали отклики по всей Франции. Речи других депутатов коротко пересказывались на последних страницах, а некоторым доставалось лишь упоминание фамилии в длинном списке выступавших.

Первый год работы Учредительного собрания стал не просто школой парламентской деятельности, он стал школой политической борьбы.

Это была жестокая школа, требующая от своих учеников не только незаурядных способностей, но и

огромного напряжения, выносливости. Прежние за­слуги быстро забывались. Вчерашний первый ученик оказывался на задней скамейке, если проваливался на сегодняшнем экзамене. Школа безжалостно ломала слабых и вычеркивала имена неудачников.

...Они сталкиваются в дверях, и тот, другой, вы­сокий и тучный, с лицом красным, изрытым оспой, с огромной пышной шевелюрой, с завораживающими большими глазами, в которых вспыхивают насмешли­вые огоньки, останавливается и легким церемонным поклоном приглашает его пройти вперед.

Они вместе входят в зал, где еще не началось за­седание, и по тому, как быстро повернул голову председатель, как мгновенно запнулась беседа груп­пы депутатов, стоящих у двери, как сдержанно зашу­тели галереи для публики, стало ясно, что их заме­тили.

Их? Он усмехнулся. Заметили только того, с кем он вошел в зал, того, к кому сразу же, скользя и чуть не падая, бросился маленький депутат от Бретани. (Кстати, кто? Не знаю. Этот маленький ни разу не выступал.) Его о чем-то спрашивают. Герцог Орле­анский откровенно и пристально смотрит в сторону того, с кем стоит сейчас маленький депутат (нет, не помню его фамилии). А красавчик Барнав (Бар­нав — нарцисс) демонстративно, не поворачивая го­ловы, продолжает разговор с Ламетом, хотя, конечно, почувствовал, кто появился, потому что словно ветерок прошел по залу, словно само собой в воздухе ро­дилось и зашелестело:

— Мирабо!

Это длилось всего полминуты. Полминуты он ощущал себя попавшим в яркий освещенный круг. Луч всеобщего внимания случайно задел и его. Но вот еще несколько мгновений, несколько шагов, и он

словно переступает границу освещенного круга и падает в полную темноту. Он идет по проходу — его никто не видит. Несколько равнодушных мимолетних взглядов — сквозь него. Он идет, один из многих ничем не примечательных депутатов. Сейчас он тихо, незаметно займет свое место... И лишь Бюзо подымает голову, улыбается, отодвигается, чтобы он мог сесть рядом, и говорит: «Привет, Робеспьер!»

Он благодарен ему за эту улыбку. Хорошо знать, что рядом есть товарищи, которые тебя понимают. Пусть их немного. Очень немного. Всего трое: Бюзо, Петيون и Редерер. Депутаты, которые являются истинными друзьями народа. Депутаты, которые своими речами вызывают гнев и возмущение правого крыла собрания. Еще 20 июля он и Бюзо восстали против попытки Лалли-Толлендаля объявить смутянами героев штурма Бастилии. С тех пор они держатся вместе. Но надо отметить, что из этой четверки, пожалуй, только к Петциону прислушивается собрание, а он, Робеспьер, самый непопулярный депутат. Ни над кем так не издеваются господа дворяне, никому так не улюлюкают вслед. Что ж, когда-нибудь это тебе зачтется.

Их зовут «крайне левыми». Правда, влияния на собрание они не имеют. Им, если говорить откровенно, это еще не под силу. Пока они идут за триумвиратом — за Барнавом, Дюпором и Александром Ламетом. Но эти господа смотрят на них свысока. Барнав — знаменитый оратор. Для него Робеспьер — мелкая сошка. Барнава слушают, а Робеспьера освистывают. Ты завидуешь Барнаву? Нет? Однако чем-то он тебе не нравится. Может, взаимная неприязнь? Но разве дело в личных отношениях? Надо быть выше. Это счастье, что у левых есть Барнав, который стремительно поднимается на трибуну и, обращаясь

непосредственно в зал, без бумажки, свободно импровизируя, начинает обличать замыслы контрреволюции. И даже оголтелые правые (будь их воля, они бы всех нас повесили) смолкают, замороженные голосом оратора. В чем сила Барнава? В импровизации? Бесспорно. Особенно на фоне большинства депутатов, читающих свои речи. Но не только. Робеспьер заметил, что излюбленная тема Барнава — восхваление опыта и высмеивание теории. Это тонкая лесть депутатам: горячие головы боятся казаться нерассудительными, неблагоприятными, увлекающимися. Тридцатилетние люди говорят так безапелляционно, будто за их плечами долгая жизнь.

Но как бы там ни было, Барнава называют «генеральным адвокатом Собрания». Уже привыкли к тому, что Барнав часто выступает последним и как бы резюмирует дебаты.

Барнав, пожалуй, единственный, кто может на равных спорить с самим Мирабо.

На прошлом заседании, когда Мирабо предложил проект, по которому членами высшей Ассамблеи избирались бы только депутаты низших собраний, Барнав выступил против. Он разгадал тайный замысел Мирабо.

Планы Мирабо понял и Робеспьер. Осуществись этот проект, и тогда только небольшая группа богатых людей имела бы возможность последовательно переходить из одной ассамблеи в другую. Но одно дело понять, а другое — опровергнуть доводы Мирабо.

Барнав сказал: «Если бы, чтобы уничтожить конституцию, достаточно было облечь противоположные ей принципы какой-либо моральной идеей и некоторой эрудицией, то предыдущий оратор мог бы надеяться произвести на вас эффект, но, к счастью, он

приучил вас не поддаваться обаянию его красноречия, и нам неоднократно приходилось искать разума и правды среди элегантных острот, которыми он украшал свои речи. Ныне в этом представляется большая надобность, чем когда бы то ни было».

Ты даже запомнил эти слова. Вероятно, потому, что не смог бы сам так тонко высмеять Мирабо.

И все-таки, признайся, к Барнаву у тебя староженное отношение. Может, потому, что он никогда не смотрит в твою сторону? Потому, что он моложе тебя, а его имя известно? Или тебя, Робеспьер, смущает другое: Барнав не очень самостоятельный. Он — рупор триумvirата. Говорит то, что подсказал ему Дюпор. А Дюпор и Ламеты — титулованные дворяне. Опыт учит не очень доверять этим господам. Ламеты — герои войны за освобождение Северо-Американских штатов. Но Лафайет тоже герой. Однако как его понесло вправо после 14 июля. А не захотят ли Дюпор и Ламеты войти в сговор с двором? Сможет ли тогда Барнав вести прежнюю линию?

Но пока Барнав остается лидером левых, это надо использовать. Есть ли у правых ораторы, которые могут с ним соперничать?

Правые: д'Эпремениль, виконт де Мирабо, аббат Мори, Казалес, аббат де Монтестье.

Вон они сидят, громко разговаривая, смеясь, всем своим видом показывая, что им безразлично все, что происходит в Собрании.

Д'Эпремениль — бывший советник королевского парламента. Когда-то лично убедил короля созвать Генеральные штаты. Робеспьер помнит, как перед пятым мая в д'Эпремениле общественное мнение видело одного из наиболее значительных поборников свободы. И вот поучительная судьба: 14 июля отбросило его в лагерь ультраправых. Он ненавидит

революцию и еще надеется, что все кончится постановлением парламента.

Виконт де Мирабо, Мирабо-Бочка, брат знаменитого оратора. Вероятно, правые находят забавным, когда один Мирабо говорит в пользу революции, другой тут же выступает в противоположном духе. Он оратор? Отнюдь. Он претендует на роль обструкциониста. Производить шум по любому поводу, тратить время Собрания, дискредитировать парламент — вот к чему сводится его деятельность.

Аббат Мори — сын ремесленника, мечтающий о кардинальской мантии, — наиболее последовательный боец контрреволюции. То грубый, то ласковый, он умеет заставить себя слушать. Но полное отсутствие позитивной программы. Когда ему нечего ответить, он бросается на трибуну, размахивая кулаками.

Казалес — оратор действительно замечательный. Его речам присуща горячность, сила, легкость и точность. Он верит тому, что говорит. За это его можно уважать. Но чему он верит? Что народ Франции добровольно сложит завоеванные свободы к ногам короля и снова наступит «старое доброе время»?

Аббат де Монтескье — ловкий, хитрый. Единственный из правых, который пытается лавировать. Но вместо того, чтобы излагать глубокие идеи, он предпочитает произнести с трибуны эффектную фразу или злую ироническую шутку.

И все эти главари правых, глубокомысленные пророки, ярые борцы за абсолютистскую монархию, не могут пропустить время обеда. Пусть на трибуне бушуют страсти, пусть собрание решает кардинальные вопросы — к шести часам вечера на правых скамьях хоть шаром покати. Интересы желудка для них важнее интересов страны.

И хотя правых довольно много, ты, Робеспьер, понимаешь, что им не на что опереться. Они надеются на полки дворян-эмигрантов, на интервенцию Австрии или Пруссии. Они не могут понять, что вся Франция встанет на защиту конституции и свободы. Люди, увидевшие своими глазами, что такое демократия, не вернутся в рабство абсолютизма.

Но остается еще правый центр, так называемые беспристрастные монархисты: Малуэ, Клермон-Тоннер, Мунье. Последний, кстати, эмигрировал. А ведь когда-то он был лидером либералов провинции Дофинэ. В Версале к нему были обращены взоры всего Собрания. Что сломало Мунье? Время. Всего несколько месяцев он играл роль национального арбитра, а потом революция обогнала его. Программа Мунье — программа всеобщего компромисса — решительно провалилась. Он стал злейшим врагом революции. Герой знаменитой клятвы в зале для игры в мяч сбежал, преследуемый призраком фонаря.

Малуэ. Этот противник посерьезнее. Его сила в практицизме. Здравый ум. Он осторожен, Собранию он предлагает быть лояльным, двору — либеральным и всем — умеренными. Но на что же Малуэ надеется? Он не верит, как Мунье, в возможность компромисса. Но можно ли всерьез надеяться на то, что партии откажутся от своих требований, не то чтобы пойдут «на мировую», а просто заключат своеобразный договор о «ненападении»? Робеспьеру кажется, что Малуэ тоже человек сломанный. Он как будто завидует красноречию и успехам своих более молодых коллег.

Граф Клермон-Тоннер. Он умеет так же хорошо импровизировать, как и Барнав. Любит политические маневры. В Версале его считали соперником Мирабо. Избрали в председатели Собрания. Но как

только его речи перестали встречать благосклонность депутатов и публики — сразу же исчез его ораторский талант. Он не выдержал борьбы. Последний раз он выступал с тетрадью в руках, запинаясь и путаясь.

Когда-то казалось, что Малуэ руководит Собранием. Но теперь всем ясно, что за беспристрастными монархистами идет не более пятидесяти депутатов. Их политику после 14 июля диктует страх. Они желают реформ, а не революции. Интересы королевской власти значат для них больше, чем интересы нации.

Кто же сейчас хозяин Собрания? Кто руководит дебатами? Кто заседает в комитетах?

Конституционалисты, так называемый «левый центр»: Сиейс, Лафайет, Грегуар, Рабо Сент-Этьен, Турэ, Ле-Шапелье, Барер и другие.

Ну, Робеспьер, сегодня ты сам для себя четко разделил Собрание на группы, стараясь быть объективным, без предвзятого, личного отношения. Устроил нечто вроде парада. Как? Неприметный депутат, неудачливый настырный оратор осмеливается судить сильных мира сего? Останови любого парижанина, спроси, кто такие аббат Мори или Малуэ. Тебе ответят. Их политику осудят или поддержат. Они известны. А кто такой Робеспьер? Парижанин скажет: пардон, мсье. Он никогда не слышал такой фамилии. Разве хоть одна твоя речь напечатана? Спокойно, Максимилиан. Забудь эти мысли. Ты только что сам себе показал, к чему приводят несбывшиеся честолюбивые надежды. Ты считаешь, что твое время еще наступит? Смелое заявление! Будущее покажет, прав ты или нет. У тебя все еще впереди? Ты это твердо знаешь? Прекрасно. Никто не будет верить тебе, если ты сам в себе не уверен.

Так кто такие конституционалисты? Ты не знаешь, что сказать? Твое отношение к ним переменчиво и противоречиво.

Бесспорно, они патриоты. Сиейс — автор знаменитой брошюры: «Что такое третье сословие». Лафайет — составитель Декларации прав человека и гражданина. Рабо Сент-Этьен, Турэ, Ле-Шапелье — весьма дельные здравомыслящие ораторы. Относительно Ле-Шапелье. Робеспьеру кажется, что не к лицу представителю народа проводить ночи в сомнительных клубах. Кстати, по части развлечений он нашел себе достойного партнера — Мориса Талейрана, отенского епископа. Правда, Талейран — герой 10 октября. Это он предложил использовать церковное имущество для погашения государственного долга. Но только ли чистый патриотизм руководил Талейраном? Талейран игрок. Не было ли это эффективным ходом в целях личной карьеры? Словом, Робеспьеру не внушает доверия отенский епископ.

Аббат Грегуар — человек абсолютно честный. В его речах сквозит ненависть к деспотизму, жажда справедливости и равенства. И с трибуны Собрания он говорит с депутатами тоном проповедника, словно находится на церковной кафедре в своем приходе.

Барер? Молодой человек с хорошо подвешенным языком. Он голосует за «левый центр», потому что конституционалисты ведут Собрание. Мечется между Мирабо и Барнавом. Кто из этих двух в данный момент сильнее — с тем и Барер. За что ты его не любишь? За то, что в газете Барера ни разу не упомянута твоя фамилия? Нет, он просто типичный депутат «левого центра». Все они хорошие граждане, отчаянные патриоты, но все они хотят быть популярными или греться около популярных вожakov. Сегодня лидер Сиейс, и все они вьются около него. Но

вот Сиейс начинает вещать нечто загадочное, непонятное другим. Общественное мнение разочаровано, и депутаты-патриоты бегут к Лафайету. Одни стараются в кулуарах заговорить с Лафайетом (чтобы все видели, вот, мол, стоит он, депутат N и Лафайет), другие как бы между прочим в частной беседе небрежно так сообщают: «Мы с Лафайетом считаем». Но постепенно всем становится ясно, что должность начальника национальной гвардии вполне устраивает Лафайета и больше ему ничего не надо. Он не знает, о чем говорить с трибуны, и говорит о своих прежних заслугах в Северо-Американской войне. Но слушать про Северо-Американскую войну собранию изрядно надоело. И редеет окружение Лафайета. Депутаты-патриоты в панике. За кем же идти? Кого провозглашать своим другом и единомышленником? И вдруг удачно выступает Ле-Шапелье. Ему аплодируют и слева и справа. Публика в восторге. Со страниц газет не сходит его фамилия. И депутаты-патриоты устремляются за Ле-Шапелье.

Итак, у депутатов «левого центра» бесспорные заслуги. Они последовательно борются за конституцию. Они хотят быть все время на волне. Они говорят лишь то, что сегодня думает общественное мнение. Им кажется, что общественное мнение выражает волю большинства нации. Но что такое нынешнее «общественное мнение»? Это газеты, издающиеся состоятельными буржуа. Это кружки и салоны, где собираются просвещенные интеллигенты.

Депутатам «левого центра» кажется, что они ведут революцию. Но если разобраться, то революция ведет их самих. Вспомним 14 июля. Вспомним поход на Версаль. Революцию делает народ. Но народные массы пока еще слабо разбираются в политике. Революция — процесс необратимый. Она похожа на об-

вал. С каждым днем революционный поток захватывает более низшие слои. И когда дойдет очередь до самых низов, тогда этот поток превратится во все сокрушающую лавину. И чтобы вести эту лавину, надо всегда выражать интересы народа. В этом, Робеспьер, и должна заключаться твоя политика. Вовлекать в революционное движение широкие массы. Защищать народ. Народ может ошибаться в частностях. Но в целом — народ всегда прав.

И плевать на теперешнее «общественное мнение». Оно будет за тебя, когда победит революция, когда победишь ты.

...Легко сказать: «плевать».

21 октября он выступал против «военного закона». «Военный закон» предоставлял право членам муниципалитета приказывать стрелять в толпу после троекратного предупреждения. Поводом послужило убийство толпой парижан булочника Франсуа. Булочника обвинили в том, что он скупает хлеб. Булочник, вероятно, был невиновен. Но Робеспьер считал, что народ, измученный голодом, явно спровоцировали контрреволюционеры. И потом, разве можно стрелять в участников похода на Версаль?

Это была его первая речь, которую собрание выслушало с начала до конца. Но депутаты, напуганные событиями 5—6 октября, приняли «военный закон».

Речь, естественно, не напечатали. Но в газетах появились отклики. Вот один из них:

«Господин де Мирабо — факел Прованса. Господин де Робеспьер — свеча Арраса. Своим красноречием, от которого несет постным маслом и уксусом, он раздражает Собрание».

...Постным маслом и уксусом.

Почему? Просто насмешка? Или видно, что Ро- 43

беспьер упорно работал над каждой фразой, над каждым словом? Да, Робеспьер писал эту речь несколько ночей, зачеркивая и заново переделывая целые страницы. Бог не дал ему дара импровизации. То, что Барнав скажет в минуту вдохновения, — Робеспьеру писать полночи.

Робеспьер неделю обдумывает речь. Пишет черновики. Делает несколько вариантов. И когда он ее произносит — в зале раздаются иронические хлопки. А Мирабо говорит легко и свободно. «Факел Прованса» — как красиво сказано!

Мирабо. Человек с почти злодейским прошлым. Человек, с которым сначала стыдились рядом садиться. Человек, в речах которого все время звучит «Я! Я! Я!».

Первый оратор Собрания.

Аудитория настроена враждебно. Со всех сторон летят обидные выкрики. Великая измена Мирабо! Кажется, легче пойти на расстрел, чем подняться на трибуну. Но Мирабо поднимается.

Зал замирает, когда он начинает говорить.

И когда он говорит, он бог, он хозяин Собрания.

Сколько раз Робеспьер ловил себя на том, что он сам, увлеченный словами оратора, вместе со всеми аплодирует Мирабо, хотя тот излагает идеи двусмысленные и опасные.

Мирабо может заставить вотировать любой свой проект.

Но у великого оратора один изъян. Он властелин, когда произносит речь. Но когда он сходит с трибуны — ему уже не верят.

Почему?

Запутана и извилиста политика Мирабо.

Робеспьеру ясно одно: Мирабо стремится к власти. И великое благо сделали Барнав и Ламеты, уго-

ворив Собрание принять закон, который запрещает депутатам быть министрами. Стрела попала точно в Мирабо.

...Бессонными ночами, когда на столе горит свеча и разбросаны исписанные листы, когда не слышно даже шагов запоздалых прохожих, и болит голова, и фраза, на которой застрял (двадцать раз переделанная), звучит все хуже и хуже — Робеспьер вспоминает Мирабо.

Он словно видит оратора перед собой. Мирабо стоит, широко расставив ноги. Его голос гремит. Он проникает во все дома Парижа. В такт этому голосу тихо подрагивает стакан на столе у Робеспьера.

И такая подступает тоска! Может, Робеспьер, ты просто бездарный провинциальный адвокат? Куда ты лезешь? Разве ты оратор? Всеобщее посмешище.

Впрочем, таким трагичным все кажется только ночью. А днем — пусть он сидит на задней скамье шумного собрания, пусть он окружен врагами или людьми, которым на него наплевать, пусть у него всего несколько друзей — днем все по-другому. Ибо давно нет наивного Робеспьера, который верил в «добрые намерения» молодого монарха, правящего нами, в великодушное, прекрасное сотрудничество всех депутатов, заботящихся только о благе народа. Он помнит, как его высмеивали, когда он вносил дельные предложения, которым, кстати, аплодировали, если их повторяли другие ловкие ораторы. Он понял, что важные господа, собравшиеся в Учредительном собрании, не очень-то озабочены будущим Франции. Они не столько думают о народе, сколько о той личной выгоде, которую должна им принести революция. С этой публикой надо говорить на особом языке. Для них важно не то, что говорит оратор, а то, как он говорит. Эти народные представители могут

простить покушение на интересы нации за одну блестящую остроту.

И все, все они хотят служить королю!

Ты должен раз и навсегда запомнить, что политика — это борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, и тебя будут бить, используя запрещенные приемы. Над тобой будут издеваться. На тебя будут клеветать. Таков закон борьбы, и надо быть бесчувственным к ударам циничных политиков, к насмешкам тех демагогов, которые под прикрытием демократических фраз продают революцию оптом и в розницу.

Надо крепче стиснуть зубы. Ты должен быть непробиваемым, ты должен быть железным. А если вдруг не выдержишь, если вдруг возмущенно закричишь: «Господи, за что меня так? Ведь это же несправедливо!» — жалкий вопль мольбы вызовет лишь всеобщий смех — не лезь в политику!

Ты должен знать, что раз со всех сторон на тебя нападают враги, раз они смеются над твоими речами, раз они прерывают тебя криками — значит, все в порядке, и ты, Робеспьер, на правильном пути, значит, ты им мешаешь, значит, они тебя боятся. Страшнее будет, если Учредительное собрание вдруг начнет тебе аплодировать, если с тобой все будут согласны. Это только для мелких недалеких карьеристов аплодисменты в этом зале значат больше, чем неодобрение всей страны.

И вот только тогда, когда ты станешь выше этих политиканов, когда ты станешь бесчувственным к их насмешкам — только тогда ты заставишь Собрание слушать себя.

Даже если у тебя будет очень мало сторонников.

Даже если их совсем не будет.

Ибо народ, тот, от чьего имени ты говоришь, он не представлен в этом зале.

Да, народ знает, чего он хочет. Но народ темен и необразован, его легко сбить иллюзорными обещаниями, его легко опутать мишурой ловких остроумцев. И сейчас больше, чем когда бы то ни было, надо раскрывать народу его заблуждения и объяснять то, что ему, народу, самому не ясно.

Вот твоя основная задача, Робеспьер. И пусть тебе тяжело, пусть ты часто теряешь уверенность в себе — надо пережить это и помнить, что главное — это твоя миссия, которую ты обязан выполнить.

— Слово предоставляется депутату Робеспьеру.

Секретарь Собрания вернул его к действительности. Робеспьер записан на очереди. Его речь давно готова. Она лежит, свернутая трубочкой, в кармане его сюртука. Робеспьер сознательно старался не думать о предстоящем выступлении. Гнал от себя эти мысли. Но вот момент наступил.

Сочувственный взгляд Петиона...

А на правых скамьях оживление. Он знает, что особенно будут усердствовать дворяне из провинции Артуа. Вот уж и вправду «нет пророка в своем отечестве». Они не могут ему простить, что он, стряпчий, с которым они еле раскланивались, претендует на роль оратора.

Он идет, пытаясь сдержать дрожь, которая, как ему кажется, заметна всему залу.

С усилием делая каждый шаг (нелепая мысль: вдруг кто-нибудь выставит ногу, а он зацепится, упадет под гомерический хохот), он приближается к столу председателя. Поднимается по ступенькам. Достает речь, разглаживает листки.

И что происходит вокруг, он уже не видит и не слышит.

Теперь, читая речи Робеспьера, пытаешься понять, почему они сначала не имели успеха.

В первых его выступлениях заметны следы излишнего пафоса, некоторой напыщенности (но с каждым разом Робеспьер становится резче и сильнее).

Собрание привыкло, что ораторы пересыпают свои речи остроумными шуточками, изъясняются изящно построенными периодами. Робеспьер не старался подлаживаться к публике. Он был сух, бесстрастен, отпугивающе холоден. Уже в 1790 году он говорил языком Конвента, языком 1793 года.

Мнение историков:

Олар: «Скоро те, которые высмеивали его, умолкнут: 16 января 1790 года его уже не прерывают, когда он произносит речь в защиту тулонского народа, незаконно заключившего в тюрьму враждебных революции чиновников.

С этого времени он уже вполне владеет своим ораторским методом и усваивает особый жанр аргументации, которым он будет пользоваться во все время существования Учредительного собрания. Какую бы реформу ни предложили его коллеги слева, он выступает против нее, как умеренной и мало благоприятной народу. Можно ли говорить о насилиях народа? Последний проявляет скорее непостижимую терпимость; после стольких веков рабства и пыток он в дни своих побед ограничивается тем, что сжигает несколько замков и вешает нескольких аристократов. Есть ли здесь чем возмущаться? «Пусть же, — говорит он 22 февраля 1790 года, — не клеветают на народ! Я призываю в свидетели всю Францию; я предоставляю врагам ее преувеличивать факты и вопить о том, что революция ознаменовала себя варварскими деяниями; я же утверждаю, — и все истинные гра-

ждане, все друзья разума согласятся со мной, — что никакая революция не стоила так мало крови, не причиняла так мало жестокостей. Вы были свидетелями того, как многочисленный народ, став господином своей судьбы, вернулся к порядку при полной растерянности властей, тех самых властей, которые в течение стольких веков угнетали его».

...Такова тема, которую Робеспьер не перестает развивать на трибуне. Это спокойствие удивляет и скандализует членов Учредительного собрания, но оно уже начинает нравиться трибунам и улице.

...С того дня, когда он заставил замолкнуть тех, кто смеялся над ним, он не переставал выступать в Ассамблее. Он высказывал свое мнение относительно всех стоявших на очереди вопросов.»

Глава V

Грани характера

Триумвиры были сначала главными вожаками якобинского клуба. Робеспьер скрывается в их тени и, как выражается Мишле, следит, не говоря ни слова, за тем, как они убивают Мирабо.

Олар

Он все время говорил. Он хотел говорить. Он не мог не говорить. Сначала он выступал ночью. Сам перед собой. Мысли его казались ему очевидными, слова — беспощадными. Он заранее предвкушал эффект будущей

49

речи: враги посрамлены, а истинные друзья народа торжествуют! Он не мог ни есть, ни спать, пока не записывал свою речь.

Абзацы выстраивались, как колонны солдат перед укреплениями противника. Идеи обрушивались, как залп артиллерийских батарей. Ход доказательств был неопровержим, как победоносный стратегический план сражения.

И самое главное: то, что он хотел произнести, представлялось ему элементарным. Как странно, что другие до сих пор этого не поняли!

В середине ночи он засыпал, но внезапно опять просыпался. Нет, это сказано не так. Есть контрдовод. Мысль неудачно выражена. Могут прицепиться и скомпрометировать идею. Он вставал и переписывал листки.

Присутствуя на заседаниях и слушая других ораторов, он мысленно выступал сам. Он был готов выступать в любое время.

Он ходил по улицам и продолжал говорить.

Он горел и бредил, он чувствовал себя больным, пока наконец не наступал момент, когда он получал возможность произнести свою речь. Но потом, когда его речь была выслушана, потом, когда она была напечатана — она переставала его волновать. Потому что эта речь как бы жила сама по себе, отдельно от него.

Его мучили новые проблемы. Он думал о новых выступлениях.

Он не принадлежал к числу тех ораторов, которые, произнеся однажды две удачные фразы, потом всю жизнь их помнят.

* *
*

Люди рождаются равными. У них должны быть равные права. Отстаивать эти права — его задача.

В тот момент, когда отдельные группы людей пускаются во всевозможные ухищрения, чтобы добиться себе льгот и привилегий, он должен проповедовать право.

Правда едина. То и дело одна из группировок собрания объявляет себя носителем этой правды.

Легче примкнуть к какой-нибудь из существующих партий. Но тогда он будет связан обязательствами. Ради интересов этой партии придется пожертвовать принципами всеобщей справедливости. Значит, никаких компромиссов. Пока он должен быть один. Он принадлежит к партии «своего убеждения». Но наступит день, когда придут люди, искренне преданные делу всеобщего равенства, и он будет с ними.

Нет ничего страшнее популярности, цинично запрашиваемой у толпы. Конечно, речь нравится, когда оратор, захлебываясь от волнения, говорит комплименты присутствующим...

* *
*

Добрая старая Франция оставила нам в наследство обыкновенного среднего француза-вольнодумца.

Обыкновенный средний француз-вольнодумец воспитывается в духе повиновения королю, богу, отцу, матери, кюре, мэру.

В лицее он читает древних философов.

Вне лицея он читает Руссо, Вольтера, Монтескье, Мабли.

За завтраком он читает газеты самых различных направлений.

Обыкновенный средний француз — человек доверчивый. Он верит всем по очереди, но особенно тем, кого прочел или услышал последним.

Со временем обыкновенный средний француз вдруг пронизательно замечает, что, оказывается, все говорят абсолютно разное. «Ах, так, — думает он, — меня не проведете, я стал умным». И с тех пор он решительно никому не верит.

Но воспитание и привычка сделали свое дело. Да, он по-прежнему никому не верит. Но он хорошо усвоил, что прав тот, за кем осталось последнее слово.

Еще раньше, с того момента, когда он впервые побрился и надел нарядный костюм, его начинали волновать другие проблемы. Почему он не так красив, как, скажем, принц Конде? Почему он не так богат, как герцог Орлеанский? Претензии, естественно, к родителям.

Тогда обыкновенный средний француз срочно вспоминает, чему его учили. А учили его тому, что счастье человека в добродетели и в служении обществу.

И он, пересчитывая последние су, становится добродетельным и, протирая единственные штаны, усердно служит обществу.

Однако за честное служение обществу почему-то мало платят.

Однажды он отрывает свои глаза от конторских бумаг, смотрит в окно и видит, как по улице, в роскошной карете, запряженной четверкой лошадей, с кучером в форменной ливрее, катит его сверстник.

Обыкновенный средний француз впервые начинает самостоятельно рассуждать. Хоть расшибись, а у него никогда не будет столько эю, сколько у этого

молодчика, хотя всем известно, что образ жизни последнего отнюдь не добродетельный, и занят молодой чем угодно, только не служением обществу.

Значит, неладно что-то в нашем государстве. Надо бы изменить порядок вещей.

Обыкновенный средний француз вечером идет с приятелями в кафе, выпивает вина больше, чем обычно, и произносит пламенную, но благонамеренную речь. Возмущение его понятно: он работает, а другие разъезжают в каретах. Но истоки благонамеренности тоже ясны. Француз по природе своей жизнелюб. А раз жизнелюб, значит, оптимист. А раз оптимист, значит, он надеется, что и ему когда-нибудь повезет и он тоже будет разъезжать в роскошной карете с личным кучером. А если так, то, может, не стоит пока уравнивать всех в правах?

Словом, обыкновенный средний француз начинает политически мыслить.

Но, увы, в один прекрасный день он встречает милое, невинное, очаровательное создание. Создание — дочь портного с этой же улицы. У себя дома создание занято тем, что чистит ножи и штопает чулки. Но, выходя на улицу, оно затягивается в корсет и, ах, сколько прелести и таинственности в нем для нашего молодого человека! Молодой человек забывает все на свете. Пропади пропадом все политические проблемы. Он мечтает о мимолетном свидании, о первом поцелуе. Папаша создания, прикинув капитал молодого человека, сначала категорически против. Создание тоже колеблется.

Наконец — великое счастье — «Да», — сказал папаша; «Да», — сказала создание. Белая фата, свадебный хор колоколов. Молодой человек занят медовым месяцем, родством душ и устройством уютного гнездышка.

Устройство гнездышка требует денег. Прибавка к жалованию дается за примерное поведение на службе. Так что пока не до вольнодумства.

К мыслям о политике обыкновенный средний француз возвращается только тогда, когда создание (оказавшееся — странно — обыкновенной сварливой женой) швыряет в него сковородкой и кричит: «Достал бы лучше денег, старый хрыч!»

Он идет с приятелем в кафе, выпивает вина больше, чем обычно, и произносит пламенную, но благонамеренную речь. Да, конечно, неладно что-то в нашем государстве. Ведь прошло столько времени, а денег все нет. Но с другой стороны, как не быть благонамеренным? Теперь он отец семейства. Худо-бедно, а живут не хуже соседей. Дети здоровы, и на черный день отложено. А все почему? Потому, что был порядок. А новшества еще неизвестно к чему приведут. Возможно, будет и лучше. А если хуже? Нет уж, мы лучше по старинке, как наши деды и прадеды.

И он будет воспитывать своих детей в духе повиновения королю, богу, отцу, матери, кюре, мэру.

...Робеспьер после Собрания возвращается к себе, на улицу Сэнтонж. Обычно, в воскресный день, на мостовой играют дети, а у подъездов, на скамейках, сидят женщины. Но сейчас идет дождь. Улицы пустыньны. Куда подевались люди? Робеспьер подымает голову, морщась от дождевых капель.

Да вот они. У окон, прильнув к стеклу, стоят отцы семейств и их жены. Так они будут стоять, пока не стемнеет, рассматривая тех, что стоят у окон напротив. Но вот сейчас появилось развлечение, прохожий, и их взоры устремлены на него.

Почтенные производители! Ваша миссия выполнена! Вы продолжили род! Теперь вы, словно образ-

цовые музейные экспонаты, приколоты к стеклу в на-
зидание потомству!

* *

*

О Великая революция! Ты вытащила людей из их нор, ты разбила стены, отделявшие их друг от друга. Поход на Версаль — юность революции! Людское море перед королевским дворцом! Какими жалкими казались тогда знатные господа — сильные мира сего! Как они были напуганы!

Каждый человек в отдельности может быть ничтожен. Но когда люди собираются вместе, с них спадают путы, привязывающие их к старому порядку. Уже никто не думает о своих личных интересах. Это не отдельные личности, это народ. И только высшее право, высшая справедливость волнует его. Народ думает об общем благе, ибо только общие интересы объединяют людей.

И вождем революции становится не тот, кто ведет за собой отдельных индивидуумов. Вождь революции тот, за кем идет народ.

* *

*

И вдруг понимаешь, что ты больше. Ты идешь — они плутают, ты веришь — они колеблются, ты знаешь — они сомневаются, тебя слушают — их нет. Вот так становятся вождем.

* *

*

Тебе труднее. Ты ведь тоже обыкновенный человек. Но ты лишен радостей обыкновенного человека — любви, дружбы. Ты один.

Каждому человеку природой отпущено определенное количество энергии. Все свои силы ты отдаешь

заботе о благе общества. Будь осторожен. Экономь силы. Делай только то, что кроме тебя никто не сможет сделать. Не стремись быть лидером Учредительного собрания. Пришлось бы идти на компромисс, а это сдача позиций и, к тому же, бессмысленная трата энергии.

И потом есть ли у тебя план?

Одно провидение знает, куда пойдет революция.

Говорят, революция завершилась. Во всяком случае, нас очень хотят в этом уверить.

Но дворяне и духовенство готовят заговор. Король — игрушка в руках двора. Победа, одержанная над абсолютизмом, дала выгоды лишь богатым. Политические привилегии рождения замещены привилегиями богатства. Тысячи людей еще находятся в рабстве невежества и голода. Эмигранты поднимают всю Европу против Франции.

Что будет дальше?

Сам ты уверен в одном: революция только начинается.

* *
*

Робеспьер, столь проникательный, когда дело касалось достоинств и недостатков других политических деятелей, был наивен как ребенок, когда впервые почести выпали и на его долю.

Весной 1790 года он посылает восторженное письмо в Аррас, в котором с гордостью рассказывает, что его патриотизм оценен по достоинству и он избран президентом Якобинского клуба.

В какой-то период ему кажется, что наконец-то Барнав и Ламеты признали его и выступают с ним единым фронтом. Теперь он с уважением говорит о триумвирате.

Еще осенью 1789 года радикально настроенные депутаты стали собираться в церкви св. Якова. Так был создан Якобинский клуб. На своих заседаниях якобинцы обсуждали актуальные политические вопросы и договаривались о совместных действиях в Учредительном собрании. Все больше и больше решения Якобинского клуба влияли на работу Собрания. У клуба появились филиалы в других городах, и это усиливало его роль.

Сийес, Ле-Шапелье, Мирабо, Лафайет, Барнав, Дюпор — могущественные лидеры Собрания и клуба, тасовавшие колоду с должностями и назначениями, — зорко следили за тем, чтобы на руководящие посты не проник ставленник какой-нибудь из группировок. Сильные фигуры боялись друг друга и в президенты старались провести кого-нибудь из «пешек», но в то же время человека независимого и стоящего вне партий.

Весной 1790 года кандидатура Робеспьера показалась им самой удачной, и Робеспьера избрали президентом сроком на три месяца (как и положено по уставу Якобинского клуба).

Правда, вскоре Робеспьер понял эту игру. Но, пробыв три месяца президентом, он понял и другое:

Клуб с его бюро, уставом, секретарями, перепиской, филиалами и трибуной представлял стройную организацию.

Она (организация) еще не стала единой, но по своему духу должна была стать таковой.

Учредительное собрание составляло законы. Якобинский клуб формировал общественное мнение.

Клуб становился господином Собрания.

И благодаря своему теперешнему демократическому уставу Клуб не только вел за собой народ, но и сам находился под влиянием народа.

Чтобы руководить ходом революции, надо было взять в свои руки Якобинский клуб.

* *

*

Поздний вечер. Свечи тускло освещают мрачные своды, голые стены, деревянные скамьи, трибуну на месте алтаря. Рука об руку, прижавшись друг к другу, сидят торговцы и студенты, домовладельцы и адвокаты.

Днем каждый из этих людей занят своими заботами и хлопотами, но сейчас все личные дела как бы остались за дверями клуба. Теперь здесь только патриоты. Их мысли устремлены на то, как отстоять революцию, защитить свободу, разрушить заговоры. И как истинные патриоты они подозрительны. Наибольшим успехом пользуются ораторы, которые обращают внимание собравшихся на козни контрреволюции. Собравшиеся считают себя высшим судом. Тщательно и придирчиво они обсуждают дневные выступления в Ассамблее, речи министров, поведение короля.

Газеты сообщают неутешительные сведения: феодальная Европа готовит интервенцию.

И поэтому человек, стоящий сейчас на трибуне, надрывно вещает:

— Я доношу на Германию, Португалию и Испанию, Мексику и Шампань, на Лиму и Перу. Я доношу на Италию, Африку и Берберию, Англию и Россию.

Слова эти кажутся несколько наивными, но они вводят к бдительности.

Клуб — грозная общественная сила. Политики всех мастей сознают это и спешат на поклон к нему.

58 Среди присутствующих внимательный глаз замечает

журналистов Фрерона и Фабра д'Эглантина, художников Давида и Гро, аббата Грегуара, герцогов Монморанси и де Ларошфуко.

Кто этот юноша, робко выглядывающий из-за массивного плеча мясника Лежандра? Ему, вероятно, плохо видно, он щурится и вытягивает шею. Это молодой герцог Шартрский. Через сорок лет он будет королем Франции, Луи-Филиппом. А этот, в мантии епископа, с блуждающей улыбкой на губах? Морис Талеёран, будущий министр Наполеона.

Неисповедимы пути господни! Кто только не приходил в Якобинский клуб в смутные вечера 1790 года!

Но вот в зале возникает шумок, который сразу гаснет. Внимательно и напряженно слушают нового оратора. Он в оливковом фраке. Волосы заплетены в косичку и напудрены. Взгляд неподвижен, лоб нахмурен. Оратор говорит резким голосом, сопровождая свои слова сухими жестами.

Пламя свечей колеблется, и по лицам якобинцев проносится вырастающая тень Робеспьера.

С букетом белых роз, в белой фате, самая красивая девушка, которую когда-либо он видел (именно такой являлась к нему прекрасная Незнакомка в грезах его юности), Люсиль Дюплесси венчается с его давним товарищем Камиллом Демуленом.

...Все мы — «железные сверхчеловеки» — искренне завидуем простому счастью.

Когда победит Робеспьер, когда во Франции установится мир и порядок, все девушки будут красивыми. Потому что исчезнет голод и неравенство, а жизнь пойдет свободная и обеспеченная. Но мы, старые люди, кому тогда будем нужны?

Тихие звуки органа уносят воображение в мир 59

таинственный и сказочный. Аббат Берардье, бывший директор их колледжа, говорит проникновенные слова. Робеспьер закрывает глаза и чувствует себя школьником; словно вернулись далекие годы, когда он стоял в церкви колледжа Людовика Великого, воск свечи капал ему на пальцы, а он даже не замечал этого, ибо отдавался мечтам, и будущее представлялось ему светлым и радостным...

Странные звуки заставляют его открыть глаза. Что такое? Плечи Камилла трясутся, он всхлипывает.

О, великий артист! Все знают, что Демулен вынужден был пойти на церковный брак — иначе родители Люсиль не давали согласия. Все знают, с каким трудом Камилл упросил кюре Пансемона совершить обряд. Кюре категорически отказывался венчать известного безбожника, который в своей газете «Революция Франции и Брабанта» издевался над священниками. Камиллу пришлось каяться и исповедоваться. И теперь, в столь торжественный час, Камилл продолжает ломать комедию!

Робеспьер дергает Камилла за рукав и раздраженно шепчет: «Не плачь, лицемер!»

Церемония окончена. Свидетели ставят свои подписи.

Петион. Прославленный оратор, красавец, любимец парижской публики.

Бриссо. Популярный журналист. Остроумный собеседник. Когда-то он вместе с Робеспьером служил помощником парижского прокурора. Тогда это был ничем не примечательный человек. А теперь... Что ж, Робеспьер рад успехам коллеги. Знал Демулен, каких приглашать свидетелей! Интересно, позвал бы Камилл своего старого однокашника, не стань он, Робеспьер, известным депутатом?

Подписываясь, Бриссо и Робеспьер обмениваются шуточками:

— Может, откажемся?

— Несолидный человек Камилл.

— Он женится, а мы облизываемся.

— Счастливчик! Повесам всегда достаются красоти.

Люсиль грозит им пальцем — не обижайте моего Камилла. Люсиль смеется (кокетничает. Знает, что нравится Робеспьеру), протягивает руку, и Робеспьер целует ее.

Шумная компания вваливается в квартиру Демулена. Кто сказал, что в городе плохо с продуктами? Проныра Камилл постарался. Пир на весь мир!

Вино разлито в бокалы. Робеспьер требует тишины.

— Однажды заметили, что святой апостол Петр связывает нитки. Он берет простую нитку, вяжет ее в узелок с золотой и бросает. (Робеспьер вспомнил старый тост, слышанный им еще в Аррасе.) Его спросили: «Что вы делаете, святой апостол? Почему вы скверную нитку вяжете с золотой?» — «Так я устраиваю браки на земле», — отвечал апостол. (Робеспьер заметил, как исчезла улыбка с лица Камилла. Ура, шутка удалась!) Но иногда апостол Петр брал две золотые нитки и связывал их вместе. Это происходило крайне редко, и я рад, друзья, что мы присутствуем при том самом случае.

Дружный хохот. Аплодисменты. Люсиль посылает Робеспьеру воздушный поцелуй.

Камилл: — Максимилиан, я уж, было, хотел обидеться.

Бриссо: — Оказывается, мрачный трибун умеет шутить.

Петион: — А я был спокоен. Я знал, что тут какой-то фокус.

Все встают, поднимают бокалы.— Здоровье, счастье молодых!

С треском распахиваются окна. Зимний сырой ветер врывается в комнату. Гаснут свечи. В полумраке возникают ведьмы и призраки. Визгливыми голосами они пророчествуют:

— Пройдет несколько лет, и в лесу найдут изъеденный волками труп Петiona. Он пытался спастись от казни, к которой приговорили его Робеспьер и Демулен.

— Настанет день, и по воле Робеспьера и Демулена, под крики и улюлюканье толпы в допотопной телеге поедет на казнь Бриссо.

— И будет утро, когда бледный, с прыгающим ртом взойдет на эшафот Камилл Демулен. С глухим всплеском упадет нож гильотины, и, вторя ему, пронзительно закричит, забьется Люсиль.

— А потом и саму Люсиль, связанную, с горящими глазами фанатички, почти сумасшедшую, шепчущую проклятия Робеспьеру, повезут на Гревскую площадь.

За закрытыми окнами мягкий вечер. Ярко и ровно горят свечи. Ведьмы и призраки существуют только в воображении английского автора Шекспира, и на театральной сцене их играют второстепенные, страдающие одышкой актеры.

Ничто не нарушает веселья. Друзья протягивают бокалы, чокаются (у Камилла даже вино расплескалось на скатерть. Петион замечает: «К счастью!»),

выпивают (Все до дна! Иначе добрые пожелания не сбудутся!) и энергично (изрядно проголодались за день!) принимаются за закуску.

Осень 1790 года. Весна 1791 года. Дебаты в Учредительном собрании. Куда девались единодушные и восторженность первых дней Ассамблеи? В речах усталых ораторов оскорбительные намеки и злобные выпады. Депутаты вызывают друг друга на дуэль.

Собрание медленно, но неуклонно катится вправо. Между правым и левым центром граница чисто условная. Смелый Барнав произносит слова, которым мог бы аплодировать эмигрант Мунье. Партии сближает одна задача: остановить революцию.

Редеют ряды крайне левой. Но все уже знают, что как только Собрание затрагивает интересы народа, на трибуну поднимается Максимилиан Робеспьер.

Когда Робеспьер однажды пропускает важное заседание — все в недоумении.

Марат пишет: «Робеспьер наверное болен, если только не сделался жертвой какого-нибудь покушения со стороны заговорщиков».

Робеспьер — защитник революции. Он совесть нации.

«Разве те, кто не уплачивает известных податей, являются рабами? Разве они не заинтересованы в общественном деле? Все они содействовали избранию членов Учредительного собрания; они предоставили вам осуществлять за них права; разве они поручили вам осуществлять права против них? Граждане они или нет? Я краснею при мысли, что мне приходится спрашивать об этом».

Робеспьер был единственным депутатом-демократом, которого не затронуло повальное увлечение

законом против эмиграции, вызванным отъездом технокороля.

Робеспьер колеблется. А вдруг этот закон ущемляет права людей?

— Закон против эмиграции мне не нравится, но я хотел бы, чтобы мне доказали дельными доводами, что его следует отвергнуть.

Когда в Собрании стали раздаваться голоса, требующие сожжения литературы, в которой отстаивались аристократические принципы, Робеспьер сказал: «Сделайте это, и вскоре инквизиции подвергнутся также и патриотические произведения».

Заметим, кстати, что именно Робеспьер требовал отмены смертной казни. Но Собрание не пошло за ним и оставило в силе старые законы.

Однажды, когда ему не дают выступить, он бросает в запальчивости следующую фразу:

— Всякое требование, имеющее целью подавить мой голос, — гибельно для свободы.

Многие буржуазные историки, анализируя этот период деятельности Робеспьера, пишут, что вот видите, каким Робеспьер был хорошим, Собранию стоило прислушаться к нему, и тогда Франция избежала бы ужасов террора.

Конечно, соблазнительно поддержать легенду о добром Робеспьере. Но, во-первых, было бы утопией считать, что Собрание могло принять предложение Робеспьера. А, во-вторых, сам Робеспьер выступал в роли абстрактного демократа, стоящего вне партии. Его гуманизм был наивен. Как только Робеспьер станет во главе Якобинского клуба, как только он получит возможность действительными мерами бороться с врагами революции — он заговорит по-другому.

Но и сейчас он не упускает случая нанести решительный удар лидерам Собрания. Он понял, что в бу-



дущем они будут мешать революции, и убирает их с дороги:

— Я требую следующего декрета: члены настоящего Собрания не могут быть избраны вновь в будущее Законодательное собрание... Двадцатипятимиллионная нация была бы управляема... небольшим числом ловких ораторов; а кто же управлял бы иногда ораторами?.. Я отнюдь не люблю этой новой науки, которую называют тактикой больших собраний; она слишком похожа на интригу... Я не люблю, чтобы ловкие люди могли, господствуя при помощи этих способов над Собранием, подготавливать свое господство над другим Собранием и, таким образом, увековечивали систему коалиции, которая является бичом свободы. Я питаю доверие к представителям, которые, не имея возможности распространить свои замыслы за пределы двух лет, будут вынуждены ограничить свое честолюбие славой служения человечеству и своей родине.

Логика его доказательств была такова, что лидеры ассамблеи вынуждены были вотировать свое изгнание из общественной жизни страны.

И в каждом выступлении Робеспьер последовательно и неуклонно отстаивает идею политического равенства всех.

Наибольшую известность принесла ему речь о всеобщем избирательном праве.

Робеспьеру не удалось выступить в Учредительном собрании, и он опубликовал эту речь в печати. 20 апреля 1791 года она была зачитана в клубе кордельеров. Клуб постановил издать ее в форме брошюры и афиш. Клуб приглашал все патриотические общества читать ее на своих заседаниях.

С этого момента, вероятно, и начинается огромная популярность Максимилиана Робеспьера.

Мнение историков:

Мишле: «Роль его с тех пор была простая и сильная. Он стал крупной помехой для тех, кого он покинул. Деловые и партийные люди, они при каждой попытке делать компромисс между принципами и интересами, между правом и обстоятельствами встречали преграду, которую им ставил Робеспьер, именно — абстрактное, абсолютное право; против их убудочных англо-французских, мнимоконституционных решений он выдвигал не специально французские, но общие, универсальные, вытекающие из «Общественного договора» теории, законодательный идеал Руссо и Мабли.

Они вели интриги, волновались, а он был непреложен. Они во все вмешивались, входили в тайные сношения, договаривались, всячески компрометировали себя, а он только проповедовал. ...В конце концов он должен был победить их».

Глава VI

Хроника революции

Каждый день задают вопрос: предпочтительнее ли республиканское правительство королевского. Этот спор всегда заканчивается признанием, что очень трудно управлять людьми.

Вольтер

2 апреля 1791 года умер граф Оноре-Габриэль Рикетти-Мирабо.

66 рабо. В этот день театры были закрыты, развлечения запрещены. Одна строптивая маркиза все-таки захо-

тела дать бал, но сбежался народ и палками разогнал собравшихся.

Провожать тело Мирабо в последний путь вышел весь Париж. Шествие открывал отряд конницы. Затем следовали канониры от каждого из шестидесяти батальонов, штаб национальной гвардии, духовенство, Учредительное собрание, Якобинский клуб, министры, чиновники департаментов и муниципалитетов. Один лишь депутат отказался присутствовать — то был Петион.

Собрание постановило похоронить тело Мирабо в церкви св. Женевьевы, на фронтоне которой будет высечена надпись:

«Великим людям благодарное отечество».

Так Франция почтила память человека, сделавшего принципом своей жизни абсолютную беспринципность.

Граф Мирабо с удивительным талантом обманывал короля, Собрание, народ, но в первую очередь обманывал самого себя. Могущественный оратор, человек, прошедший молодость в тюрьмах и ставший на склоне лет самым сильным политическим деятелем, он хотел править страной. Увы, несбывшиеся надежды! И не потому, что Барнав лишил его министерского поста, и Мирабо оставалось только давать советы, казавшиеся слишком сложными простоватому королю. А потому, что Мирабо тоже считал конституционную монархию идеальной формой общественной жизни. Но революция шла дальше, а Мирабо все еще надеялся остановить ее с помощью интриг. Каждый раз, когда он упирался, пытаясь задержать народное движение, революция давала ему пинок и заставляла идти вперед. Неверно думать, будто Мирабо предавал революцию, когда король хорошо платил ему, и помогал революции, когда считал, что ему заплатили

недостаточно. Нет, Мирабо неоднократно поднимался на трибуну, искренне желая провести декрет, угодный монархии, но правые, тупые и фанатичные, его освистывали, народ, угадывая измену, улюлюкал; и Мирабо, раздраженный глупостью аристократов и боящийся потерять популярность, вдруг испуганно обрушивался на двор и короля. Он сходил с трибуны под грохот аплодисментов. На следующий день газеты называли его Мирабо-громовержец, а сам оратор стыдливо оправдывался перед министрами, притворно недоумевая, почему накануне его так занесло.

В дни всеобщей скорби торжествовал лишь один подозрительный и проицательный Марат.

«Народ, возблагодари богов! Под косою Парки пал твой опаснейший враг: не стало Рикетти! Он пал жертвою своих многочисленных предательств, своих слишком запоздалых сомнений, варварской предусмотрительности своих жестоких сообщников... Помни, что он был одним из прирожденных холопов деспота, что он фрондировал перед двором только для уловления твоих голосов; что едва попав в Генеральные штаты, он продал двору твои священные права...»

(Через два с половиною года, когда открылась связь Мирабо с двором, по докладу Жозефа Шенье был принят следующий декрет:

«Национальный Конвент, находя, что без добродетелей не бывает великого человека, постановляет: удалить тело Оноре-Габриэля Рикетти-Мирабо из французского Пантеона и перенести туда тело Марата».)

Пока Мирабо был жив, он старался политику двора держать в рамках благоразумия. Знаменательно, что еще в 1790 году Мирабо рекомендовал ввести якобинцев в правительство (имея в виду триумвират).

«Якобинцы-министры не будут якобинскими министрами. Если они удержатся, тем лучше, они будут вынуждены отступить, а если не удержатся, то они погибли — они и их партия».

Мирабо предугадал дальнейшую эволюцию Барнава, Дюпора и Ламетов.

Но Мирабо умер, и советы королю стали давать другие люди. Они придумали грандиозный план, осуществление которого наносило революции смертельный удар.

Король решил бежать из Франции.

Естественно, приготовления к отъезду велись в строжайшей тайне. Но слухи о предстоящем побеге поползли по Парижу — очень уж много людей пыталось помочь королю. Предприятие могло привести к успеху при условии, что королевская семья достигнет границы незамеченной. И тут уж мастера придворной интриги особенно постарались.

Выбрали маршрут, по которому бежали все эмигранты, и поэтому окрестное население было особенно бдительным.

Соорудили специальный экипаж — огромную берлину, при виде которой даже ко всему равнодушные придорожные собаки поднимали истошный лай.

Кучером посадили верного графа Ферзена, который не знал Парижа и полночи проплутал по его улицам.

Для встречи короля генерал Булье выделил гвардейские части, появление которых встревожило всех жителей пограничных городов.

Любопытно, что автор самого подробного исследования о французской революции Луи Блан указывает на цепь роковых случайностей, благодаря которым побег короля закончился арестом.

Уж эти мне роковые случайности! Если верить некоторым писателям, то получается, что только из-за оврага, оказавшегося в центре поля близ Ватерлоо, и ошибки маршала Груши Наполеон проиграл сражение и навсегда лишился короны, что переворот 9 термидора в основном удался только потому, что вечером разразилась гроза и разогнала собравшихся у ратуши граждан.

Между тем мы уже убеждались и будем еще не раз свидетелями того, что якобы внезапные и нелогичные исторические повороты на самом деле совершались по строгим законам логики. Тысячи обстоятельств складывались в закономерность, закономерность расставляла миллионы случайных ловушек, в одну из которых должен был попасть исторический деятель. Так произошло и с бегством короля. Когда вся Франция была поднята на ноги, когда все патриоты внимательно следили за дорогами, король был обречен. И несмотря на все ухищрения заинтересованных лиц, он должен был попасть в сеть «роковых» случайностей.

Скажем так: королевской семье необычайно везло, она счастливо избегала сетей, пока наконец в одной из деревушек Людовик XVI не выглянул в окно и его не заметил почтмейстер Друэ. Друэ был поражен. Лицо, выглядывавшее из окна кареты, являлось точной копией портрета с ассигнации в 50 ливров.

Друэ поскакал вперед, в город Варенн, и поднял тревогу. В Варенне карету под благовидным предлогом задержали. Беглецов, якобы для ночлега, отвели в дом молочного торговца Соса, занимающего должность прокурора общины. Король, ничего не подозревая, заказал бутылку бургундского и сыру. Тем временем жители города вооружались. И наконец Сос указал пальцем на висевший портрет:

— Ваше величество, вот ваш портрет!

— Ну, да, да, мой друг, я король! — живо ответил Людовик XVI, обрадованный своей популярностью.

* *
*

В Париже бегство короля было официально оповещено тремя пушечными выстрелами. Собрание не расходилось. Клубы объявили свои заседания непрерывными. Отдано было приказание опечатать Тюильрийский дворец. Запретили выезд из Парижа.

Депутатам зачитали личное письмо короля, переданное через министров, которое называлось «Воззвание ко всем французам».

В нем король сваливал вину за все беды королевства на деятельность Собрания, жаловался на тяжелую жизнь и недвусмысленно заявлял о своем переходе на сторону контрреволюции.

Как реагировали оскорбленные депутаты? Мену, Ле-Шапелье, герцог Орлеанский, Ларошфуко, Монморанси, Шарль и Александр Ламеты — вожаки Собрания и авторы конституции — все бросились сломя голову спасать монархию.

Этот, на первый взгляд неожиданный вольт мы попытаемся объяснить позднее. А пока приведем начало декрета, принятого славными защитниками революции:

«Совершено великое преступление. Национальное собрание заканчивало свои продолжительные труды; конституция была близка к завершению, революционные бури были готовы улечься; и враги общественного блага захотели единым преступлением принести всю нацию в жертву своей мести. Король и королевская семья *похищены* 21 числа настоящего месяца».

25 июня короля привезли в столицу. Париж встретил его убийственным молчанием.

Король был доставлен в Тюильрийский дворец и взят под стражу.

Перед партиями встал вопрос: что дальше?

Лицемерная версия Собрания о похищении вызвала всеобщее возмущение.

Бриссо писал: «Как охарактеризовать эту двойственность: короля арестовывают, а объявить, что его арестовывают, не хотят; на офицеров возлагают ответственность за его охрану, а сами хотят уверить, будто он свободен? Что же, узник он или нет? Если узник, то к чему лгать? Если он не узник, зачем арестовывать его?»

Со страниц газеты Камилла Демулена полились оскорбления и издевательства над королевской семьей.

Марат требовал установления военной диктатуры. В диктаторы он предлагал Дантона.

Кондорсе опубликовал послание, в котором обещал найти искусного механика, способного в пятнадцать дней сконструировать образцового монарха.

Призрак республики стучался в дверь.

Как же вел себя Якобинский клуб?

23 июня Дантон заявил: «Человек, объявленный королем французов, преступен или глуп. Но человек — король не может оставаться королем, если он глуп. Регента тоже не надо, но нужен сменяемый, избираемый департаментами совет».

27 июня д'Анжу потребовал регентства.

29 июня Антуан предложил назначить регента и объявить о низложении короля.

1 июля Билло-Варен поставил вопрос: «Какая форма правления более пригодна для нас: монархическая или республиканская?» В зале шум. Председа-

тельствующий Буш прерывает оратора: «Конституцией признано, что для Франции пригодна монархическая форма правления».

Как видим, в Клубе не было единства. Что же думал лидер якобинцев Максимилиан Робеспьер?

Двусмысленны и осторожны его слова, произнесенные в Якобинском клубе:

— В Собрании меня обвинили в том, что я республиканец: мне делают слишком много чести — я не республиканец. Если бы меня обвинили в том, что я монархист, мне нанесли бы оскорбление: я и не монархист.

В Учредительном собрании Робеспьер (равно как и Бюзо, Петيون, Грегуар), протестуя против намерения большинства обелить короля, доказывая, что нельзя смешивать неприкосновенность с ненаказуемостью, требуя тщательного расследования и суда над Людовиком XVI, умудрился не коснуться основного вопроса, волнующего Якобинский клуб: что лучше — монархия или республика.

Не будем спешить с обвинением Робеспьера в недальновидности или политической слепоте. Да, он не пришел еще к мысли о республиканском правлении, но ведь и Франция не была готова для республики. Как справедливо указывает Олар, «во Франции хотели установить свободное правительство при посредстве короля; хотели организовать, реформировать монархию, а не разрушить ее. Никто не думал о том, чтобы призвать к политической жизни невежественную массу народа; произвести необходимую революцию намеревались при помощи избранной части нации, обладающей имуществом и образованием. Предполагалось, что этот ослепленный, живущий бессознательной жизнью народ мог только служить орудием реакции в руках привилегированных классов».

В свою очередь королевская власть противилась всяческим реформам. Ее деятельность была враждебна интересам нации, и это в конце концов поставило на повестку дня вопрос о республиканской форме правления. Но все равно образ народного мышления нельзя было изменить сразу. Вспомним, что Франции пришлось пережить двух королей, двух императоров, две революции — прошло восемьдесят лет, прежде чем в стране воцарилась республика.

Робеспьер всерьез опасался, что деспотизм короля сменится еще более жестоким деспотизмом Лафайета, Балби или кого-нибудь другого. Робеспьер боялся, что дебаты о республиканском правлении могут только расколоть единство патриотов и дать повод Собранию расправиться с демократическим движением. Увы, не более чем через месяц оправдались его худшие предположения.

Собрание после долгих дебатов постановило, что король невиновен.

Туре, Ле-Шапелье, Барнав и Дюпор сомкнулись единым фронтом.

Что же произошло? Почему триумвират, еще недавно защищавший свободу, вдруг проникся любовью к монарху? Почему же, компрометируя себя и подрывая свою былую популярность, Барнав, Дюпор и Ламеты стали яростными защитниками короля?

Обратимся к Барнаву, наиболее авторитетному лидеру конституционалистов.

Прежде всего отбросим версию некоторых буржуазных историков, которые утверждают, что пылкий Барнав, сопровождая в качестве комиссара Собрания королевскую семью в Париж, не устоял перед чарами Марии-Антуанетты и превратился в добросовестного слугу монархии. Барнав отнюдь не обладал повышенной чувствительностью. Все писатели единодушно со-

глашаются с характеристикой Барнава, данной ему Мирабо: «Пламенный ум и ледяное сердце». Вряд ли такой человек мог рисковать своей репутацией общественного деятеля из любви к женщине.

Часто в пылу погони за исторической объективностью вспоминают поговорку «Победителей не судят» и обрушиваются на побежденных. Изменим этому золотому правилу и скажем доброе слово о Барнаве.

Чей голос звучал ровно и мощно, отбивая атаки Мори и Казалеса?

Кто разоблачал хитроумные проекты Туре и Лешапелле?

Кто противостоял Мирабо, когда последний горел желанием отличиться перед королем?

Давайте воздадим должное человеку, который смог установить во Франции конституционную монархию. Это была первая победа, первый шаг революции.

Всю тяжесть борьбы за конституцию, пусть еще несовершенную и робкую, выдержали на своих плечах Барнав, Дюпор и Ламеты. Они искренне верили в то, что эта конституция принесет счастье и успокоение Франции, они были убеждены, что конституционная монархия — это идеал современного общества. Но конституция была цензовой, и выгоды от нее получила лишь крупная буржуазия. Барнав боялся, что дальнейшее движение революции приведет к всенародной смуте, и тогда может восторжествовать анархия, или старый порядок вернет свои утраченные позиции. Барнав защищал принципы конституционной монархии от неумного короля и его фанатичного окружения и таким образом, сам того не подозревая, отстаивал классовые интересы крупной буржуазии. Барнав критиковал Людовика XVI, но как только возникла угроза республики, он встал на сторону королевской власти.

В этом и заключалась трагедия Барнава. Мы впервые (увы, это нам еще предстоит не раз) столкнулись с удивительной закономерностью: политический деятель как бы рождается для определенного периода, то есть наступает время, когда настроение общества созвучно убеждениям политического деятеля. И тогда человек отдает все свои силы и талант этому времени. Всеобщая поддержка укрепляет сознание его правоты. Он в фаворе, он — вождь нации. Но времена меняются: возникают новые идеи, появляются иные обстоятельства, приходят новые люди. Для прежних героев это всегда неожиданно — они еще убеждены в своей непогрешимости и к тому же выжаты предыдущей борьбой. Они не хотят да и органически неспособны перестроиться. И их выбрасывают за ненадобностью.

Вероятно, через много лет политик мог бы осознать новые веяния и понять, что он ошибался. Но не было спасительной передышки у героев французской революции. Они достигали славы, будучи еще юношами, и погибали молодыми.

Нельзя забывать и о том, что Барнав, как всякий человек, был подвержен слабостям.

Он считал, что конституционная монархия — дело его жизни и плод всех его усилий. И вдруг с ужасом замечает, что революция идет дальше. Трещит выстроенное им здание. В Якобинском клубе, одним из основателей которого был триумвират, стал хозяином Робеспьер. Народ отворачивается от Барнава и слушает других, ранее вовсе неизвестных ораторов. Для Барнава слава оказалась тяжким бременем. Тяжким потому, что слава прошла, а привычка к ней осталась. Когда он сам срывал аплодисменты, все было в порядке. Но теперь его забыли и аплодируют другим. И Барнаву начинает казаться, что эти другие просто

ловко пользуются дурным вкусом и низменными интересами толпы. Народ нашел себе иных кумиров — значит народ в заблуждении.

И Барнав делает отчаянную попытку спасти свое детище — конституцию. Он хочет остановить революцию, но, кроме того (возможно, инстинктивно, не очень ясно отдавая себе в этом отчет), он пытается сохранить свое место в общественной жизни, спасти самого себя.

Он призывает к благоразумию:

— Революция не может сделать больше ни шага, не подвергаясь опасности. Если на пути свободы первым следующим действием будет упразднение королевской власти, то на пути равенства первым действием, которое могло бы последовать, было бы покушение на собственность... И все должны сознавать, что общий интерес требует, чтобы революция остановилась. Те люди, которые понесли потери, должны видеть, что заставить ее пойти назад невозможно и что речь может идти уже только о ее закреплении.

Но уж таков суровый закон революции: тех, кто становится на ее пути, она не оставляет в покое, она не дает им возможности только произнести красивую фразу и благородно отойти в сторону. Она принуждает их к действиям, которые в конечном итоге влекут за собой гибель этих людей.

Примиренческие декреты Собрания, вкрадчивые речи Барнава и конституционалистов не приносят желанного эффекта. Нарождающуюся республиканскую партию можно сломить только силой, и Собрание, ведомое Барнавом, ищет повода применить ее.

Страсти накаляются.

Из толпы национальным гвардейцам кричат:

— Лафайетовские прихвостни!

Бриссо в своей газете восклицает:

— Позор наших законодателей доведен до последнего предела!

Камилл Демулен высокомерно диктует, как, по его мнению, должно было бы поступить Собрание.

А вот что пишет Марат:

— Что делать? Обрубить большие пальцы на руках всем прирожденным холопам и представителям бывшего дворянства и высшего духовенства, не как неверным, а как врагам. Что касается народных депутатов, продавших деспоту права нации — всех этих Сиейсов, Ле-Шапелье, Дюпоров, Тарже, Тюре, Барнавов, — то наделайте из них живьем чучел и пусть они в течение трех дней будут выставлены перед народом на зубцах стен сената.

Собрание раздражено. Национальные гвардейцы, которых обвиняют в потворстве побегу короля, в ярости.

И тогда, 17 июля 1791 года, произошла кровавая бойня на Марсовом поле.

Вот, коротко, события, которые этому предшествовали.

В Якобинском клубе возникла идея написать петицию, в которой бы заявлялось о низложении Людовика XVI. Эта идея была бурно поддержана в саду Пале-Рояля, где ежедневно собирались сотни патристически настроенных граждан.

Петицию написал Бриссо. Сбор подписей был назначен на воскресенье 17 июля. Место сбора подписей — Марсово поле.

Но собрание приняло декрет, подтверждающий власть короля.

В последний момент Робеспьер отговорил якобинцев участвовать в подписании петиции. Он справедливо предполагал, что Собрание может счесть петицию антиконституционной и расправиться с народом.

Однако настроение у кордельеров и в народных клубах было иным.

Двенадцать граждан явились в муниципалитет, руководствуясь следующей статьей закона:

«Граждане, желающие воспользоваться правом подачи петиций, должны быть без оружия и заявить о своем собрании за сутки вперед».

Мэр города, Бальи, выдал им соответствующую расписку. То, что подписание петиции официально разрешено, было известно всем жителям столицы.

Утром 17 июля под алтарем Отечества на Марсовом поле случайно обнаружили двух неизвестных. Их вытащили и приволокли в караул одной из секций. Комиссар их допросил и отпустил. Но уже разнесся слух, что эти двое — шпионы и хотели взорвать алтарь. При выходе из караула их схватили и убили. Расправились с ними другие люди, не те, что собрались на Марсовом поле.

Марсово поле! Год тому назад, когда готовились торжественно отмечать годовщину взятия Бастилии, оно представляло собой трогательное зрелище. Рабочие Сент-Антуанского предместья и богатые буржуа, ремесленники и светские дамы, засучив рукава, вывозили мусор, перекапывали рытвины, подносили доски для алтаря Отечества. Журналисты проливали искренние слезы при виде этого волнующего единения нации. Вот такой светлой и радостной рисовалась восторженным гражданам французская революция.

Праздник тогда получился пышным и впечатляющим. Талейран, епископ Отенский, от имени бога и страны благословлял короля, министров, депутатов и народ.

Все находили, что день был на редкость удачным. (Особенно удачным он был для епископа Отенского. Сразу после церемонии Талейран поехал в игорный

дом, где сорвал банк, потом уехал, снова вернулся в игорный дом и вновь сорвал банк. Поразительное везенье!)

В полдень 17 июля 1791 года район Марсова поля представлял собой веселое, приятное зрелище. Со всех кварталов сюда валил народ. Мужья вели с собою жен, матери — детей. Шла бойкая торговля пряниками и пирожками.

Прибыл посланец Якобинского клуба. Он сообщил о решении взять назад петицию. (Робеспьер, находясь в клубе, все еще пытался предотвратить возможную провокацию.) Но тут же кто-то предложил написать новую. Петиция вскоре была составлена, и тысячи подписей постепенно заполняли листки и небольшие, сшитые вместе тетради.

Посланец якобинцев появился. А где те, кто призывал народ собраться на Марсовом поле? Никто не видел ни Марата, ни Бриссо. Дантон, Демулен и Фрерон уехали ночью за город. А между тем Фрерон писал 15 июля: «Лафайет получил от муниципалитета приказание стрелять в народ. Но не робейте!.. Его солдаты тотчас же сложат оружие. Кроме того, кто не умеет умирать, тот недостоин быть свободным!» Что и говорить, пылкие революционеры любили красиво выражаться. Но вот иногда вели себя довольно странно.

Тем временем президент Национального собрания Шарль Ламет открыл заседание следующими словами:

— Нам только что сообщили с достоверностью, что на Марсовом поле двое граждан пали жертвою своего усердия...

Другой депутат прибавил:

— Эти жертвы — два национальных гвардейца, которые требовали соблюдения закона.

поле трех комиссаров. Те возвращаются, успокоенные мирным поведением народа.

Но Бальи при докладе трех комиссаров ковыряет пальцем в ухе. Зато он очень внимательно выслушивает людей, сообщающих о каких-то беспорядках, о неудачном покушении на Лафайета.

Богатые буржуа, те, что год назад засучив рукава, в поте лица трудились на Марсовом поле, теперь озабочены. События последних месяцев почему-то навели их на грустные размышления. Нынешнее собрание на Марсовом поле им не нравится. Они приносят ходатайство о принятии насильственных мер.

Наконец поступает решительное послание от президента Собрания.

У главного окна ратуши поднимается красный флаг, объявляющий о мятеже.

Национальные гвардейцы (парикмахеры и крючники с рынка) приветственно машут ружьями!

Войска окружают Марсово поле. Бальи приказывает народу разойтись. Сбоку, с насыпи, непонятно откуда взявшаяся группа молодых людей кидает в гвардейцев камни. По насыпи гвардия дает холостой залп. Следующий залп — боевыми патронами — в женщин и детей.

На поле остаются лишь трупы. Кавалерия преследует бегущих.

Гвардия марширует по опустевшим улицам. Солдаты врываются в Якобинский клуб. Патриоты незаметно уводят Робеспьера. Он укрывается в доме столера Дюпле.

Итак, республиканцы разгромлены.

Конституционная партия торжествует.

Утром 18 июля на трибуну Учредительного собрания поднимается подтянутый, свежевыбритый Бальи. Скорбным голосом он докладывает:

— Муниципальный совет является перед вами глубоко опечаленный происшедшими событиями. Совершены были преступления, и был приведен в действие закон. Смеем уверить вас, что это было необходимо. Общественный порядок был упразднен, образовались лиги и общества заговорщиков: мы огласили карающий закон. Мятежники провоцировали силу; они стреляли по представителям городского управления и по национальным гвардейцам, но на их преступные головы пала кара за их преступление.

Эта наглая ложь была встречена бурной овацией. Барнав произнес спич в честь храбрых национальных гвардейцев. Президент Собрания Шарль Ламет поздравил Бальи. Конституционная и юридическая комиссия предложила декрет, по которому и впредь будут признаваться мятежниками люди, своими сочинениями и речами вызывающие неповиновение закону. Декрет был принят, после чего депутаты, верные слуги народа, разошлись в прекрасном настроении.

Барнав затянул победную песню.

Глава VII

Новые люди

Они были республиканцами при монархии и роялистами при республике.

Из обвинительного акта Комитета общественной безопасности.

После закрытия Учредительного собрания власть оказалась в руках конституционалистов.

Министры были конституционалистами, общественным мнением руководил клуб Фельянов.

Клуб Фельянов образовался 16 июля, когда многие видные политические деятели, ведомые Барнавом, Дюпором, Александром Ламетом, порвали с якобинцами. Наверно, не случайно раскол произошел накануне событий на Марсовом поле. Защитники крупной буржуазии не хотели больше иметь ничего общего с «беспокойными и пылкими новаторами» и желали «конституции, всей конституции и только одной конституции».

Приутихли левые газеты. Марат ушел в подполье. Дантон уехал сначала в свое имение, а потом в Англию. Робеспьер вернулся в Аррас.

Создавалось впечатление, что победа конституционалистов полная, оппозиция подавлена. Разве кто-нибудь мог соперничать с такими популярными вождями, как Барнав и Ламет?

Но благополучие победителей было призрачным. Прошло несколько месяцев, и их задвинули на второстепенные места — они практически перестали существовать.

1 октября 1791 года начало свою работу Законодательное собрание.

Министры относились к Собранию презрительно. «Старые парламентарии» наблюдали за новыми депутатами из особой ложи, наблюдали, как за спектаклем статистов, отпуская насмешливые реплики. Марат, вновь появившийся на общественной арене, писал: «До сих пор новое Законодательное собрание проявляло себя лишь в виде сборища ограниченных, непоследовательных, неустойчивых и бездарных людей, которых водят за нос несколько ловких мошенников, сбивая их с толку мелочными тонкостями или запугивая их, как детей, известными призраками».

Но очень скоро на смену старым министрам пришли новые, во всем подчиняющиеся лидерам Законо-

дательного собрания. Было ликвидировано единоначалие буржуазной национальной гвардии. Мэр Парижа — Балли был вынужден подать в отставку. Его место занял Петтион. Специальная ложа для депутатов Конституанты была закрыта, а когда бывшие кумиры появлялись в зале заседания, публика нередко встречала их свистом и шиканьем.

Через несколько месяцев Законодательное собрание приняло такие декреты, о которых даже не смела подумать старая Ассамблея. Новые депутаты поставили вне закона эмигрантов и неприсягнувших священников, то есть была объявлена война внутренним врагам революции.

И по всей стране началась всеобщая агитация за войну с феодальной Европой — внешним врагом революции.

Новые люди у руля Франции.

Откуда они взялись?

Когда Учредительное собрание боролось с ультраправыми и роялистами, когда оно отстаивало конституцию, вся эта деятельность, кроме своего непосредственного политического результата, вызывала другой, всеобщий, необратимый процесс по всей стране. Теперь в выборах, благодаря новой системе ценза, приняла участие бóльшая группа населения. Как говорит Олар, «Законодательное собрание было представительством нового привилегированного класса, той буржуазии, которая с решимостью и официально принимала на себя власть». В собрание пришло новое поколение, словно впитавшее в себя те демократические идеи, которые высказывались с трибуны прежней Ассамблеи. Новые люди поняли, что Ассамблея — это огромная сцена, за которой наблюдает вся Франция. И теперь, попав на эту сцену, они старались кричать как можно громче, чтобы их было всюду слышно.

Возможно, что некогда они мечтали о трогательном сотрудничестве со знаменитыми лидерами Ассамблеи. Увы, лидеры (как и положено знаменитостям) встретили их с холодной усмешкой. Новым людям надо было срочно самоутвердиться, а для этого, в первую очередь, требовалось свергнуть прежних идолов.

Конечно, Законодательное собрание было достаточно разнолико. Одни депутаты поддерживали конституционалистов, другие прислушивались к демократам. Многие уже тогда составляли «партию», получившую впоследствии печальную известность, как «партия болота».

Среди депутатов Законодательного собрания встречались люди будущего: запоминался изящный, насмешливый Эро де Сешель; обращало на себя внимание сумрачное лицо Лазаря Карно; немощный, парализованный Кутон уже произнес свою первую знаменитую речь; Шабо и Базир олицетворяли в этом пестром сборище суровый дух якобинцев и кордельеров.

Но говоря о «новых людях», мы имеем в виду нарождавшуюся боевую буржуазную партию, которая потом достигла могущества, громкой известности и сыграла роковую роль в истории революции: в Собрание пришли жирондисты.

Они понимали, что им нечего ждать поддержки ни от могущественного клуба Фельянов, ни от двора, ни от короля. Помощь могла придти только от новой буржуазии, от тех, кто считал, что революция недостаточно удовлетворила их требования.

Новую буржуазию они знали лучше, чем бывшие депутаты Конституанты. Те два года заседали (так сказать, варились в собственном соку) и с фактическим положением страны были знакомы только по

газетам и по письмам с мест. Новые люди были сами представителями нарождающейся буржуазии и прекрасно понимали, что ей нужно.

Чем сильнее они наносили удары двору, тем громче звучали их имена. Но они хотели своей славой затмить популярность конституционалистов, а вершина славы, как известно, представляется (о волшебное детство) на белом коне со шпагой в руках. Им нужна была война, чтобы окончательно закрепиться у власти.

Поняв раз и навсегда, что трибуна Собрания — это всенародная сцена, они стали прекрасными артистами.

Как и все настоящие артисты, они обладали звучными голосами и четкой дикцией. Они выбирали подходящий момент, чтобы произнести sacramентальный монолог или убийственную реплику.

Как и все настоящие артисты, они были очень непоследовательными, но зато, вжившись в роль, искренне верили тому, что говорили.

Когда король допускал их к власти, они становились верными его слугами. Когда король давал отставку жирондистским министрам, жирондисты наносили ему убийственные удары. Партия лавировала достаточно ловко для того, чтобы возглавить народное движение 20 июня и придти к власти после 10 августа 1792 года. Но, свергнув короля, жирондисты противились суду над ним.

Опираясь на поддержку широких слоев буржуазии, новые люди победили конституционалистов и развеяли иллюзию о конституционной монархии. Добившись привилегий для новых слоев населения, они посчитали свою миссию выполненной. Но, желая остановить революцию, жирондисты оказались как бы между двух огней: двор и крупная буржуазия пы-

тались вернуть старый порядок, мелкая буржуазия и бедняки города и деревни громко заявляли о своих требованиях. В этой сложной ситуации жирондисты пытались придерживаться некой средней линии, они совершали сложные замысловатые маневры, бросались из одной крайности в другую. Сделав шаг вперед, они резко поворачивали назад. В конце концов они закружились на месте и потеряли головы... в буквальном смысле этого слова.

Они представляли собой группу талантливых солистов, но создать дисциплинированную организацию было выше их сил.

Лидеры жирондистов:

Верньо. Оратор более ослепительный, чем Мирабо, но твердо убежденный, что всегда и во всем на первом месте будет одно лишь слово. Он любил народ, но любил его как аплодирующую галерку.

Изнар. Его неистовые речи, проникнутые какой-то пророческой уверенностью, увлекали и опьяняли Собрание. Но с поразительной легкостью он сегодня говорил совсем не то, что вчера. И не потому, что он не придавал никакого значения словам. Он просто сегодня совершенно искренне думал иначе.

Гаде. Мрачный и саркастичный острослов, которого все боялись. Это он осмелился в Якобинском клубе прервать Робеспьера, когда тот произносил проникновенную речь о боге. После Гаде Робеспьеру крикнули: «Довольно глупых поучений, господин президент!» Он стремился скорее оскорбить противников, чем попытаться с ними договориться, скорее высмеять их доктрины, чем противопоставить им что-либо другое.

Жансоне. Наиболее спокойный, рассудительный оратор, тяжелая артиллерия жирондистов. Впрочем, впоследствии, в пылу партийной борьбы именно он окончательно озлобил монтаньяров (так называли

депутатов, которые заседали на Горе, то есть на верхних скамьях Собрания, и которыми фактически руководил Якобинский клуб), сравнив их с гусями.

Кондорсе. Прославленный философ, мозг жирондистской партии. Выступал мало, но с его молчанием приходилось считаться.

Бриссо. Умелый политик, интриган, человек, способный на любые, самые неожиданные повороты. Его все время провозглашали вождем жирондистов, но он упорно отказывался от этой роли.

Так кто же был вождем партии?

Нетрудно предположить, что по логике своего характера эти пылкие мужчины должны были избрать лидером женщину, очаровательную женщину, отвечающую их поэтическим наклонностям, которая как бы символизировала собой их мечту, их светлый идеал — блистательную республику и прекрасную Францию. Истинные французы, горячие и непосредственные, неспособные подчиняться самому хладнокровному диктатору, — они преклопались перед мадам Ролан.

Ее муж, будущий министр, давал аудиенции в присутствии жены, советовался с ней по любому вопросу. Мадам Ролан два раза в неделю устраивала обеды министрам и депутатам. На этих светских приемах под звон бокалов, под журчанье любезных комплиментов вырабатывалась политика партии.

Манон Ролан, женщина экзальтированная, выйдя замуж за пожилого умеренного чиновника, не нашла счастья в личной жизни и переключила свой бурный темперамент в сферу общественной деятельности. Будучи натурой поистине артистической, она никогда не раскаивалась, что променяла провинциальный театр семейной мелодрамы на столичную героическую трагедию: здесь были более увлекательные роли

и больше зрителей. Но в выборе своего амплуа она недолго колебалась и остановилась на роли Жанны д'Арк. Она быстро вжилась в образ и искренне считала, что именно ей суждено спасти Францию. Революция представлялась Манон Ролан ярким спектаклем, где фейерверк речей сменяется благонамеренным восстанием народных масс, потом победоносным шествием французских войск (солдаты красиво и элегантно умирают за Свободу и Отечество, дамы аплодируют и вытирают глаза платочками с кружевами), а заканчивается все пышным праздником во славу Равенства и Справедливости, котильоном, который танцуют остроумные, образованные люди и, конечно, народ, но причесанный, умытый, хорошо одетый, — словом, все в рамках приличия.

Но впоследствии, когда революция повернулась неожиданной для Манон Ролан стороной, когда на сцене появился истинный хозяин Франции — неотесанный, грубый санкюлот, с лицом, измазанным грязью и кровью, — Манон Ролан прокляла народ, отошла от революции, но не отошла от своей роли. На эшафот она поднялась в белом платье, с ниспадающими до пояса пышными волосами и торжественно произнесла: «О свобода, сколько преступлений совершено во имя твое!»

(Все они любили говорить красиво!)

Новые люди привлекали всеобщее внимание не только в Законодательном собрании. Не только речи интеллигентных адвокатов волновали общественное мнение. В хаотичном водовороте событий и страстей всплыли фигуры откровенных авантюристов. Таким, например, был Дюмурье, человек честолюбивый, умный, решительный, абсолютно беспринципный — этакий Мирабо со шпагой. Чтобы захватить власть, он обманывал всех. Он одновременно интриговал с ле-

выми и правыми. Он пришел в Якобинский клуб на поклон к Робеспьеру, предварительно облизав руку королевы. На какой-то момент ему действительно удалось обмануть всех — он стал министром и популярным генералом.

Однако мы уже убедились в том, что человек, который хочет обмануть революцию, обманывает в первую очередь самого себя. Дюмурье сначала предал жирондистов, потом предал короля, потом был предан королем, потом выиграл сражение при Вальми (положившее начало французским победам), потом пришел на помощь революционной Бельгии, потом предал Бельгию австрийцам, потом составил грандиозный контрреволюционный заговор. Когда заговор не удался, Дюмурье сбежал к эмигрантам, и его имя кануло в небытие.

Новые люди появились и в лагере левых. В Якобинском клубе все чаще раздавались обличительные речи Билло-Варена и Колло д'Эрбуа. Все громче звучал голос «Отца Дюшена», газеты, которую издавал бывший театральный служащий Эбер. Эбер завоевывал популярность не только лихими пассажами, посвященными семейству «добродетельного» Ролана. «Отец Дюшен» постепенно становился рупором парижской бедноты. Со страниц газеты раздавались наиболее решительные призывы. Жак Ру и Варле начинали агитацию в предместьях. Предместья, в свою очередь, выдвигали Шомета, Моморо, Анрио и других.

И наконец, на политическом горизонте возникла неуклюжая, квадратная фигура еще одного человека. Осыпаемый ударами реакционных газет и памфлетов, преследуемый судебными повестками, где надо, расталкивая плечами, где надо, пробираясь ползком, постепенно выходил на авансцену «величайший в исто-

рии (по словам Ф. Энгельса) мастер революционной тактики» Жорж Дантон. Вожак в клубе кордельеров, он и у якобинцев выступал более решительно, чем Робеспьер. В 1790 году его единственного изгнали из числа 96 членов Генерального Совета Коммуны, а уже в начале 1792 года он приобрел широкую известность под именем «Мирабо черни».

Но самым непреклонным лидером левых, их идеологом стал «Друг Народа» — Марат.

Врач по профессии, проведший всю жизнь в нищете, Марат ненавидел богатых. Эта ненависть не была плодом раздумий о судьбах человечества и поисков всеобщего равенства. Он знал что такое бедность по собственному опыту. Он знал, что никогда не будет мира между бедными и богатыми. Он был убежден, что революция сможет победить только тогда, когда будет установлена железная диктатура городских низов. То есть он предвидел финал революции.

Поэтому он весьма скептически относился ко всем собраниям, понимая, что они временны, и не упускал случая поиздеваться над самими депутатами, особенно над теми, кого провозглашали «народными кумирами», ибо знал, что в конце концов они все равно предадут и изменят.

Он постоянно призывал к расправе с аристократами. Известна его фраза: «Лучше сейчас уничтожить сто тысяч, чем потом погибнет миллион».

Он требовал диктатуры уже начиная с созыва Генеральных штатов. Он резко усиливал агитацию, когда ему казалось, что создаются подходящие условия. При всей своей фанатичности он был достаточно гибок, чтобы понять, что не так просто прийти к конечной цели и что существуют промежуточные стадии борьбы и тактические задачи. Однако у Марата не было своей партии, он не пользовался влиянием в со-

браниях, его ненавидели парламентские вожаки. Вероятно, он и сам сознавал, что бессмысленно даже пытаться лавировать между партиями и фракциями, добиваясь каких-то незначительных очередных побед. Поэтому в политике выбрал себе роль, которая наиболее соответствовала его убеждениям, темпераменту, способностям, — стал «народным прокурором».

Он постоянно разоблачал замыслы двора и аристократии. Он предвидел бегство короля. Он предвидел измену Дюмурье.

Марат любил народ и в то же время видел все его слабости. Да, конечно, только народ спасет Францию. Но, к сожалению, его еще долгое время будут водить за нос ловкие вожаки аристократов и буржуа. Значит, единственное, чем Марат пока может практически помочь революции, это срывать маски с карьеристов и демагогов.

Был лишь один человек, к которому Марат всегда относился с уважением, — Максимилиан Робеспьер. Но и у него Марат находил уязвимые места.

Они встретились и впервые откровенно поговорили только в начале 1792 года.

Робеспьер, обеспокоенный положением дел, начал резко выговаривать Марату.

Робеспьер сказал, что, по его мнению, Марат сам уничтожил громадное влияние, которое имела его газета на революцию, уничтожил тем, что стал «макать перо в кровь врагов свободы» и говорить о веревках и кинжалах; кровожадными призывами Марат компрометирует якобинцев и помогает двору и деспоту справиться с народом.

Не в привычках Марата было выслушивать нотации, да еще в таком тоне. Марат взорвался:

— Знайте, что всякий раз, когда из Собрания выходил покушавшийся на свободу декрет, и всякий

раз, когда общественное должностное лицо позволяло себе сделать покушение на слабых и обездоленных, я спешил поднять народ против этих недостойных законодателей... Знайте, что если бы после бойни на Марсовом поле я нашел две тысячи человек, одушевленных теми же чувствами, которые разрывали мою грудь, я пошел бы во главе их с кинжалом, чтобы заколоть генерала посреди его батальонов-разбойников, чтобы сжечь деспота в его дворце и наделать чучел из наших жестоких представителей.

Вспоминая эту встречу, Марат писал: «Робеспьер слушал меня с ужасом; он побледнел и некоторое время молчал. Это свидание утвердило меня в том мнении, которое я всегда имел о нем, именно, что с просвещенным умом мудрого законодателя в нем сочетались цельность действительно благонамеренного человека и ревность истинного патриота, но что ему одинаково недостает ни дальновидности, ни отваги государственного человека».

Глава VIII

Против течения

Наступательная война созидала первых королей, а оборонительная — первые республики.

Вольтер

В последний день работы Учредительного собрания огромная толпа, собравшаяся у входа, приветствовала двух депутатов, — их подняли на руки и торжественно понесли по улице. Этими депутатами были Петион и Робеспьер. Очевидцы отмечали, что Петион прини-

мал почести, как должное, а Робеспьер выглядел очень усталым.

...Даже самые смелые мечты Робеспьера не заносились так высоко. Вот она, достойная награда за стойкость, за верность народу. Он стал одним из самых популярных людей Франции. Он признанный лидер Якобинского клуба. Он избран общественным обвинителем Парижа.

Но Робеспьер стремительно уезжает из столицы.

По дороге ему оказывают всевозможные почести, в его честь устраивают банкеты. Весь Аррас выходит на улицы, чтобы встретить своего прославленного гражданина.

Робеспьер бежит от славы. Он скрывается в деревне и остается в одиночестве.

Первым делом надо забыть весь этот шум. Нельзя всерьез принимать изъявления восторгов и любви. Он прошел школу Ассамблеи. Он видел, что происходило с людьми, которые позволили убедить себя, будто они являются народными кумирами. Они быстро теряли чувство реальности. Они привыкли считать себя непогрешимыми и с важным видом вещали глупости, не слыша свиста и протестов. В их ушах стоял еще былой грохот аплодисментов и приветственных криков.

Куда повернет революция? Каким будет ее следующий шаг? Этого Робеспьер не знает, но он уверен, что революция не остановилась. Крестьяне недовольны половинчатой аграрной реформой. Куцее избирательное право никого не устраивает. Неприсягнувшие священники ведут открытую контрреволюционную пропаганду и изображают из себя мучеников. И потом, так ли убедительна победа, одержанная конституционалистами на Марсовом поле?

94 Что за люди пришли в Законодательное собрание? В отличие от своих бывших коллег, Робеспьер не

склонен смотреть свысока на нынешних депутатов. Он помнит, как знаменитые парламентарии два года назад презрительно косились на него самого.

Теперь положение изменилось. Робеспьер — фигура открытая. Его мысли и речи широко известны и они будут как бы лестницей для новых людей. Лестницей, но куда?

Пусть эти люди выскажутся. Пусть ты поймешь их намерения, оценишь их. И забудь, слышишь? Забудь, что тебя провозгласили тем-то и тем-то. Ты должен стать таким, каким был в первые месяцы Ассамблеи: внимательным и осторожным, готовым к любым неожиданностям.

Робеспьера нет. Робеспьер ушел в тень. Все уверены, что он отдыхает, но от самого себя никуда не убежишь. Длинными, тоскливыми деревенскими вечерами Робеспьер анализирует прошедшие два года и как бы со стороны оценивает свои речи, свои поступки. Да, все было верно, он ни в чем не раскаивается, хотя... надо ли было после 17 июля предлагать союз клубу Фельянов, просить его об объединении? Конституционалисты безвозвратно отошли вправо, воссоединение — безнадежная попытка. Это была ошибка. Нет, он правильно сделал, что сразу уехал из Парижа, пожалуй, этим он избежал еще нескольких неверных шагов. Теперь, на свежую голову, все можно обдумать и взвесить.

Жадно и нетерпеливо он просматривает почту. Бывают моменты, когда ему хочется сорваться с места и умчаться в столицу, но нет, еще не время.

Наконец он чувствует — пора!

28 ноября дилижанс везет его по знакомым улицам.

В доме Дюпле Робеспьера ждет записка от Петитона. Он читает ее с усмешкой. Нет, видно, Париж не

забыл Робеспьера, раз мэр города в первый же день приглашает его к себе на обед.

Петион как и прежде мил и добродушен. После десерта они еще долго сидят за столом и ведут беседу в несколько шутливом тоне. Собственно, говорит больше Петион, а Робеспьер изредка вставляет слово. Ему сейчас лучше помолчать, важна информация из первых уст. Петион это понимает и добросовестно старается ввести друга в курс дела.

* *
*

Его появление в Якобинском клубе встречено криками и овациями. Председатель Колло д'Эрбуа прерывает заседание, он просит Робеспьера занять председательское кресло и тут же добавляет: «Хорошим полководцам надо осматривать посты».

При слове «полководец» Робеспьер поморщился. Видно, прав Петион. Все, как сумасшедшие, только и говорят о войне. Признаться, Робеспьер готовился к неожиданностям, но все-таки не мог предположить, что за время его отсутствия произойдет такой крутой поворот.

На следующий день в Собрании Изнар произносит речь, которая звонким эхом разносится по всей стране.

— Путь к оружию — единственный, который еще остается вам против мятежников, не желающих вернуться к долгу. В самом деле, всякая мысль о капитуляции была бы преступным оскорблением родины... Скажем Европе, что французский народ, раз обнажив меч, забросит ножны и пойдет за ними, лишь увенчавшись победными лаврами, и что если он, несмотря на свое могущество и мужество, падет, защищая свободу, то враги его будут царствовать лишь над трупа-



ми... Скажем Европе, что, если кабинеты вовлекут государей в войну против народов, мы вовлечем народы в войну против государей.

На улицах патриотические манифестации. Газеты призывают объявить победоносную войну защитникам эмигрантов. В Собрании неистовствуют ораторы.

Кажется, никогда еще страна не была так единодушна: политики всех направлений спешат высказаться, спешат возглавить это движение. Молчит только один человек — Робеспьер.

Робеспьер изучал историю, он знает, что такое войны. Жизнь в военных лагерях нисколько не способствует демократическому воспитанию граждан. Конечно, они остаются патриотами, они еще больше любят родину, но для них родину символизирует победоносный военачальник. И тогда... За примером недалеко ходить. Чем кончилась революция в Англии? Военной диктатурой. Неужели и Францию ждет такая же судьба? Кому выгодна война? Если она будет успешна, то укрепит власть короля, так уж положено, что король принимает лавры победителя. А если во Францию вторгнутся интервенты? За их колоннами придут мятежники-эмигранты.

Но, может, Робеспьер ошибается — вся страна хочет войны, один лишь он против? К чему это приведет, если он выступит? Сможет ли он убедить хотя бы Якобинский клуб? Не отвернутся ли от него те люди, которые шли за ним? Сколько раз Робеспьер был свидетелем того, как один неверный шаг политика сразу зачеркивал его биографию, и потом уже никакие усилия не могли вернуть утраченный престиж.

16 декабря 1791 года в Якобинском клубе выступил Бриссо.

— Исполнительная власть объявит войну: она исполняет свой долг, и вы должны поддержать ее, когда она исполняет свой долг. Она безостановочно кричит нам: единение, единение! Ну хорошо, пусть она будет патриотична, и тогда якобинцы станут сторонниками министерства и роялистами.

Бриссо знал что говорить. Все понимали: единство как никогда необходимо стране. Якобинцы бурно аплодировали оратору.

18 декабря в клуб пришла патриотическая делегация англичан. Она принесла знамена с надписями на обоих языках: «Жить свободными или умереть!». Все присутствующие громко скандировали: «Жить свободными или умереть!»

На трибуне появился Изнар. Он поднял меч:

— Вот он! Вот он! Французский народ кликнет зычным голосом, и все народы ответят на этот клич; земля покроется борцами, и все враги свободы будут вычеркнуты из списка людей!

Робеспьер просит слова.

Осторожность подсказывает, что надо прислушаться к общественному мнению. Если он пойдет против течения — его сомнут. Нация хочет войны — он должен стать рупором нации. Да и невозможно спорить с новыми ораторами. Раньше в Ассамблее противники Робеспьера, прикрываясь высокими словами, весьма недвусмысленно отстаивали интересы короля и богачей. Их было сравнительно легко разоблачать. Новые же люди, по-видимому, вполне искренне заботятся о благе народа, о победе революции. Им верят.

Но Робеспьер не может поступиться своей совестью. Он убежден в своей правоте. Вероятно, Провидение избрало его единственным человеком, который обязан раскрыть народу глаза.

— И двор, и министерство, и их сторонники кричат: война! Война! — повторяют множество добрых граждан, движимых благородным чувством... Кто осмелится противоречить этому внушительному кличу?! Я не намерен ни подлаживаться к общественному мнению дня, ни льстить господствующей силе. Я тоже хочу войны, но такой, какой требуют интересы нации: укротим сперва наших внутренних врагов, а потом двинемся против врагов внешних.

Он начал спокойно. Он понимал, что сразу нельзя остановить разбушевавшееся море энтузиазма. Но теперь аудитория была в его руках, и он продолжал:

— Предлагают войну французской революции с ее врагами. А где опаснейшие враги? В Кобленце? Нет, посреди Франции, в центре Парижа, вокруг трона, на самом троне!

Он говорил о последствиях многих войн: общественный организм корчится в судорогах. Жива только грубая сила, а мысль умерла. Всюду военный устав, произвол; городская полиция вверена военным; окрики часовых; свобода признана общественной опасностью, а дисциплина — это самоотречение человека — высшей надобностью и высшей добродетелью. Стоны угнетенных заглушаются трубными звуками. Тирания задрапировывается знаменами, этими премиями за храбрость, и в таком облачении даже кажется красивою. Знаете ли вы какой-нибудь народ, который завоевал себе свободу, ведя одновременно внешнюю, домашнюю и религиозную войну, навязанную ему деспотизмом?!

Самая странная идея, которая может зародиться в голове политика, — это уверенность в том, что народу достаточно проникнуть с оружием в руках к соседнему народу, чтобы заставить его принять свои законы и свое государственное устройство. Никто не

любит вооруженных миссионеров, и первый совет, который дают природа и благоразумие, — выгнать их, как врагов.

И Робеспьер делает вывод: объявлять войну в настоящее время не следует.

Пожалуй, еще ни одна его речь не была выслушана с таким вниманием.

Но Робеспьер знал, что посеял ветер. И буря разразилась. На него тут же обрушилась вся правая печать. Жирондисты кричали, что Робеспьер оскорбил народ. Через день в самом Якобинском клубе на Робеспьера напал Бриссо.

11 января 1792 года Робеспьер опять на трибуне. Это его лучшая речь. (Все историки, даже самые реакционные, — те, которые не упускают случая наградить Робеспьера эпитетами: кровавый, коварный, завистливый, злодей и т. д., — на этот раз единодушны. Все хором отмечают, что каждая речь Робеспьера о войне была лучшей и производила на слушателей необыкновенное впечатление.)

Да, он тоже за войну, да, он призывает «людей 14 июля» завоевать свободу, которая должна освободить вселенную, да, он призывает защищать города страны, да, он призывает весь народ подняться на защиту революции. На такую войну он согласен. Но эту войну должны вести сами революционеры. А что же происходит на самом деле?

— Вот господин Бриссо говорит, что все это дело должен возглавить граф Нарбонн, что поход надо совершать под началом маркиза Лафайета, что вести нацию к победе и свободе подобает исполнительной власти. О французы, одно слово разбило все мое очарование, уничтожило все мои планы! Прощай, свобода народов! Если все скипетры германских государей будут сломаны, то уже, конечно, не такими руками...

— Все, что мы можем сделать наиболее благородного, — это защищать Родину от вероломства внутренних врагов, которые убаюкивают вас сладкими иллюзиями.

И опять Якобинский клуб идет за Робеспьером. Бриссо, присутствовавший в зале, умоляет «господина Робеспьера кончить столь скандальную борьбу, которая выгодна только для врагов общественного блага!»

Магическое слово «единство». Под ликующие стоны зала Робеспьер и Бриссо обнимаются.

Робеспьер не отказывается от своих убеждений, но протягивает жирондистам руку дружбы.

Однако ни пророческие речи, ни мудрая дипломатия не могли остановить нацию, подстрекаемую к войне опытными и пылкими агитаторами. Очень уж велик был соблазн разрубить узел внутренних и внешних противоречий одним ударом. Война дворцам! — лозунг, бьющий наверняка. Жирондисты знали, что делали.

В погоне за популярностью Бриссо ввел моду на красный колпак. Красный колпак — вот символ патриота! Кто не носит красный колпак, тот враг революции.

Колпаки распространились по Франции молниеносно, и это понятно. Даже враги считали, что гораздо легче прослыть революционером, надев его на голову, чем произносить патриотические фразы.

Однажды на заседании клуба какой-то не в меру ревностный якобинец подскочил к Робеспьеру и натянул ему на голову красный колпак. Робеспьер сорвал его, швырнул под ноги и продолжал речь.

Примеру Робеспьера последовал Марат. Петитон написал в клуб письмо, в котором указывал, что роялисты начали шить зеленые колпаки: таким образом

принципиальная идейная борьба может выродиться в войну фетишей.

Благодаря Робеспьеру и Петтиону красные колпаки скоро вышли из моды.

Война с Австрией и Пруссией началась 20 апреля 1792 года.

Как и следовало ожидать, Франция была абсолютно не готова к войне, генералы-роялисты терпели одно поражение за другим. При виде противника войска обращались в бегство.

Тревога и уныние охватили страну. Жирондисты заматались: их усилия были направлены не на то, чтобы выправить положение, а на то, чтобы срочно найти виновников. Как обычно бывает, виновников нашли не в правительстве, а среди тех, кто критиковал правительство. Вождем оппозиции считался Робеспьер. За него и взялись.

В чем только не обвиняли Робеспьера: в том, что он сумасшедший, что он продался двору, что он оставил пост общественного обвинителя при уголовном суде (так сказать, манкировал своими обязанностями).

Определеннее и резче всех выразился Гаде.

— Я разоблачаю в нем человека, который беспрестанно ставит свою гордость выше общественного дела, человека, который беспрепятственно говорит о патриотизме, а сам покидает вверенный ему пост. Я разоблачаю в нем человека, который из честолюбия или по несчастью стал кумиром народа. Я разоблачаю в нем человека, который из любви к свободе своего отечества, может быть, должен был бы сам подвергнуть себя остракизму, потому что устранить от идолопоклонства со стороны народа значит оказать ему услугу.

Робеспьер отвечал:

— Пусть будет обеспечена свобода, пусть утвердится царство равенства, пусть исчезнут все интриганы, тогда вы увидите, с какой поспешностью я покину эту трибуну...

Отечество свое можно покинуть, когда оно счастливо и торжествует; когда же оно истерзано, угнетено, его не покидают: его спасают или же умирают.

И тут, может быть впервые, в едином строю выступили будущие соратники Робеспьера. Нельзя сказать, что они это сделали из чистой любви к нему, но они понимали, что в данном случае отстоять Робеспьера — значит отстоять свободу и демократию. Марат и Демулен пошли в контратаку. В своих газетах они разоблачали происки Гаде, Бриссо и других лидеров жирондистов.

На трибуну Якобинского клуба поднялся Жорж Дантон:

— Господин Робеспьер всегда проявлял здесь только деспотизм разума. Значит, противников его возбуждает против него не любовь к отечеству, а низкая зависть и все вреднейшие страсти... Быть может, наступит время — и оно уже недалеко, — когда придется метать громы в тех, кто уже три месяца нападает на освященного всею революцией добродетельного человека, которого прежние враги называли упрямым и честолюбцем, но никогда не осыпали такими клеветами, как враги нынешние.

Эбер в «Отце Дюшене» писал: «Лица, так громко твякующие на Робеспьера, очень похожи на ламетов и барнавов в ту пору, когда этот защитник народа срывал с них маски. Они называли его тогда бунтарем, республиканцем. Так же называют его и теперь, потому что он вскрывает всю подноготную».

Не удалось сделать Робеспьера виновником всех бед.

Тем временем с фронта шли плохие вести. Жирондисты теряли поддержку народа. 13 июня король дал отставку министерству Ролана.

Лишившись министерских кресел, жирондисты изменили тактику и начали бурный «роман» с парижским санкюлотом. 20 июня огромная толпа прошла перед Собранием и ворвалась в Тюильрийский дворец. Но эта манифестация не столько напугала, сколько обозлила короля. Из армии спешно прибыл маркиз Лафайет. Он хотел разогнать Якобинский клуб и организовать контрреволюционный переворот.

Положение казалось безвыходным. Теснимая внешними врагами, с отступающими армиями, которые возглавляли генералы-предатели, с правительством, жаждущим поражения, раздираемая внутренними противоречиями, Франция стояла на краю гибели.

И тогда раздался клич Робеспьера:

— В таких критических обстоятельствах обычных средств недостаточно. Французы, спасайте сами себя!

Мнение историков:

Луи Блан: «К тому же популярность его не переставала возрастать; и жирондисты, которые в это время господствовали над всем: над Собранием, тронem, коммунoй, печатью, клубами; жирондисты, для которых народное представительство было орудием, министры и парижский мэр являлись союзниками, множество влиятельных газет органами, причем вожаками партии состояло столько отборных умов,— жирондисты изумлялись и раздражались этим противовесом их власти, противовесом, которым оказывался всего один человек, всего одно имя».

Глава IX

Хроника революции

После 10 августа к республиканской партии примкнул самый популярный человек Франции Максимилиан Робеспьер.

Олар

События 20 июня не привели ни к каким практическим результатам. Кроме одного: французы убедились, что во Франции нет больше короны. Убедил их... сам король. Он надел красный колпак и стал громко кричать о своей преданности конституции.

При этом редкостном зрелище присутствовало два человека, которым судьба французской короны была, как выяснилось впоследствии, не так уж безразлична.

В кустах дворцового сада прятался человек в длинном сюртуке, в широкополой шляпе, скрывающей лицо. То был неудачливый кандидат в диктаторы, «сильная личность», генерал, который мог бы спасти трон, — Дюмурье. Но добрый Людовик XVI недавно дал ему отставку, и теперь Дюмурье скептически наблюдал за тем, как король примерял новый головной убор. Губы Дюмурье презрительно кривились, руки были скрещены на груди; в общем, он стоял в позе, которую бы мы сейчас назвали «наполеоновской».

Вдруг кто-то сзади него громко произнес:

— Негодяи! Следовало бы расстрелять первых пятьсот человек картечью: тогда остальные живо бы обратились в бегство.

Дюмурье обернулся и увидел невзрачного артиллерийского офицера с бледным нервным лицом.

— Еще один дурак, — подумал Дюмурье. — Какая к черту картечь, когда даже я не могу ничего сделать!

А между тем около Дюмурье стоял будущий французский император.

Историки-бонапартисты, для которых Наполеон и поныне является идеалом политического деятеля, обычно забывают эти слова. А зря! В них Наполеон четко определил свое отношение к народу.

Но сам Наполеон ничего не забывал. Через семь лет, перед переворотом 18 брюмера, Наполеон перенесет заседание палат в маленький городок Сен-Клу, подальше от грозных предместий. Видимо, картина огненного революционного Парижа навсегда осталась в его памяти.

Итак, во Франции нет короны, но есть монархия.

Как же ведут себя люди, вызвавшие движение 20 июня?

Противоречивы и запутаны их действия.

3 июля Вернио выступает в Собрании с блестящей речью, окончательно уничтожившей короля в общественном мнении. Но что Вернио предлагает? Да ничего радикального.

Потом следует знаменитый «Ламуэртов поцелуй», когда неожиданно депутаты Собрания судорожно бросаются в объятия друг к другу, клянутся в верности конституции и исполнительной власти.

Жирондисты созывают федератов со всех концов Франции. Но когда, повинувшись их зову, вооруженные батальоны прибывают в столицу, жирондисты не знают, как от них отделаться.

Что же якобинцы?

В вопросах тактики они дальновиднее и последовательнее. К отрядам федератов сразу приходят посланцы клуба (таким образом, у якобинцев свои

войска). От имени федератов Робеспьер составляет адрес и посылает его Собранию. Робеспьер требует приостановить действие исполнительной власти в лице короля, возбудить обвинение против Лафайета, сместить и подвергнуть наказанию департаментские управления.

Ну хорошо, «приостановят действие исполнительной власти в лице короля». А дальше? Почему ни словом не упоминается о республике?

Видимо, Робеспьер все еще оставался на прежних позициях и боялся, что установление республики передаст власть Законодательному собранию, которое находилось в руках жирондистов, или приведет к диктатуре Лафайета. То есть один деспотизм сменится другим. Авторитет Робеспьера был так велик, что со страниц левой печати исчезает слово «республика». Камилл Демулен, первый республиканец Франции, тоже начинает поддерживать «демократическую монархию».

Но народ думал иначе.

22 июля на всех городских площадях при пушечных выстрелах и барабанном бое был торжественно объявлен декрет Собрания: «Граждане, Отечество в опасности!»

Повсюду появились наспех сколоченные палатки, крытые дубовыми листьями. По бокам — воткнутые в землю пики с красными колпаками. Шла запись добровольцев 1792 года.

Невиданный энтузиазм охватил всю страну. В армию записывались целыми семьями. Впоследствии именно эти добровольцы стали основой победоносных полков французской революции. Среди десятков тысяч безвестных имен мы встречаем будущих генералов Гоша и Марсо, будущих маршалов Массена, Ожеро, Мюрата.

Какой же лозунг объединил Францию? — Долой короля? Да здравствует республика? Долой изменников жирондистов? Да здравствует Якобинский клуб? Всеобщее избирательное право? Новые радикальные реформы?

Нет, то был другой призыв. Словно рожденные одним дыханием миллионов, над всей страной зазвучали слова:

— Вперед, сыны Отечества, день нашей славы наступил!

Робкий, мечтательный офицер Руже де Лиль сочинил гимн Рейнской армии. В интимной обстановке, на семейной вечеринке у мэра города Страсбурга была впервые исполнена эта песня. Спел ее мэр барон Дитрих, обладавший приятным голосом. Руже де Лиль аккомпанировал ему на клавишине.

Любопытно, что сам автор не был революционером. Впоследствии, после прихода якобинцев к власти, Руже де Лиль подал в отставку и вскоре попал в тюрьму за антиправительственные высказывания. Гимн Рейнской армии был напечатан одним издательством, но известности не получил. Да и сам автор почти забыл про него. Ведь он писал для победоносной французской армии. А армия терпела поражения на всех фронтах.

Через два месяца в городской ратуше Марселя был устроен патриотический обед в честь федератов. Неожиданно встал один из федератов и прошел песню, неизвестно как попавшую к нему. Федераты подхватили ее и исполнили несколько раз подряд. Народ на площади начал им подпевать. На следующий день ее пел весь Марсель.

Отряд марсельцев отправился в далекий путь. Песня опережала марсельцев. Жители встречали

отряд этим маршем. Париж завершил торжество «Марсельезы».

«Марсельеза» стала гимном революции не тогда, когда готовилась наступательная война, а в момент наивысшей опасности, когда надо было спасти Францию.

В Париже, на улице Сент-Антуан, в кабачке «Золотое солнце» несколько человек из Якобинского клуба составляли план вооруженного восстания. Среди них мы видим Сантера, Лаусского, Вестермана, Шабо — все второстепенные имена.

Дантон вел агитацию в секциях. Под его влиянием 20 июля секция Французского театра решила предоставить всем гражданам избирательное право.

Робеспьер выступил в Якобинском клубе. Он сказал, что нельзя ограничиваться низложением короля. Основная причина наших бедствий коренится как в исполнительной власти, так и в Законодательном собрании. Исполнительная власть стремится погубить государство, Законодательное собрание не может или не хочет спасти его. Робеспьер предложил всеобщим голосованием избрать национальный Конвент для выработки новой конституции.

Но чем громче звучали голоса на улицах, тем тише были речи в Собрании. История повторяется: перед лицом государственного переворота могущественная партия пытается договориться с правительством. Бриссо и Кондорсе забыли свои республиканские призывы. Цель их весьма скромная: на огромном огне, охватившем всю страну, они хотят испечь свой министерский пирог.

Последняя попытка жирондистов найти контакт с королем! Но король последователен: после недолгих колебаний он делает решительный шаг к собственной гибели. Через своих агентов Людовик XVI

просит главнокомандующего прусскими войсками герцога Брауншвейгского выпустить манифест, обращенный к французам, дабы устроить «смутьянов».

Манифест был составлен эмигрантами. Герцог Брауншвейгский (как говорят, человек либеральный и даже втайне сочувствующий революции), вздыхая, подписал его. (Классический образец того, как враги революции одним росчерком пера смогли окончательно восстановить против себя всю страну.)

Вот как отзывался о манифесте Марат:

«Их наглый вождь, действуя под диктовку тюльрийской шайки, потребовал от имени своих господ, чтобы мы отдались на милость нашего прежнего тирана и вернулись к старым цепям. Он уже угрожает жестокостью тем, кто будет мужественно отстаивать свою свободу».

Вопрос о вооруженном восстании был решен.

И тогда закончилась карьера еще одного революционера, бывшего народного кумира, мэра города Парижа — Петюна. Единственный из жирондистов, он перешел на сторону короля, хотя практически ничем не мог ему помочь. (Видимо, таково влияние власти — получив ее, человек не может легко с ней расстаться. Должность парижского мэра вполне устраивала Петюна, а отдавать город в руки мятежа, который еще неизвестно чем кончится, — дело рискованное. Психологически понятно и намерение Петюна держаться в рамках закона, то есть в данном случае принять сторону монархии.)

Ранним утром 10 августа в городской ратуше собрались комиссары, выбранные от парижских секций. Немногочисленные чиновники прежнего муниципалитета тихо удалились. Так была организована Парижская Коммуна, которая встала во главе восстания.

Коммуна назначила Сантера начальником Национальной гвардии.

В ночь на 10 августа Коммуной руководили видные комиссары секций: Робер, Россиноль, Эбер, Билло-Варен. Робеспьер и Марат были избраны в Генеральный Совет Коммуны позднее. После того, как народ победил.

В штурме Тюильри принимало участие много наших старых знакомых, включая даже Теруань де Мирекур. Но ни Дантона, ни Марата, ни Демулена, ни Робеспьера не было среди осаждавших.

Подробности штурма королевского дворца хорошо известны. Напомним, что это было настоящее кровопролитное сражение, с большим количеством жертв.

Подчеркнем лишь одну деталь: Людовик XVI, то есть тот человек, ради которого умирали швейцарцы и роялисты, защитники дворца, еще перед началом штурма спрятался со своей семьей в Законодательном собрании.

Представим себе на минуту следующую картину: в Тюильри льется кровь, от ружейных залпов звенят стекла в Собрании, депутаты в волнении — ведь никто не знает исхода. Один только человек спокойно сидит в ложе — это Людовик XVI. (Когда не надо принимать никаких решений — он вообще очень спокоен.) Король, пожалуй, единственный, кто понимает, что это конец. О чем он думает? Вспоминает свою прежнюю жизнь? Или жалеет себя? Дескать, бедный я, неудачный король. У каждого из моих предков было свое честолюбие, все хотели быть первыми. Один стал самым умным, другой — самым храбрым, третий — самым коварным. Увы, мне далеко до лавров Генриха IV или Людовика XIV. Чем же я прославлюсь? Вероятно, мне остается быть са-

мым глупым королем из самых наиглупейших. Что бы такое придумать, чтобы переплюнуть всех глупых королей, чтобы за мной сохранилось абсолютное первенство!

— Эй, подать сюда персик!

И король начинает меланхолично его обсасывать, понимая, что теперь уж он наверняка войдет в историю.

* *
*

Итак, Людовик Шестнадцатый сидит в тюрьме Тампль, а Жорж Дантон — в Совете Министров.

Во Франции практически три правительства: Законодательное собрание, Парижская Коммуна, министры во главе с Дантоном.

Взаимоотношения между этими тремя органами власти настолько сложные, положение на фронтах столь тяжелое, угроза контрреволюционного переворота так реальна, что у простых граждан буквально голова идет кругом. Они заняты проблемами сегодняшнего дня, и им некогда подумать о том, что будет завтра.

Сапожник Жан Валера прибегает домой обедать. Торопливо хлебая суп, он сообщает жене последние новости: «Вернио выступал в Собрании, Билло-Варен — в Якобинском клубе, Марат — в Коммуне — все говорили абсолютно разное. Пруссаки осадили Лонгви».

— Да поешь ты спокойно, — уговаривает жена.

Вдруг ложка застревает во рту Жана Валера. С минуту он сидит неподвижно, уставившись на жену бессмысленными глазами, потом выплевывает ложку и убегает из дома. Останавливается посреди мостовой, поднимает руки и кричит:

— Граждане! Объясните мне, в какой стране мы живем? Какая у нас форма правления? Монархия? Консульство? Республика?

Граждане стыдливо прячут глаза и обходят Жана Валера стороной.

Никто ничего не знает.

Известно только, что во Франции три правительства.

Энергичнее всех действует Парижская Коммуна. Коммуна закрывает заставы и отменяет заграничные паспорта. Коммуна посылает к границам федератов. Коммуна производит многочисленные аресты всех известных сторонников короля. По приказанию Коммуны из бронзовых статуй и колоколов отливают пушки. По настоянию Коммуны учрежден чрезвычайный трибунал.

Но как реагируют жирондисты на деятельность Коммуны?

Законодательное собрание, ведомое жирондистами, все свое внимание посвящает борьбе не столько с врагом (пруссаками), сколько со своим союзником (Коммуной). Собрание всячески старается дискредитировать действия Коммуны.

Дантон делает все возможное, чтобы сохранить единство. Это ему удается, но ненадолго.

Собрание постановляет распустить Парижскую Коммуну и назначает новые выборы.

Однако последующие события срывают планы Жиронды.

19 августа прусская армия переходит французскую границу. 22 августа капитулирует хорошо укрепленная крепость Лонгви. В ночь на 1 сентября пруссаки осаждают последнюю крепость на пути к Парижу — Верден. Враг в нескольких переходах от столицы.

Законодательное собрание в панике. Раздаются голоса, требующие оставить Париж и переехать на юг. Но на трибуну поднимается Дантон. Громовым голосом (по единодушному утверждению историков, Дантон говорил только так) он заявляет:

— Все волнуются, все спешат, все горят желанием сразиться с врагом. Часть народа поспешит к границе, другая будет возводить окопы, третья, вооружившись пиками, будет поддерживать порядок в городе. Париж присоединится к общему движению и поддержит его. Мы требуем, чтобы вы помогли нам руководить этим доблестным движением народа и чтобы тот, кто откажется служить в войске или отдать свое оружие, был казнен. Когда ударят в набат — звон набата уже раздастся, — это не будет сигналом тревоги: это будет призыв к борьбе с врагами Отечества. Чтобы победить их, нужна смелость и смелость — тогда Франция будет спасена!

Не менее решительно выступает Верньо, который обещает, что французы выкопают могилы своим врагам.

Смелые речи вдохновляют не только волонтеров, идущих на фронт. Уверенней действует Парижская Коммуна. По ее распоряжению в городе проводят обыски, конфискуют оружие, арестовывают подозрительных и всех неприсягнувших священников.

Париж в первые дни сентября. Непрерывный звон набата заглушает барабанный бой, крики и плач женщин. По улицам маршируют добровольцы. Патриоты (снова в моде красный колпак) провожают долгим взглядом расфранченных гуляк.

Повсюду разговоры об огромном Вандейском заговоре, о русской эскадре, которая будто бы прошла Дарданеллы. После измены Лафайета армия кажется ненадежной. Многие убеждены, что пруссаки через

несколько дней захватят Париж и устроят кровавую бойню. Все парижане, способные носить оружие, выступят навстречу врагу. Но кто останется в городе? Контрреволюционеры.

Ползут зловещие слухи: пока патриоты будут сражаться с пруссаками, роялисты выйдут из подполья, освободят заключенных и перережут наших жен и детей.

И тогда стихийно родился призыв: «Поспешим в тюрьмы!»

Так начались сентябрьские убийства.

Народ врвался в тюрьмы и убивал. Сначала без суда, потом возникли импровизированные суды. Первым судьей был герой 14 июля и октябрьских дней 1789 года Майяр. Суд был скорый. Тут же саблями зарубались неприсягнувшие священники, ярые роялисты, фальшивомонетчики. Тех, за кем не было вины, Майяр освобождал. Он говорил: «Мы собрались сюда не для того, чтобы судить за убеждения, а для того, чтобы судить за проступки». Каждого заключенного, признанного невиновным, толпа встречала радостными криками. Но невиновных насчитали всего несколько десятков.

Ни Собрание, ни Коммуна не делали сколько-нибудь решительной попытки прекратить народный террор, хотя и посылали своих комиссаров в аббатства и тюрьмы. Но комиссары действовали очень робко, да и вряд ли было возможно остановить стихию.

Впоследствии ответственность за сентябрьские убийства жирондисты свалили на Дантона, Марата и Робеспьера. Правда, узнав про события в тюрьмах, Дантон сказал: «В настоящее время только крайние меры могут принести пользу, все остальное будет бесполезно». Правда, Робеспьер в те дни словно набрал в рот воды. Правда, Марат на заседаниях Ком-

муны открыто одобрял действия народа. Но правда и то, что жирондисты, официально стоявшие у власти, не произнесли ни слова. Осуждать сентябрьские убийства они начали впоследствии, когда этого потребовали интересы партийной борьбы, когда появилась возможность свалить вину на монтаньяров.

Между тем пал Верден, и восьмидесятитысячная армия пруссаков ускоренным маршем шла на Париж. Ей противостояла двадцатичетырехтысячная армия Дюмуре. Путем хитроумных и ловких маневров Дюмуре избегал решительного сражения, но не давал герцогу Брауншвейгскому спокойно продвигаться вперед. Наконец армии встретились при местечке Вальми, но тут начались непрерывные проливные дожди.

Пруссаки были уверены, что они легко разобьют «армию адвокатов», и не очень торопились. Кадровые воины, обученные по всем правилам военного искусства, они хотели воевать при хорошей погоде.

Тем временем к Дюмуре подошли армии Бернонвиля и Келлермана. Таким образом, численность французских войск достигла 53 тысяч человек.

К ночи 18 сентября дождь прекратился. Герцог Брауншвейгский лег спать в отличном настроении. Завтра французы увидят стройные колонны прусских армий и тут же разбегутся. С начала кампании так оно и происходило. А герцог Брауншвейгский верил в традицию.

Утром 19 сентября, впервые за несколько дней, рассеялся туман. Герцог Брауншвейгский удивленно протер глаза: перед ним стояли спешенные шеренги армий Дюмуре и Келлермана! Французская артиллерия, выдвинутая на передовые позиции, открыла убийственный огонь. Когда же прусские полки пошли в атаку, французы подняли штыки и зацели

«Карманьолу». Могучий крик «Да здравствует Франция!» заглушил залпы орудий.

С таким противником пруссакам еще не пришлось встречаться. Они остановились в нерешительности, а потом отступили.

Самого сражения при Вальми (в строгом смысле этого слова) не было. Но это была первая победа революционных французских войск, и последствия сказались очень скоро. Пруссаки не осмелились продвигаться в глубь Франции. Потом опять начались дожди. Прусскую армию охватила эпидемия дизентерии.

Вскоре герцог Брауншвейгский, преследуемый армией Дюмурье, пересек в обратном направлении французскую границу.

21 сентября 1792 года в Париже собрался Национальный Конвент. Заявив, что никакая реформа не действительна без плебисцита, Конвент, не посоветовавшись с народом, сразу же установил диктатуру: он упразднил королевскую власть. Юридически этого нельзя было делать. Но Конвенту было не до формальностей.

По предложению Дантона была тут же провозглашена неприкосновенность частной собственности. Ведь во Франции большинство состояло из собственников, и этим декретом Дантон восстановил единство в стране. За революционным Конвентом пошли департаменты, которые были напуганы событиями в Париже.

Итак, 21 сентября Конвент уничтожил королевскую власть. Но слово «республика» еще не было произнесено. По замечанию Робеспьера, «она тайно прокралась».

Только 25 сентября Конвент провозгласил республику единой и неделимой. Из этого французы сделали вывод, что республика существует.

Глава X

Жирондисты идут в атаку

Он был самый убежденный человек во всей революции; вот почему он долго был ее безвестным слугой, потом любимцем, потом тираном, потом жертвой.

А. Ламаргин

— **В**еришь ли ты в бога, Робеспьер?

— Нет! В бога священников, созданного по образу человека, да еще худшего из людей? Бога злого и мстительного, неумолимого, карающего за однодневные провинности вечной агонией? Этот бог придуман софистами гнета, ханжами и богословами!

Но что тогда остается народу, обездоленному, страдающему от невежества и нищеты?! Народ можно спасти вмешательством действительной и справедливой власти.

Руссо писал: «Вечна или сотворена материя, существует или не существует пассивный принцип, все равно несомненно, что цель едина и указывает на единый ум; ибо я не вижу ничего, что не было бы предназначено одной и той же системой и не содействовало одной и той же цели, именно сохранению целого в установленном порядке. Это существо, которое хочет и может, это само по себе деятельное существо, это существо, наконец, которое движет Вселенною и все предназначивает, я называю Богом!»

Все больше он убеждается в справедливости своего великого учителя. Определенно есть Провидение, какой-то Высший Разум, всегда пекущийся о нас го-

раздо лучше, чем наша собственная мудрость. Как может маленький человек, погрязший в мирской суете, думать, что именно он и есть венец Вселенной? Вечный холод и раскаленное солнце, пустыня и океан могли бы давно погубить человека, а человек существует. Значит, он необходим в огромном мироздании! Разумнее предположить, что Высшее существо создало человека для выражения своих идеалов, что человечество само по себе несет определенную функцию. Может быть, таков порядок вещей, так предопределено, что французы первыми в мире должны построить государство во славу этого Верховного Существа, государство радости и справедливости?

Кто в самые тяжелые дни, когда, казалось, революция погибла, вдруг поражал наших врагов и поднимал народ?! Мог бы он, Робеспьер, в полнейшем одиночестве выдержать ту страшную, нечеловеческую борьбу, если бы не верил, что революция предначертана высшей властью и он, Робеспьер, является носителем ее идей?!

Иисус Христос был распят в возрасте 33-х лет. Христос, конечно, не был богом, но он был пророком, голосом которого говорило Провидение. Христианство нужно было миру, чтобы создать силу, способную противостоять жестокой власти Римской империи. Но христианство с самого начала было несовершенно, а корыстолюбцы и пройдохи использовали его для своего честолюбия и обогащения. С тех пор прошло почти 18 столетий. Французам выпала великая честь создать новое, невиданное государство.

Теперь католические служители — наши злейшие враги. Мы были правы, когда, несмотря на все партийные разногласия, объединились с жирондистами, чтобы бороться с неприсягнувшими священ-

никами. Но жирондисты глубоко неправы, проповедуя атеизм. Он помнит, как они обвиняли его в лицемерии и ханжестве. Он помнит фразу Гаде, брошенную ему в Якобинском клубе:

— Как Робеспьер говорит, что Провидение спасло нас помимо нашей воли?! Я никогда бы не поверил в то, что человек, так мужественно трудившийся над избавлением народа от рабства деспотизма, мог способствовать потом возвращению его в рабство суеверия.

Неужели Гаде кажется, что революцию делают Мирабо, Барнав, Бриссо? Неужели он думает, что сломать систему, построенную веками, могут отдельные люди?

Робеспьер знает, что революцию совершает народ, но вела революцию всегда *идея*. Как бы ни были значительны экономические обстоятельства, вызывающие возмущение народа, но не они играют главную роль. За то, чтобы у потомков был кусок хлеба, никто не согласится умирать. А вот за веру шли на смерть. В свое время английскую революцию вела протестантская религия. Каждая революция создает свою собственную религию. Новую Францию влекут вперед святые слова: «Свобода, Равенство, Братство». Но чтобы воплотить их в жизнь, надо создать общественный *идеал*, тот самый, о котором мечтал Жан-Жак Руссо. То есть надо разработать устой нового общества, нечто вроде нового Евангелия, но основанного не на фанатизме и невежестве, а на торжестве Разума и Справедливости. Законом этого общества станет Добродетель и Порядок. Вот какая миссия выпала на долю Робеспьера. И если Провидению будет угодно, он исполнит ее, конечно, тогда, когда представится такая возможность, когда будут побеждены враги революции.

Сколько их было — знаменитых, талантливых политиков, когда никому не известный Робеспьер приехал в Париж! Но все эти люди ставили перед собой только ближайшие, очередные задачи, а куда идет революция, не понимали. Поэтому никого из них не осталось, а он остался. Каждое его слово слышно всей Франции, но это не только его личная заслуга. Робеспьер давно чувствует, что жизнь не принадлежит ему. Ему предначертано свыше вывести страну на путь будущего. Пробьет час, когда он, словно древний пророк Моисей, должен будет стать во главе народа. Надо ждать этого часа. А пока надо отстоять Францию от полчищ пруссаков и интервентов. Значит, сейчас главная задача — сохранить единство.

* *
*

Когда он входит, все поворачивают головы в его сторону. Ну, может, и не все. Вернио и Барбару продолжают свой разговор, подчеркнуто ни на кого не обращая внимания. Жансоне зевает и отворачивается. И тем не менее Робеспьер чувствует, что в зале Конвента стремительной птицей пронеслось его имя. Новые депутаты не стесняясь разглядывают его. Кого они в нем видят? Друга? Врага? Что они о нем слышали?

Депутат Шабо подбегает к нему, спрашивает, будет ли он вечером у якобинцев? Действительно интересует Шабо этот вопрос или ему важно показать, что он запросто с Робеспьером?

Филипп Эгалите встает и, когда Робеспьер смотрит в его сторону, почтительно, но с достоинством здоровается с ним. Филипп Эгалите, бывший герцог Орлеанский.

Все это когда-то уже было. Робеспьер словно перенёсся на несколько лет назад. Так депутаты Учредительного собрания встречали Мирабо. Теперь так встречают Робеспьера.

Если бы сейчас Робеспьер был таким же, как тогда, боже мой, это наверное, был бы самый счастливый день в его жизни. Но сейчас, сейчас знаки внимания раздражают. Теперь он равнодушен. Может, потому, что достиг славы? Нет, просто он уже старый политик. Вон сколько их ходит, молодых, с честолюбивым блеском в глазах. Мечтают об аплодисментах...

Франция на краю гибели. Страну спасет чудо или Провидение. Необходимо единство, а жирондисты раздувают пламя войны партий.

Вот и знакомые лица: Грегуар, Петион, Сиейс, Барер. А где Барнав, где Ламеты? — Они забыты. Их имена произносятся только с осуждением. За кем же ты теперь будешь бегать, Барер? Теперь приветливо раскланиваешься с Робеспьером, на твоём лице почтительная улыбка. Впрочем, зачем вспоминать старое? Времена меняются, меняются люди; видимо, изменился и Барер. Надо быть справедливым к нему.

Робеспьер поднимается к верхним скамьям, туда, где места его товарищей якобинцев. На самом верху, отдельно от других, сидит человек в грязной одежде, с платком на шее, смоченным уксусом. Со взглядом этого человека депутаты боятся встречаться. Это Марат. Его сторонятся. Марат даже гордится этим. «Только индюки ходят стадом» — это его слова.

Робеспьер сухо здоровается с Маратом. Их никогда не связывала дружба, но всегда народ связывал их имена. Марат яростен, фанатичен, непреклонен. Он абсолютно честен — Робеспьер в этом уверен, — но ему не хватает гибкости. Марат все время

настаивает на применении крайних мер. Тут его нельзя поддерживать, но и ссориться с ним не надо. Ведь их так мало в Конвенте — людей, которых называют монтаньярами.

И, однако, как же смел этот человек! Робеспьер помнит первое выступление Марата. Марат вышел на трибуну, встреченный настроженным молчанием. Новички, приехавшие из провинции, смотрели на него с ужасом. Марат сказал:

— У меня в этом зале много личных врагов.

Его слова были заглушены громкими криками:

— Все, все враги!

Марат выдержал паузу и продолжал:

— У меня в этом зале много врагов, да будет им стыдно!

И Конвент, как пришибленный, стих.

Странной показалась Робеспьеру речь Марата. Уже давно Марата обвиняли в том, что он вместе с Дантоном и Робеспьером хочет диктатуры. Марат, вместо того чтобы опровергнуть, подтвердил это. Чувственно звучали и другие его слова: «В эпоху Учредительного собрания надо было отрубить 500 голов интриганам, и в настоящее время все было бы спокойно. Теперь уже сто тысяч патриотов убиты потому, что страна не послушалась вовремя моего совета».

Итак, Марат требует решительных действий, Дантон ищет примирения. Какова позиция Робеспьера?

События опередили его. Во Франции установилась республика. Надо осмотреться. Нельзя отступать, но и нельзя усугублять раскол в Конвенте. Пожалуй, Робеспьер ближе к Дантону. Правда, у Дантона нет определенной линии, его политика определяется интересами сегодняшнего и завтрашнего дня.

Однако Дантон прав, доказывая необходимость однородной и сильной правительственной партии, которая показала бы Европе и всем врагам революции, что между республиканцами царит согласие.

Дантон прав, когда призывает пожертвовать личными интересами.

Дантон быстро вырос. Еще недавно это был крикливый оратор в клубе Кордельеров, а теперь он — министр. (Кстати, почему жирондисты выдвинули именно Дантона? Им нужен был человек, которого бы слушался народ и с которым можно было бы договориться. На Робеспьера они не надеются.) Но дело не в министерском портфеле. Пожалуй, ни один человек, кроме Дантона, не смог бы вывести Францию из кризиса августовских и сентябрьских дней. Это все понимают. А когда съехались депутаты, только Дантон сумел ненадолго примирить враждебные партии. И Конвент провозгласил республику единой и неделимой.

Удивительно, как Дантон в нужный момент находит простые точные слова. Ведь он не готовится к выступлениям. Перед глазами Робеспьера мелькало много политиков на один день, народных вождей на один вечер. Они стремительно возвышались и так же стремительно исчезали. Дантон — настоящий. Это талант. Нельзя позволить, чтобы Жиронда перемяла Дантона. Но мешать его поискам союза с Жирондой (конечно, на приемлемой основе) не следует. Пусть и Марат выступает с резкими нападениями. Пусть жирондисты знают, что якобинцы могут избрать другой путь.

Все-таки почему жирондисты так яростно нападают? Какие противоречия между ними и монтаньярами?

ках министерство. Но Конвент заседает в Париже. А Париж не избирал депутатом ни одного жирондиста. Этого они не могут простить. Ведь монтаньяры сильны только поддержкой Парижа.

Понятно, почему Париж против жирондистов. В тревожные августовские дни, когда пруссаки взяли Верден, жирондисты предлагали правительству покинуть столицу и переехать на юг, то есть бросить город на произвол судьбы. Разве это забывается? Жирондисты обвиняют парижан в кровожадности, все время напоминая им о сентябрьских убийствах. Оправдывать сентябрь никто не собирается, но это была естественная реакция народа на измену роялистов. И потом, самое главное, парижские санкюлоты, которые взяли Бастилию и совершили революцию десятого августа, до сих пор пребывают в тревоге и нищете. Тысячи честных патриотов отдали свои жизни за свободу, а благами этой свободы пользуются только богачи. Думает ли правительство сделать что-нибудь для облегчения жизни бедняка? Монтаньяры предлагают ввести максимум, ограничить свободу накоплений и тем самым найти средства для помощи неимущим. Но жирондисты кричат, что это покушение на свободу собственности и приведет к анархии. Так кто же хочет анархии? Мы не собираемся уравнивать собственность, мы предлагаем единственный разумный, если хотите, компромиссный путь. Надо убедить жирондистов согласиться с нами. И тогда Конвент будет пользоваться поддержкой всех слоев населения, во Франции восстановится единство, а оно так необходимо для победы над силами коалиции. Все это диктуется интересами страны.

Вот любопытно, если бы Робеспьер прямо сейчас подошел к Вернио, откровенно с ним поговорил и заключил бы союз? Приведет это к успеху? Ведь Ро-

беспьер и Вернио — вожаки враждующих партий.
Нет, невозможно.

Если бы такой разговор состоялся, жирондисты и монтаньяры отказались бы от своих лидеров, обвинив их в предательстве. Вот как далеко зашли партийные распри. Понимает ли это Вернио?

Входит Дантон. Как всегда, самый последний. Словно уверен, что без него не начнут...

*
*
*

29 октября на трибуне появился депутат Луве. Когда-то давным-давно Робеспьер встречал его в салоне у мадам Ролан. Тогда они мило раскланивались.

Каждый делает карьеру, как умеет. Луве избрал путь весьма оригинальный: он завоевывал популярность тем, что не упускал случая выругать Робеспьера.

— Над городом Парижем слишком долго тяготел крупный общественный заговор, был момент, когда он едва не охватил всю Францию.

(Начало многообещающее. Посмотрим, что будет дальше.)

— Робеспьер, я обвиняю тебя!

(Как демократично и как революционно! Луве подлаживается под речь народных трибунов.)

Робеспьер не выдерживает и с места презрительно поясняет:

— Господин Луве обвиняет меня.

Но Луве не остановишь. Он винит Робеспьера в том, что тот никому не давал говорить, а выступал все время сам. В том, что призывал к сентябрьским убийствам. В том, что стремился ликвидировать Конвент. В том, что добивался диктатуры. Опасность, по словам Луве, возникла потому, что Робеспьер слишком популярный и влиятельный человек во Франции.

(Странное обвинение. Какие же будут выводы?)
Луве требует расправы над Робеспьером.

...А вообще-то напрасно он иронизировал, слушая речь Луве. Чувствуется, что Луве готовил ее не один. Виден какой-то продуманный план: жирондисты ударили по Марату, по Дантону, а теперь они всерьез задумали убрать Робеспьера. Обвинение в попытке установить диктатуру — обвинение смертельное. На Собрание Луве произвел сильное впечатление. Робеспьер замечает, как его товарищи опустили головы, как они избегают его взгляда. Может быть, он ошибается, может быть, это только его подозрения, но ему кажется, что его сторонники с каким-то странным любопытством ждут его ответа. Да, опасен путь политика. Один неверный шаг может привести к роковым последствиям.

Что ж, на войне как на войне. Теперь ошибиться он не имеет права. Надо тщательно подготовить ответ.

Собрание дает ему отсрочку со снисходительностью, похожей на презрение. Кажется, многие убеждены, что с Робеспьером покончено.

Якобинский клуб возмущен речью Луве. В секциях волнение. Но по городу ходят молодчики, которые кричат: «На гильотину Марата и Робеспьера! Да здравствует Ролан!»

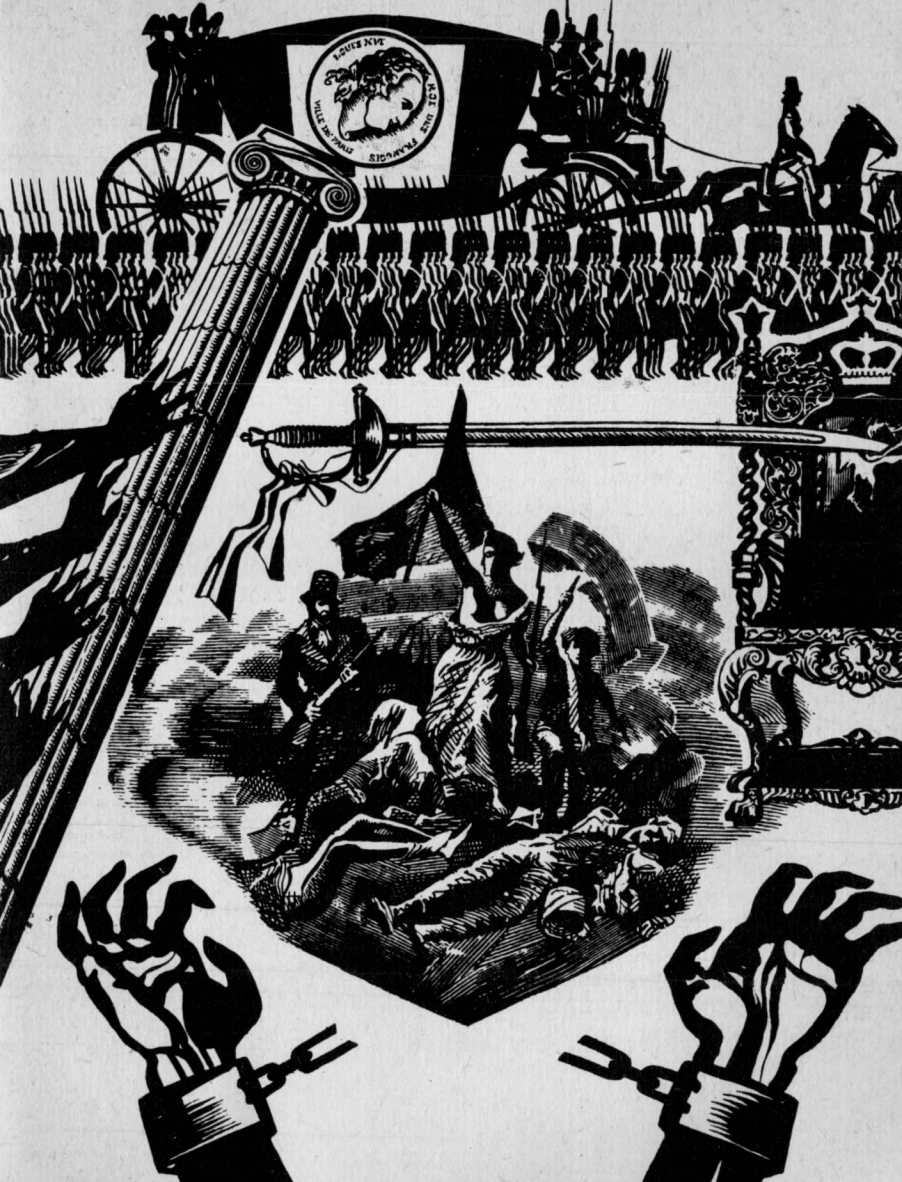
Наступает день ответа. Конвент оцеплен войсками. Робеспьера вызывают на трибуну. На передних скамьях он не видит ни одной одобрительной улыбки, ни одного сочувствующего жеста.

— В чем же меня обвиняют? В том, что я составил заговор с целью достигнуть диктатуры или триумвирата, или должности трибуна? ...Согласитесь, что если подобный проект был преступен, то он еще в большей мере был смел, ибо для того, чтобы вы-

полнить его, нужно было не только ниспровергнуть трон, по уничтожить и Законодательное собрание, а главное, не допустить замены его Национальным Конвентом. Но в таком случае как могло случиться, что я первый в своих публичных речах и своих сочинениях указал на Национальный Конвент как на единственный для отечества выход из бедствий? Правда, это предложение было принято моими теперешними противниками как предложение мятежное; однако восстание 10 августа вскоре не только узаконило его: оно сделало больше — оно его осуществило. Говорить ли мне о том, что для достижения диктатуры мало было господствовать в Париже, нужно было покорить 83 департамента? Где же были мои сокровища? Где же была моя армия? Где же были те видные должности, которые я занимал? Вся власть находилась как раз в руках моих противников.

— ...Я горжусь тем, что мне приходится защищать здесь дело Коммуны и свое собственное. Нет, я должен только радоваться тому, что многие граждане послужили общественному делу лучше меня. Я отнюдь не претендую на непринадлежащую мне славу. Я был избран только десятого числа; те же, которые были избраны раньше и собрались в ратуше в ту грозную ночь, — они-то и есть настоящие герои, борющиеся за свободу...

Пожалуй, никогда он не чувствовал себя так спокойно и свободно на трибуне. Легко и непринужденно он разбивал одно за другим выдвинутые против него обвинения, обвинения, которые основывались не на фактах, а на ложном пафосе и личной вражде к нему. Жирондисты, всегда готовые преследовать его своими криками, свистом, теперь словно оцепенели. Застыв на своих местах, они, сами того не замечая, слушали Робеспьера в глубоком безмолвии.



(Когда на тебя несправедливо нападают, ты должен быть объективен и великодушен. Это действует сильнее.)

Робеспьер закончил свою речь призывом к миру.

— Что касается меня, то лично о себе я не сделаю никакого заключения; я отказался от преимуществ отвечать на клевету моих противников еще более грозными разоблачениями; оправдываясь, я не хотел нападать. Я отказываюсь от справедливого мщения, которым я был бы вправе преследовать своих клеветников; я хотел бы только, чтобы был упрочен мир и чтобы торжествовала свобода.

Ему аплодируют все депутаты. Луве сидит опустив голову. И лишь Барбару из Марселя бежит к решетке. Он требует слова, он хочет опять обвинять Робеспьера. Но Конвент не слушает его. Конвент переходит к очередным делам. Барбару, пристыженный, возвращается на место.

Это была победа. Победа не только Робеспьера, но и Якобинского клуба, победа Горы. Пожалуй, лишь один человек из монтаньяров был не очень рад этому — сам Робеспьер. Он понимал, что Жиронда может простить ему многое, но никогда не простит своего поражения. Теперь отрезаны все пути к примирению.

Подтверждение этому пришло слишком быстро. На Робеспьера напал его бывший друг Петион, напал отчаянно, злобно.

Робеспьер ответил ему мягко, напомнив о былой дружбе. Однако стало ясно, что теперь борьба между партиями пойдет не на жизнь, а на смерть. И первым это почувствовал Луве. Вечером того же дня, когда на заседании Конвента он был публично разбит и осмеян, Луве сказал жене: «Нужно быть готовым к эшафоту или к изгнанию!»

* *

*

...И когда Жиронда пыталась не допустить суда над королем, в самый разгар прений на трибуну поднялся новый оратор.

— Да, — сказал он, — я поддерживаю тех, кто протестует против суда над королем. Всякий король считает себя существом особым и действует соответственно. Стоя вне закона и даже выше общего для всех закона, имеет ли он право требовать, чтобы ему позволили воспользоваться преимуществами закона, когда он побежден? Что применимо к гражданину, не может быть применено к человеку, который претендует быть выше гражданина. Пусть же королевская власть несет кару за свое высокомерие. Не судить мы его должны, мы должны карать его.

Строгая логика депутата, фанатичная убежденность захватила собрание. Но больше всего поражало в ораторе сочетание несочетаемого. Хладнокровие, непреклонность слов — и откровенная привлекательность юности; пристальный взгляд, суровая, словно вылитая из бронзы фигура — и женственная красота лица. И контраст этот действовал еще сильнее.

Ни одно выступление Робеспьер не слушал так внимательно. Лицо депутата знакомо, но имя?

Робеспьер наклоняется к сидящему впереди Демулену.

— Камилл, кто говорит?

Демулен отвечает, не оборачиваясь:

— Сен-Жюст!

* *

*

Чтобы понять обстановку, в которой происходили дебаты о суде над Людовиком XVI, а потом и сам суд, надо представить себе заседание Конвента в ноя-

бре и декабре 92-го года. Исступление партийной борьбы дошло до крайности. Случалось, что жирондисты, возглавляемые Барбару, срывались с мест и, выкрикивая угрозы, потрясая кулаками, бросались на скамьи монтаньяров. Монтаньяры, в свою очередь, давали знак публике, а та криками заглушала речи жирондистов или, наоборот, поддерживала выступления монтаньяров. Марат, как дикий зверь, ревел у подножия трибуны, куда его систематически не допускали. Оратора Жиронды, обвинявшего монтаньяров во всех смертных грехах, вплоть до организации убийств и государственной измены, сменял оратор Горы, который отвечал еще более яростными обвинениями. И вдруг в освещенном факелами зале появились родственники жертв 10 августа. Размахивая простреленной пулями одеждой и лохмотьями окровавленных рубашек, они требовали отпущения королю. Но даже в этой суматошной ожесточенной перестрелке, которую вели враждующие стороны, можно было заметить одну особенность: жирондисты, щедро выливая на каждого монтаньяра по ушату помоев, тем не менее выделяли одного человека. По нему шел особый, прицельный огонь. Этим человеком был Робеспьер.

Иронии и сарказма у жирондистов хватало.

Жансоне утверждал, что если якобинцы и помогли спасению общества, то они сделали это по инстинкту, как гуси Капитолия. Но ведь римский народ из признательности к такого рода освободителям не провозгласил их диктаторами или консулами, не признал их высшими распорядителями своих судеб. И покружив таким образом вокруг Робеспьера, Жансоне обрушивался непосредственно на него: «Робеспьер — политический шарлатан, который льстит предассудкам народа».

Кондорсе, этот пожилой степенный философ, напосил Робеспьеру удар ниже пояса: «Он создает себе свиту из женщин и людей со слабой головой. Он с важностью принимает от них обожание и почести; он прячется перед опасностью и появляется вновь, когда опасность уже миновала. Робеспьер — это жрец, и всегда останется только им».

Стоит ли упоминать о Бриссо, Гаде, Барбару и прочих, более темпераментных и резких ораторах?

Чем же объяснить столь повышенное внимание к Робеспьеру? Объяснение простое. Жиронда понимала, что только Робеспьер мог своей железной логикой убедить общественное мнение страны в том, что казнь Людовика XVI необходима и неизбежна.

И действительно, именно Робеспьер развил теорию Сен-Жюста и, подав ее в новом освещении, поставил Конвент перед необходимостью решить: «Или Людовик виновен, или революция не может быть оправдана».

Это была его первая речь по поводу суда над королем. Правда, суд все равно состоялся. И на суде, как и следовало ожидать, король сделал все от него зависящее, чтобы восстановить против себя Конвент и тех сомневающихся, которые до суда еще относились к Людовику с жалостью или сочувствием.

Но, пожалуй, все усилия короля были напрасны, потому что, как сказал жирондист Гора, первая речь Робеспьера «склонила весы национального правосудия на сторону смерти».

А когда после суда Жиронда предприняла последнюю попытку спасти короля и выдвинула «демократический» лозунг — передать вопрос о жизни и смерти Людовика XVI на обсуждение народа, только Робеспьер смог доказать контрреволюционность этой затеи.

— Что вы разумеете под словом «народ»? — говорил Робеспьер в своей второй речи, посвященной суду над королем. — Большинство без исключения из него многочисленной, наиболее обездоленной и наиболее чистой части общества, той части, которую угнетают все преступления эгоизма и тирании?.. Но это большинство не может быть на ваших политических сходках, когда оно находится в своих мастерских... Если бы у народа было время собираться для разбирательства судебных дел и решения государственных вопросов, он бы не вверял заботу о своих интересах вам. Лучший способ засвидетельствовать ему вашу верность, — это издавать справедливые законы, а не создавать ему междоусобную борьбу.

Однако «болото» прислушивается к жирондистам. Большинство депутатов против казни. И Робеспьер делает неожиданный поворот. Он утверждает: «Меньшинство всюду имеет одно вечное право — право провозглашать истину или то, что оно считает истиной. Добродетель всегда была на земле в меньшинстве».

Кажется, эта мысль противоречит прежним высказываниям Робеспьера. Но так диктует революция. И Робеспьер побеждает. Общественное мнение Франции склоняется на его сторону, и именно оно, мнение всей страны, представленное в Конвенте трибунами санкюлотов, заставляет колеблющихся и осторожных депутатов Конвента приговорить к смерти Людовика XVI.

Не в задачах этой книги анализировать, какое значение имела казнь короля в судьбе Франции. Можно ограничиться высказыванием одного из современников: «Только после того, как Людовик XVI был гильотинирован, французский крестьянин пове- рил, что революция победила».

Глава XI

Хроника революции

Герои французской революции были весьма далеки от того, чтобы искать источник социальных недостатков в принципе государства, — они, наоборот, в социальных недостатках видели источник политических неурядиц. Так, Робеспьер в большой нищете и большом богатстве видел только препятствие для чистой демократии.

К. Маркс

Итак, король свергнут. Повержены конституционалисты. В Конвенте заседают революционеры, каждый из которых желает счастья Франции. Ну, кажется, сейчас время пожинать плоды победы.

Но какой же злой рок тяготел над революцией? Почему партии, объединенными усилиями низвергнувшие деспотизм, спустя пару месяцев сошлись в рукопашной схватке не на жизнь, а на смерть?

Может, все дело в личной неприязни? Жирондисты ненавидели Марата, а монтаньяры не любили Гаде, Бриссо, Вернио и компанию за то, что те своими саркастическими высказываниями больно задевали их самолюбие? Жирондисты обижались на непочтительные высказывания о «гении и знамени» их партии госпоже Ролан и, как истинные джентльмены, заступались за нее, а очаровательная мадам Ролан, в свою очередь, не могла спокойно видеть бандитскую физиономию Дантона и слышать скабрзные намеки Эбера? И все-таки странно предполагать, что борьба между Горой и Жирондой, потрясая всю

страну, велась потому, что одни депутаты не внушали симпатии и доверия другим.

Может, все дело в том, что обе партии стремились к власти? На первый взгляд кажется, что только это и разделяло враждующие стороны. Ведь их программы вроде бы совпадали, и до апреля 1793 года и жирондисты и монтаньяры обвиняли друг друга в одних и тех же грехах:

в роялизме (потом, правда, пошли уточнения. Монтаньяры уверяли, что Жиронда хочет восстановить власть Бурбонов, а жирондисты — что монтаньяры хотят отдать корону Орлеанской династии);

в попытках захватить власть и установить диктатуру;

в сентябрьских убийствах;

в связях с эмиграцией и монархической коалицией (упрек Гаде, брошенный Робеспьеру: «Ты-то и есть сообщник принца Кобургского»);

в поражениях на фронтах;

в сообщничестве с Дюмурье (любопытно, что последнее обвинение особенно рьяно якобинцы возводили на жирондистов, но потом, когда жирондисты выступили с предложением отозвать Дюмурье, на его защиту встал... Робеспьер, который заявил, что эта мера может привести к развалу в армии. Потом, во времена террора, это обвинение падало на тех, кто только шапочно был знаком с изменником-генералом).

И, пожалуй, самым популярным, так сказать, дежурным «разоблачением» была связь с Англией и с агентами Питта. Случалось, в один и тот же день враждующие партии утверждали, что их противники подкуплены англичанами, а в марте 93-го года монтаньяры и жирондисты объединились и объявили сторонниками Питта... «бешеных».

Одинакова была и терминология ораторов. Своих сторонников они величали «истинными друзьями народа», «честными республиканцами», противников обзывали роялистами, ворами, агентами Питта и т. д. (Эта традиция сохранилась и впоследствии. До термидора «чудовищами» называли жирондистов. После термидора — Робеспьера, Сен-Жюста и прочих видных монтаньяров.)

Высказывания ораторов по поводу свободы печати, смертной казни, парламентской неприкосновенности менялись в зависимости от того, на какой ступени власти находились их партии.

Жирондисты предали суду Марата, а когда их самих привлекли к суду, они закричали о нарушении конституции. Жирондисты пытались закрыть газеты Марата и Эбера, а когда, в свою очередь, монтаньяры прикрыли газету Бриссо, жирондисты обвинили их в зажиме демократии. Соответственно, вспомним высказывания Робеспьера в различные периоды о смертной казни, о свободе печати и так далее.

Кутон свою деятельность в Конвенте начал с того, что предложил предать смертной казни тех, кто высказался за диктатуру триумvirата (призрак триумvirата почему-то особенно пугал патриотов: мы помним триумvirат Барнава. В данном случае имелись в виду Дантон, Марат и Робеспьер), но кончил он тем, что в 94-м году сам составил вместе с Сен-Жюстом и Робеспьером триумvirат, который фактически обладал диктаторскими полномочиями.

Всю зиму и весну 93-го года левая сторона Конвента отчаянно вопила о тирании правой, а правая выражала негодование тиранией трибун.

Но не только жирондисты и монтаньяры отличались таким непостоянством. «Бешеные» выступали яростными сторонниками террора. Когда же лидеры

«бешеных» сами попали под суд, они стали усиленно проповедовать милосердие.

Весьма своеобразно отношение партий к народному представительству. Якобинцы, которые всегда ратовали за верховную власть народа, впоследствии ликвидировали выборность в секциях и назначали туда своих чиновников. Но эта метаморфоза произошла уже в 94-м году. Жирондисты подобную эволюцию проделали значительно быстрее. Если зимой 93-го года они обвиняли Конвент в том, что депутаты не являются истинными представителями масс, и требовали первичных сходов, замены депутатов их заместителями и вообще перевыборов (и все это якобы только в интересах демократии), то весной их настроение резко изменилось. Вот известное высказывание Бюзо о народных депутациях: «Я чувствовал, до какой степени было необходимо терпение; но я был тысячу раз готов прострелить черепа некоторых из этих чудовищ. Боже мой, что это была за депутация! Казалось, что из всех сточных ям Парижа и больших городов было собрано все самое грязное, мерзкое и смрадное. С отвратительными, покрытыми грязью лицами черного или медно-красного цвета, над которыми возвышалась копна жирных волос, глубоко сидящими во впадинах глазами, они испускали вместе со своим смрадным дыханием самые грубые ругательства, сопровождаемые пронзительными криками плотоядных животных».

То есть пока Бюзо чувствовал поддержку народных масс, все было хорошо. Как только симпатии народа перешли на сторону монтаньяров, сам вид депутации стал оскорблять эстетические вкусы доблестного демократа.

Да и вообще, насколько долговечна народная любовь?

Когда в 89-м году Неккера вернули из ссылки, ликование страны не было предела. В маленьком городке, где он остановился ночевать, жители выставили патрули, которые останавливали проезжающие кареты. Горожане говорили: «Тише, Неккер спит». А манифестации, которые устраивались в честь герцога Орлеанского? А взрывы всеобщего ликования, когда на улице толпа замечала Дюмурье или Петитона? А всеобщая популярность Мирабо и Дантона? Или проявившаяся, особенно в 94-м году, фанатичная любовь к Робеспьеру, преклонение перед ним, как перед божеством? Но разве кто-нибудь вспоминал добрым словом народных кумиров, когда они отправлялись в изгнание? Разве многочисленные толпы не улюлюкали, когда на гильотину везли Дантона и Робеспьера?

Вроде бы сам собой напрашивается вывод: нет ничего переменчивее народной любви. Но вот почему тот или иной деятель, та или иная партия теряли поддержку народа?

Внимательно читая выступления ораторов Конвента, мы замечаем любопытную подробность: экономика их почти не интересовала, они обращались к ней постольку, поскольку это вытекало из их излюбленной темы — учения о способах охраны добродетели. Но «способы охраны добродетели» каждый оратор понимал по-своему.

И вот тут мы убеждаемся, что борьба за власть между партиями была только следствием. А причины? Причины заключались в неравном материальном положении социальных слоев, на которые опирались монтаньяры и жирондисты. «Высоконравственные идеалы» ораторов на самом деле оказывались классовыми.

вставал один вопрос: дать человеку полную свободу неограниченной собственности или пойти на «революцию равенства», то есть насильственным путем уравнять собственность. И чем дальше, тем острее становилась эта проблема. С одной стороны, укрепляла свои позиции нарождающаяся буржуазия, с другой стороны, гигантски усиливалось уравнительное движение широких социально неоднородных «низов». Именно это противоречие порождало раскол в стане вчерашних союзников. Жирондисты искренне считали, что собственность должна быть безусловным индивидуальным правом. Поэтому они постоянно обвиняли монтаньяров в поддержке «аграрного закона» и «анархии». Но монтаньяры, которые представляли мелкобуржуазные слои Франции, видели, что программа жирондистов ведет к неравноправию и узаконенной нищете широких народных масс. Естественно, согласиться с этим они не могли. Поэтому монтаньяры заявляли, что право собственности есть относительное и социальное.

Однако мелким буржуа всегда были свойственны иллюзии. Они полагали, что если у каждого человека будет право на некоторую ограниченную собственность, то именно тогда наступит золотой век. Поэтому Робеспьер не ставил вопрос о радикальных реформах. Он говорил: «Грязные души, уважающие только золото, я отнюдь не хочу касаться ваших сокровищ, как бы нечист ни был их источник», — и переводил разговор в область моральных категорий: сделать бедность более почетной, чем богатство, — вот его задача. Отсюда — колебания Робеспьера. Отсюда — непоследовательность в политике монтаньяров.

Робеспьер протестовал против «аграрного закона», то есть против попытки разделить землю поровну между крестьянами.

Еще в марте 1793 года монтаньяры резко выступили против требований Жака Ру, Варле и других «бешеных» — людей, которые выражали интересы бедняков. Когда Варле и другие «бешеные» хотели поднять восстание против Жиронды, Робеспьер, а за ним и Гора осудили «бешеных».

Повторяю, партия Робеспьера тоже боялась «анархии». Но уже в апреле 1793 года они увидели, что если не удовлетворить требования городских плебейских масс, то произойдет новая революция. Поэтому монтаньяры поддерживали народ в вопросе об ограничении крупной частной собственности, то есть поддерживали программу «максимума». И в то же время, пытаясь сохранить некое экономическое равновесие, Робеспьер предложил ограничить заработную плату пролетариев.

Но проведение «максимума» возможно было только при условии изменения политического строя и установления диктатуры.

(Кстати, и жирондисты поняли, что остановить наступление народных низов они могут только с помощью диктатуры буржуазии.)

В этот момент республике был нанесен еще один страшный удар. Фанатичные, религиозно настроенные, темные крестьяне западных провинций подняли мятеж. Ими руководила опытная рука роялистов и священников. Вандея грозила захлестнуть соседние департаменты. Но жирондистов, то есть людей, стоявших во главе исполнительной власти, события в Париже волновали гораздо больше. В Вандею они посылали робких комиссаров, которые в первую очередь окружали себя поварами и лакеями. По улицам вандейских городов, еще верных республике, бродили тучи адъютантов с шкарными усами. Эти brave офицеры отважно воевали с женским полом, но от-

нюдь не с вандейцами. Не случайно банды восставших, в большинстве своем отличные охотники и браконьеры, без труда разбивали немногочисленные и разьединенные батальоны республиканцев.

Каково же было положение Франции?

Против нее — все монархические державы. Во французских городах — восстания. Во главе французских армий — измена. На французских границах — поражение.

И в такой критический момент жирондисты словно ставили своей задачей всему препятствовать, ничего не предлагая.

Тем не менее необходимые меры были приняты.

Был декретирован принудительный заем в один миллиард, взыскиваемый с богачей, с дальнейшим покрытием его имениями эмигрантов.

Была выработана конституция, отвечающая интересам народных масс.

В департаменты и на границы были посланы энергичные комиссары.

Формировались батальоны волонтеров, и увеличилось производство оружия.

Был создан революционный трибунал, который начал энергично расправляться с врагами революции.

Был создан Комитет общественного спасения, то есть была централизована исполнительная власть.

Был принят закон о максимальных ценах (первый максимум).

Только эти декреты спасли Францию. Они были делом рук монтаньяров. Они проводились через Конвент вопреки воле жирондистов.

Чем же занимались жирондисты? Они устраивали суды над Маратом и Эбером. Они пытались применить репрессии против Парижской Коммуны. Пользуясь своим преимуществом, Жиронда все время

грозила смертью якобинцам. Движимые партийными страстями, жирондисты намеревались стереть Париж с лица земли и поднять департаментские восстания. В апреле Жиронда создала особую комиссию двенадцати, диктаторский орган, наподобие Комитета общественного спасения, но только полностью контролируемый жирондистской партией. Задачей этой комиссии была не защита страны от внешних и внутренних врагов, а защита жирондистов от нарождающегося блока якобинцев и «бешеных».

Тем временем французские армии терпели одно поражение за другим. Ширилось восстание в Вандее. Марсель и Лион открыто заявляли о своей вражде к Парижу.

Франция стояла на пороге диктатуры. Всем было ясно, что в диктатуре единственное спасение.

Вопрос ставился по-другому: в чьих руках будет диктатура?

И по справедливости она попала в руки монтаньяров, людей, которые прислушались к требованиям народных низов и поняли, что революция должна идти дальше.

Глава XII

Накануне

— Делайте же ваш вывод! — кричит ему Верньо.

— Да, — отвечает Робеспьер, — я сейчас сделаю вывод, и он будет против вас.

Иногда он чувствует себя очень старым человеком. Кажется, прошло сто лет с того дня, когда депутаты третьего сословия, собравшись в зале для игры в мяч, поклялись в верности отечеству и народу. А забываемая

ночь 4-го августа! Слезы восторга и умиления при виде того, как первые два сословия добровольно жертвовали своими привилегиями! А патриотические манифестации на Марсовом поле в июле 1790 года!

Он все помнит, но, господи, как давно это было! Где его товарищи, с которыми он рука об руку отстаивал революцию? Иных уже нет, а другие в стане врагов. Из всех известных деятелей Учредительного собрания он остался один. Он возглавил Якобинский клуб, и все давно признали, что Робеспьер и якобинцы — единое целое.

Время подтвердило правильность политики якобинцев, но, странное дело, чем яснее становится правда якобинцев, тем больше число их недоброжелателей.

Сначала говорили, что Гора — сборище мятежников, теперь называют их агитаторами и анархистами. Лафайет и его сообщники не успели тогда разделаться с ними. Надо надеяться, что его преемники будут не менее милосердны? Те, против кого выступали якобинцы, «великие друзья мира, знаменитые защитники законов», были потом объявлены изменниками отечества, но монтаньяры от этого ничего пока не выиграли.

Напрасно он протягивал жирондистам руку дружбы — в ответ получал только плевки, презрение и удары из-за угла. Все больше он убеждается в упрямстве и коварстве многочисленных врагов. Им безразличны интересы Франции, они только ждут момента, чтобы нас уничтожить.

Неужели прав Марат? Неужели мы слишком добры?

Мы изгнали роялистов, мы разоблачили фельянов, мы казнили деспота, но каждая наша победа приносит тысячи новых несчастий.

Он думал, что с весной придет успокоение, но вот наступил март, а положение стало еще более критическим. И самое главное, волнуется Париж. Доблестные парижане, всегдашние наши верные союзники, теперь подстрекаемые агитаторами «бешеных», намерены поднять новое восстание, восстание против Конвента. Но если свергнут Конвент, что будет с Францией?

Вчера он и Билло-Варен были в одной из секций. Они рассказали, какие опасности грозят отечеству, описали печальное положение французских солдат в Бельгии и заклинали патриотов поспешить к границам. Они заверили, что Конвент позаботится о семьях сражающихся и сделает все, чтобы подавить внутренних врагов.

Одними словами граждан не накормишь. По декрету Конвента хлеб продается парижанам по пониженной цене, но его скупают жители окрестных деревень, в булочных — огромные очереди.

— О, великое Провидение, если ты избрало меня своим орудием, дай мне сил, подскажи мне, что делать дальше? Я очень устал от революции. Я болен. Никогда еще отечество не было в большей опасности, и я сомневаюсь, чтобы оно выпуталось из нее!

* *
*

Вероятно, все-таки в город пришла весна. Ты это чувствуешь поздно вечером, когда, пожелав спокойной ночи семейству Дюпле, запираешься в своей комнате и начинаешь работать. Очень болят глаза, так болят, что не помогают две пары очков. Тусклое пламя свечи режет, обжигает глаза, приходится отложить недописанные листы, задуть свечу. Ты открыва-

ешь окно, комнату заполняет запах свежей стружки. И вот с этим запахом у тебя связано ощущение весны.

Где-то зеленеет трава, скоро зацветут каштаны. Говорят, что в Париже зарегистрировано необычайно большое количество браков. Значит, в садах и в парках, в укромных аллеях и в беседках встречаются влюбленные. Говорят, что женщины щеголяют своими новыми нарядами. Новая мода — римские или греческие одеяния — платье плотно облегает тело, обнажены руки и плечи. Говорят, что публика съезжается на концерты послушать, как Фодор играет свое по-пурри «Сыновья любовь» или как Лампарелли исполняет разные вариации. И франты в расшитых золотом куртках расхаживают по вечерним улицам в ожидании случайных завлекательных знакомств. Знаменитые депутаты, устав от дневных забот, устраивают интимные ужины в обществе юных танцовщиц. Ох, уж эти мне патриоты! Стоит им добиться власти, как они тут же переезжают в особняк и заводят лакеев и любовниц.

И может, сейчас, когда он стоит у окна и смотрит на темный двор, там в нижней комнате Элеонор Дюпле лежит с раскрытыми глазами и думает о нем. Девушка бесспорно достойная и красивая. Как ни занят Робеспьер своими делами, как ни редко он видит Элеонор, — он знает, что она его любит. Но как объяснить ей, что ему не тридцать пять лет, что последние четыре года можно смело засчитывать каждый за десять, что он — выжатый борьбой, изнуренный семидесятипятилетний старик!

Неужели нормальная человеческая жизнь навсегда закрыта для него? Неужели ему предназначено судьбой и дальше получать одни лишь удары и оскорбления?

Все знают, что он единственный отстаивал дело народа в Учредительном собрании. Он единственный выступил против войны и оказался прав. Да мало ли у него заслуг, которые должны, обязаны признавать те люди, что на словах искренне заинтересованы в счастье Франции!

Когда ругают враги — это понятно и почетно. Но когда против тебя свои, как будто друзья, это обидно, это непонятно.

«Робеспьер — политический шарлатан, который льстит предрассудкам народа». Неужели Жансоне действительно так думает? Или это сказано в пылу спора?

Сейчас ночь. Надо лечь, надо закрыть глаза. Хоть немного отдохнуть. Но он знает, что тотчас же в голове будут звучать слова Кондорсе. Он хочет забыть их, но они возникают из темноты, пляшут перед глазами: «Он создает себе свиту из женщин и людей со слабой головой. Он с важностью принимает от них обожание и почести». И это говорит Кондорсе, человек, перед которым Робеспьер преклонялся в молодости. Можно представить себе, как смеются, как издеваются над Робеспьером те хлыщи, те надутые политические болваны, которые собираются за роскошным ужином у Манон Ролан. Робеспьер — неизменный персонаж их анекдотов.

Болтуны и шарлатаны, в голове которых так и не побывало ни одной самостоятельной мысли, певцы с чужого голоса, они сравнивают Робеспьера с гусем Капитолия...

За что такое озлобление, такая несправедливость? Значит, они никогда не были союзниками. Они всегда были врагами, и лишь теперь, почувствовав свою силу, перестали маскироваться. Тогда с ними нельзя церемониться. Их надо давить!

Спокойно, нельзя личные счеты примешивать к политике. Может, они добрые патриоты, но ошибаются. Тогда надо разубедить их. Может, им просто нравится смеяться над Робеспьером, ну, допустим, это их человеческая слабость (каждый развлекается, как хочет)... Но Робеспьер ведь тоже человек!

Утром он стоит перед зеркалом. Оно бесстрастно показывает ему маленького худого человека с бледным, смертельно усталым лицом. Но этого человека знает только зеркало.

И поэтому он тщательно разглаживает парик. И поэтому он накладывает толстый слой пудры. И поэтому глаза его сами собой становятся холодными и презрительными.

И он застегивает фрак на все пуговицы.

* *

*

Уже стало привычно, что их имена склоняются вместе — Дантон, Марат и Робеспьер. Нечто вроде святой троицы, на которую буквально молятся все патриоты Парижа.

Но не так просты отношения между этими тремя.

Робеспьер привык чувствовать себя как бы связующим звеном между ними. Дантон — удивительный человек, он внушает симпатию решительно всем, и только уж совсем оголтелые представители Жиронды, которые ради удовлетворения своего честолюбия готовы сжечь всю Францию, ненавидят его.

Робеспьер в чем-то по-настоящему завидует Дантону. Да, Робеспьеру верят, Робеспьера беспрекословно слушаются якобинцы, Робеспьер — самый влиятельный человек среди монтаньяров. Но вот такой личной симпатии, которую испытывают его товарищи к Дантону, сам Робеспьер вызвать не может. Что ж,

чего не дано, того не дано. И поэтому Робеспьер всегда охотно принимает приглашение Дантона вместе отобедать или провести вечер. Дантон любит шутить, его приятно слушать. Много бы дал Робеспьер за то, чтобы стать первым другом Дантона. Он поймал себя на мысли, что ему неприятно видеть Дантона в обществе Камилла Демулена или Фабра д'Эглантина. Ревность? Когда умерла Габриэль, жена Дантона, Робеспьер написал ему письмо: «Если в том несчастье, которое одно способно потрясти душу такого человека, как ты, уверенность в сердечной преданности друга может принести тебе утешение, ты найдешь его во мне. Я люблю тебя больше, чем когда-либо, и буду любить до самой смерти. В эти минуты я нераздельно с тобой». Но все же вот эта всеобщая любовь к Дантону вызывала у Робеспьера опасения. Уж очень Дантон добр. Уж очень жирондисты обхаживают его. Поэтому день 1 апреля был истинным праздником для Робеспьера. В то утро жирондист Ласурс напал на Дантона. Он обвинил его в погоне за популярностью, в том, что Дантон ловко раздувал грозящую отечеству опасность и пугал Конвент новым восстанием народа. Он обвинял Дантона в дружбе с Дюмуре.

Робеспьер видел, что Дантон сидит неподвижно, но губы его кривятся в презрительной усмешке, а глаза приобретают жесткий блеск. И Робеспьер понял, что сейчас произойдет окончательный разрыв Дантона с Жирондой.

Дантон сразу потребовал слова. Обращаясь к монтаньярам, он извинился перед ними за то, что не был достаточно последователем, что пытался искать соглашения с правыми. Дантон сказал:

— Я должен воздать вам, граждане, сидящие на Горе, честь, как истинным друзьям народного блага: вы рассудили лучше моего. Я долгое время думал, что,

как ни велика порывистость моего характера, мне следовало соблюдать умеренность, к которой, как мне казалось, обязывали меня обстоятельства. Вы винули меня в слабости и были правы; я признаю это перед всей Францией.

И дальше Дантон разнес Жиронду так, как мог сделать только один он.

6 апреля Дантон был избран в Комитет общественного спасения. Теперь благодаря ему монтаньяры там будут иметь преобладающее влияние. Таким образом Дантон стал лидером монтаньяров в Конвенте.

Не в первый раз Робеспьера отодвигали на вторые роли. Но с Дантоном у него не было никаких счетов. Он понимал, что Дантон может сделать то, что Робеспьеру не под силу. Он объяснял это тем, что четыре года ведет утомительную борьбу, а Дантон сравнительно недавно вступил в бой, еще не устал, полон энергии.

Робеспьер знал свою задачу. Руководить борьбой в Конвенте — сейчас не его дело, с этим успешнее справится Дантон. Но быть теоретиком партии — это по плечу только Робеспьеру. Обосновать и суммировать, доказать несостоятельность, непоследовательность линии жирондистов, убедить, что они-то и являются настоящими сторонниками Дюмурье — это было его прямой обязанностью.

И 10 апреля Робеспьер выступает с речью в Конвенте.

После этого выступления «болото» стало медленно склоняться влево, а жирондисты, кажется, впервые поняли всю серьезность нависшей над их партией опасности. Для монтаньяров речь Робеспьера стала манифестом.



Но чтобы революция могла сделать еще один шаг, недостаточно было разоблачить Жиронду. Стране требовалась новая конституция. И Робеспьер разработал «Декларацию прав человека», которая была принята Якобинским клубом. Эту декларацию монтаньяры противопоставили доктрине Кондорсе и жирондистов.

Ключевым моментом обеих программ был вопрос о собственности. Жирондисты утверждали, что всякий человек волен распоряжаться по своему усмотрению личным имуществом и личными капиталами. Робеспьер же заявлял, что собственность есть принадлежащее каждому гражданину право располагать той частью имущества, которая гарантирована ему законом. Отвечая жирондистам, Робеспьер говорил:

— В глазах всех этих людей собственность не зиждется ни на каком нравственном принципе. Отчего ваша декларация прав делает, по-видимому, ту же ошибку в определении свободы, первого из благ человека, священнейшего из данных ему природою прав? Мы справедливо сказали, что пределами свободы служат права других: отчего же не применили вы этого принципа к собственности, которая есть учреждение социальное, как будто вечные законы природы менее ненарушаемы, чем договоры людей? Вы увеличили число статей, чтобы обеспечить пользованию собственностью наиболее широкую свободу и никак не определили природу и законность собственности; таким образом, ваша декларация представляется написанною не для людей, а для богатых, для скупщиков, для спекулянтов и тиранов.

Уже в конституции Робеспьер закладывал основы для тех ограничительных мер, которые могут быть применены против скупщиков и спекулянтов. Он уза-

конивал те санкции, которых громко требовал Париж. Это служило предпосылкой грядущего союза монтаньяров и «бешеных».

Народные массы пошли за Робеспьером, пошли за якобинцами, потому что якобинцы в своей конституции провозгласили право на труд*, признали богатство за долг по отношению к бедняку. Якобинцы предлагали освободить от налогов всякого, кто добывает только необходимые средства пропитания; признать общественные должности общественной обязанностью. Якобинцы провозглашали нерушимый принцип братства людей повсюду и навсегда.

Но это были вопросы стратегии. А сейчас все решала тактика. Тактика не столько борьбы в Конвенте, сколько взаимоотношений с Парижем, опорой монтаньяров.

Робеспьер чувствовал, что прошли те времена, когда одного его слова было достаточно, чтобы изменить настроение секции. Руководители Коммуны Шомет и Эбер теперь имели большое влияние. Их поддерживали Варле и Жак Ру. Но для всех этих новых людей бесспорным авторитетом оставался Марат.

Влияние Марата особенно усилилось с тех пор, когда эмигрировал Дюмурье. Ведь Дантон и Робеспьер защищали Дюмурье, считая его лучшим полководцем Франции. И только Марат последовательно и непреклонно разоблачал его, обвиняя в изменах, в заговоре против республики. Марат оказался прав.

Робеспьер, который еще в эпоху Учредительного собрания занимал свою особую позицию, теперь все больше утверждался в мысли, что революция будет спасена только при условии единения всех демокра-

* Что означало право свободной продажи труда.

тов. Еще не известно, сумели бы договориться Дантон и Марат, не будь между ними Робеспьера. А Марат в отличие от Дантона был человеком тяжелым и вспыльчивым. Тут уже Робеспьеру приходилось лавировать.

Но если говорить откровенно, поведение Марата раздражало Робеспьера. Робеспьер был старый «законник», и созыв Конвента был делом его рук. Через Конвент, путем мудрых и справедливых законов, Робеспьер надеялся установить во Франции царство справедливости. А Марат относился к Конвенту весьма иронически, депутатов считал болтунами. И своими дерзкими высказываниями он без конца раздувал огонь партийной борьбы, которая и без того не утихала. Марат недвусмысленно требовал диктатуры, а диктатура означала нарушение тех принципов, грядущему торжеству которых посвятил свою жизнь Робеспьер. Но Марат — могущественный союзник в борьбе с Жирондой. И Робеспьер старался не ссориться с Маратом.

Но иногда он не выдерживал.

...Гаде зачитывает изданный клубом якобинцев и подписанный Маратом документ. В этом мрачном послании Марат утверждал, что Конвент проданся английскому двору.

Марат с места подтверждает: «Это правда!»

Три четверти депутатов встают и кричат: «В тюрьму аббатства!»

Конвент постановляет препроводить Марата в аббатство, а на следующем заседании вынести декрет о привлечении его к суду.

При этом известии вспыхнули секции, загремели предместья. Коммуна пришла в негодование. Сначала в тюрьму Марата, потом Робеспьера, потом Дантона, потом всех остальных монтаньяров?

На следующий день возбуждение в Конвенте достигло предела. Интересы партийной борьбы диктуют тактику: все за одного! Депутат Дюбуа-Крансе кричит: «Если это письмо преступно, то привлечите меня декретом к суду, потому что я его одобряю».

Депутаты крайне левой вскакивают со своих мест.

— Мы все одобряем его, мы готовы подписать его!

Первым к бюро спешит художник Давид. За ним все остальные монтаньяры.

Медленно подходит к бюро Робеспьер. Да, единство сейчас крайне необходимо. Но ведь письмо Марата несправедливо! Это же неправда, что Конвент проданся Питту. Подписать письмо — значит дискредитировать Конвент в глазах всей Франции. Робеспьер берет перо, обмакивает его в чернила... откладывает перо в сторону и уходит.

Но он знает, что революционный трибунал, состоящий из людей, близких монтаньярам, оправдает Марата. С какой-то горькой иронией он подумал, что этот суд, эта затея жирондистов теперь сделают Марата самым популярным человеком в Париже.

Все произошло именно так, как предвидел Робеспьер.

* *
* .

Дантон, Марат и Робеспьер.

В апреле 93-го года Робеспьер оказался последним в этой троице, так сказать, уже не на второй, а на третьей роли.

Понимать все это было не очень радостно человеку, который привык быть первым. Теперь, конечно, можно предаваться воспоминаниям: мол, было время, когда его слово оказалось решающим, чтобы отправить на гильотину державного монарха, законного

короля Франции. Ведь еще четыре года тому назад, когда он вместе с депутатами третьего сословия протискивался в узкую дверь Генеральных штатов, и за этой безликой толпой спесиво наблюдали разряженные вельможи, — мог ли кто-нибудь тогда предположить, что к словам одного из них, никому не известного Робеспьера, будет прислушиваться вся страна, что его мысль будет определять политику Франции? И даже в трудное для Робеспьера время, когда Луве напал на него со своими яростными обвинениями, эта оголтелая злоба была почетна для Робеспьера, ибо все тогда понимали, что Луве обвиняет не Робеспьера — человека (хотя формально это выглядело так) — в лице Робеспьера обвинялась революция. Да, конечно, можно было предаваться воспоминаниям...

Но страшнее было другое. Ведь дело не в том, что тебя отодвигают на третьестепенное место, дело в том, что сам не видишь себе места в надвигающихся событиях.

Собственно, чего он добился? Вся его деятельность была направлена на то, чтобы установить во Франции демократию и порядок. Да, он настаивал на верховной власти Конвента, законного представителя народа. Он отдал этому делу лучшие годы своей жизни. Но что же получается? Где демократия? Где законность? Жирондистское большинство Конвента использует парламентскую демократию для того, чтобы зажать рот истинным патриотам. Жирондистское правительство направляет острие закона против народа, против революции.

Депутаты, которые еще год назад плечом к плечу боролись против монархии, теперь рвутся сразиться в рукопашной схватке. Депутаты, которые стойко и последовательно боролись за установление республики, теперь стремятся продать ее богачам и спеку-

лянтам, а своих инакомыслящих коллег засадить в тюрьму.

Кажется, во Франции восторжествовал разумный демократический порядок. Но грош цена этому порядку, если ничего нельзя сделать для народа. Робеспьер чувствует свое полное бессилие. Он устал от бесполезных переговоров с лидерами Жиронды. Какой смысл произносить речи, когда их упорно не хотят слышать те, к кому они обращены.

Значит, вся предыдущая деятельность Робеспьера не имела смысла? Ведь опять страна стоит на пороге грозных потрясений. Получается, что только Марат, Эбер, Жак Ру знают, куда дальше идти, как должна поступать революция. Значит, новый государственный переворот? И неужели Робеспьер, который отстаивал демократические принципы Конвента, должен согласиться с насильственными методами политической борьбы?

Но есть ли другой выход? Увы, иного выхода Робеспьер не видит.

Грустно сознавать, что все твои благие намерения пошли прахом. Где уж тут быть оптимистом...

Конец апреля, начало мая 93-го года. В действиях Робеспьера заметна неуверенность и осторожность. Все больше он убеждается, что для спасения страны и революции нужно пойти на установление диктатуры. Но слишком хорошо понимает он, что принесет с собой диктатура. Во всяком случае, не тот демократический строй, о котором мечтал.

В Конвенте Робеспьера почти не видно за широкими плечами Дантона. В клубе он все больше склоняется на сторону людей, рупором которых является Марат.

* *

*

6 мая в клубе якобинцев Робеспьер предлагает сформировать в Париже революционную армию, завести повсюду в городе мастерские по изготовлению оружия, подчинить всех подозрительных людей деятельному надзору и принять на счет государства расходы по вознаграждению бедняков, которые будут привлечены к этим гражданским обязанностям.

— Но, может быть, вы думаете,— продолжает Робеспьер,— что вам следует поднять бунт, придать своим действиям вид восстания? Ничуть. Врагов наших надо искоренить путем закона. Очень возможно, что не все члены Конвента одинаково любят Свободу и Равенство, но большее число их решилось поддерживать право народа и спасти Республику.

Но 18 мая Жиронда учредила Комитет двенадцати. Председатель Конвента Изнар неистовствовал и буквально зажимал рот монтаньярам. На улицах опять появились роялисты. Прикидываясь сторонниками Жиронды, они предлагали расправиться с Горой. Жирондисты первые начали стягивать к Конвенту верные им войска.

И тогда Робеспьер призвал расправиться с заговорщиками. Он сказал, что пришла пора восстать народу, что все законы нарушены, деспотизм дошел до последнего предела, и нет уже ни добросовестности, ни стыда.

— Если Парижская Коммуна не соединится с народом, не образует с ним тесного союза, то она нарушит свой первый долг... Я не способен предначертать народу средство к его спасению; сделать это не дано одному человеку, не дано и мне: я изнурен четырьмя годами революции и раздирающим душу зрелищем торжества тирании. Я гибну от медленной

горячки, особенно от горячки патриотизма. Вот и все: другого долга мне больше не остается выполнить в настоящую минуту.

Но в епископском дворце уже заседали «бешеные». Туда отправляется Марат и выступает с зажигательной речью. Назначенный Коммуной новый главнокомандующий Анрио ведет вооруженные секции к Конвенту. Коммуна требует ареста двадцати двух видных деятелей Жиронды.

Рубикон перейден. Теперь нет места колебаниям. На заседании Конвента 31 мая Робеспьер решительно поддерживает петицию об аресте двадцати двух депутатов.

Комитет двенадцати упразднен, но предложение Робеспьера отклонено. Очень незначительным количеством голосов. Это было знаменательно. «Болото» переходило на сторону монтаньяров. («Болото» всегда дружно голосовало за сильных. Но сейчас армии жирондистов были далеко, а Париж стоял за дверью.)

Действиями Коммуны руководил Марат. Первого июня он явился в ратушу. Под одобрительные крики и рукоплескания произнес следующие знаменательные слова:

— Если представители народа обманут его доверие... народ должен спасти себя сам. Встань же, народ-государь, явись в Конвент, прочти свой адрес и не отходи от решетки до тех пор, пока не получишь окончательного ответа.

Потом Марат поднялся на часовую башню ратуши и сам ударил в набат.

2 июня Конвент оцеплен войсками Коммуны. Народ поклялся, что не выпустит депутатов из зала, пока не будет удовлетворена петиция и не примут декрет об аресте двадцати двух жирондистов.

Депутаты растеряны. Но вот раздаются крики: «Это насилие! Это надругательство над народными представителями!»

Барер предлагает всему Конвенту выйти на площадь.

Возглавляемые председателем Эро де Сешелем, депутаты медленно тянутся к выходу.

Робеспьер молчит. Арест депутатов противоречит конституции, Жиронда получает то, что заслуживает. Поднявший меч от меча и погибнет.

Вот вышли жирондисты, за ними — депутаты «болота», начали спускаться монтаньяры. Лишь Марат и его ближайшие друзья застыли в полной неподвижности на своих местах. Робеспьер поднимается и идет к выходу. Нет, это не знак сочувствия Жиронде. Просто он хочет увидеть сам то, что произойдет.

...У входных ворот Конвент как бы споткнулся. На Карусельной площади стояли войска. Впереди с султаном на голове торжественно восседал на хрипящем коне генерал Анрио.

— Чего хочет народ? — спросил Эро де Сешель. — Конвент озабочен только его счастьем.

— Народ, — ответил Анрио, — восстал не для того, чтобы выслушивать фразы, а для того, чтобы давать приказания. Он хочет, чтобы ему были выданы тридцать четыре преступника.

Несколько депутатов закричало: «Пусть выдадут нас всех!» Жирондист Лакруа, стоявший около Робеспьера, заплакал: «Никаких средств больше нет, свобода погибла».

Анрио осадил своего коня и скомандовал:

— Канониры, к орудиям!

Конвент послушно возвратился в зал заседаний и принял декрет об аресте двадцати двух жирондистов.

Робеспьер испытывал чувство большее, чем радость. Кажется, разом пропали усталость и отчаяние последних месяцев. Да, он утомлен изнурительной парламентской борьбой, но он увидел силу, на которую теперь будет опираться.

Батальоны вооруженных патриотов; верные Коммуне генералы, решительные канониры — вот она, военная диктатура народа, вот та сила, которая поведет революцию вперед.

Он понял, что победа достигнута только благодаря союзу всех левых: дантонистов и маратистов, якобинцев и «бешеных». Они объединились в момент наибольшей опасности. Союз, может быть, и не очень прочный — уж очень различны настроения этих группировок, — однако он необходим. В нем залог безопасности Франции и успешного развития революции. Но сохранить это единство может только один человек — он, Робеспьер.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Робеспьер вспоминает последний год

Это был фанатик, чудовище, но человек неподкупный, неспособный осудить кого-либо на смерть из личной вражды или кровожадности. В этом отношении можно сказать — он был честный человек.

Наполеон Бонапарт

Мальчик лет шести выскочил на аллею, сделал несколько шагов и остановился в нерешительности. Его, вероятно, заинтересовала собака, но подойти он боялся. Ньюфаундленд сидел тихо, прикрыв глаза, и мальчик боком, осторожно стал продвигаться к скамейке. Наконец любопытство взяло верх над осторожностью. Он подошел совсем близко и спросил:

— Дядя, как зовут собаку?

— Его зовут Брунт.

— Он не кусается?

— Нет, он умный. Зачем ему кусаться?

Но тут на аллее показалась женщина, очевидно мать ребенка. Быстрым шагом, почти бегом, она направилась к скамейке.

— Максимилиан, иди сюда, — крикнула женщина. В ее голосе звучал испуг. — Не мешай дяде, видишь, он думает.

— Не беспокойся, гражданка, он мне несколько



по мешает, — сказал Робеспьер и обратился к мальчику: — Хочешь конфету? — Мальчик только засопел. Робеспьер протянул ему конфету. Мальчик сразу сунул ее в рот. Робеспьер пригладил волосы ребенка, и мальчик это стерпел, не отодвинулся, потому что его заинтересовала собака. Он не спускал с нее глаз. Молодая женщина стояла в нескольких шагах и с явным беспокойством наблюдала за этой сценой, но когда Робеспьер переводил взгляд на нее, она тут же начала улыбаться. Видимо, ей очень хотелось, чтобы мальчик ему понравился, и все-таки Робеспьер чувствовал, что ей было бы спокойнее, если бы он отпустил мальчика.

— Он, наверно, тебе помешал, — сказала молодая женщина.

— Нисколько, гражданка. Я очень рад, что его зовут Максимилиан.

— Его назвали в честь тебя.

Сказав эту явную ложь, женщина покраснела. Действительно, кто мог шесть лет тому назад назвать сына в честь никому не известного Робеспьера?

Робеспьер встал, и сразу поднялся Брунт.

— Счастливо оставаться, гражданка, — сказал Робеспьер и пошел по аллее. Брунт, неслышно переступая лапами, последовал за ним. Робеспьер не оборачивался, но знал, что женщина все еще стоит на месте и смотрит ему вслед.

Стоял обычный для мессидора * день, теплый, на

* Конвент декретировал начать французское летоисчисление со дня основания республики, то есть с 21 сентября 1792 года.

Календарь был разработан Фабром д'Эглантинем по следующему принципу:

месяц снега с 22 декабря по 22 января назывался нивозом, месяц дождей с 22 января по 22 февраля — плювиозом, месяц ветра с 22 февраля по 22 марта — вантозом.

небе ни облачка. Но здесь, на аллее, скрытой от лучей солнца тяжелыми ветвями старых деревьев, было прохладно.

Робеспьер свернул на заросшую, вероятно, забытую дорожку, пошел по ней, и ему показалось, что он в совершенном уединении, что тут его вряд ли увидят редкие для этих мест прохожие. Он нашел старый широкий пенек и удобно устроился на нем.

Он не понял, сколько времени просидел так, и вдруг очнувшись, огляделся по сторонам — нет, никого. Он был не очень уверен, что ему и на этот раз удалось отделаться от своих добровольных телохранителей. Может быть, они где-нибудь там, за деревьями, незаметные для него. Им со стороны, наверное, кажется, что он занят составлением каких-то планов, решает важные государственные задачи. Но он-то точно знал, что за все время, которое тут пробыл, ни о чем не думал. То есть мелькало что-то пустяковое, вроде того, что вот растет трава, вот какой рисунок можно разглядеть на коре этого дуба, вот как набегаящий ветерок будоражит листву и как будто ничего не происходит, а между тем все кругом растет, дышит, — так, вероятно, и должен жить человек — просто дышать, наслаждаться солнцем и хорошим днем, и это, наверное, естественное его состояние.

А между тем все это было противоестественно. Было противоестественно и дико, что он, Робеспьер, сейчас сидит здесь, когда ему необходимо быть в ко-

По такому же принципу назывались далее месяца:

с 22 марта по 22 апреля — жерминаль, с 22 апреля по 22 мая — флореаль, с 22 мая по 22 июня — прериваль, с 22 июня по 22 июля — мессидор, с 22 июля по 22 августа — термидор, с 22 августа по 22 сентября — фруктидор, с 22 сентября по 22 октября — вандемьер, с 22 октября по 22 ноября — брюмер, с 22 ноября по 22 декабря — фример.

митете, в Конвенте, в Военной школе Марса, в Якобинском клубе.

Он должен быть там не по обязанности чиновника, не потому, что депутату неудобно пропускать заседания, не как рядовой инспектор, проверяющий подготовку будущих командиров, не как добросовестный якобинец, пришедший узнать новости. От него ждут решений, от него ждѹт приказа, от него зависит судьба многих людей.

Колесо фортуны вынесло его на вершину власти. Комитет называют робеспьеровским. Конвент прислушивается к каждому его слову. Якобинский клуб, который держит в руках всю Францию, верит только ему.

Ведь это он, Робеспьер, спас страну в страшную осень 93-го года.

Ведь это он нынешней зимой провел корабль революции мимо подводных рифов заговора и раскола.

На смену атеистическому хаосу, разъедающему Францию, пришла новая революционная религия. По мановению руки Робеспьера весь Париж пел хвалу Верховному Существо.

Начиная с 1789 года, страну разрывали на части враждебные партии. Роялисты плели паутину интриг. Заговорщики замыслили предательство. Ловкие ораторы подсовывали коварные доктрины. Продажные писаки сеяли клевету и обливали грязью патриотов. Несколько раз казалось, что Франция падет под ударом коалиционных армий.

Теперь революционные войска одерживают одну победу за другой. Теперь не слышно голосов защитников аристократии. Теперь страна подчиняется единой партии, единой мысли, единой воле.

И Робеспьер определяет дальнейший ход революции.

Но еще рано успокаиваться. Нет долгожданной ясности. Напрасно он рассчитывал на то, что когда-нибудь наступит хоть какая-то кратковременная передышка. Наоборот, после решения первых неотложных задач возникли новые проблемы, еще более сложные.

Например, в республике существует революционный трибунал. Может быть, он занят тем, что уничтожает остатки аристократии? Нет. Он арестовывает граждан, оказавшихся по случаю праздника пьяными. Благодаря такому удачному применению закона все контрреволюционеры остаются в полной безопасности.

Другой вопрос. Как быть с террором? Усилить его или приостановить? Может, пришла пора ввести в действие конституцию 93-го года? Но не приведет ли это к оживлению деятельности заговорщиков?

Что делать с максимумом? Ясно, что максимум не решает продовольственных проблем. Но отменить его и развязать руки спекулянтам?

Французские армии перешли границы. Что дальше? Восстановить экономику Франции за счет контрибуций? Но ведь это противоречит принципам революции!

Надо дать ответ. Надо ответить быстро, ясно и точно. Нельзя больше оттягивать решений, надо действовать.

Но где же Робеспьер? Его не видно ни в Конвенте, ни в комитете. Он целые дни проводит в лесу, разглядывает разные листочки, цветочки, ничего не делает, ничего не хочет делать, ни о чем не хочет думать — и это состояние кажется ему вполне естественным.

Нет, конечно, все не так. Он опять во власти этих проклятых вопросов. Ему от них не скрыться. Он отвечает за все: и за то, что было, и за то, что будет.

И вот тут он понял, что настал момент ответить еще на один вопрос — он долго избегал его, кружил по полям и лесам, и физическая усталость заглушала все, но теперь, видимо, пробил час, — вопрос, страшный в своей простоте: «Господи, что же произошло, как же так получилось, что я остался один?»

Сестра, крепко держа его за руку, привела в большой дом, очень большой дом с очень большой комнатой и с таким высоким потолком, что его не было видно, его не было видно потому, что в комнате было совсем темно и горели свечи, а свечи горели потому, что не было окон, а были бы окна — было бы светло, ведь светло было на улице, где светило солнце. Он знал, что этот дом называется собором, и его обычно сюда приводила мама, а сейчас мама болела, она лежала в своей маленькой спальне, и он к ней приходил, и она его целовала в лоб, но в последние дни его к ней не пускали, говорили, что нельзя, и почему-то плакали.

В этом доме — соборе — очень странно пахло и было много взрослых, одетых одинаково, в черную одежду. Он подумал, что ничего не увидит за их спинами, но Шарлотта повела его на переднюю скамейку. На высоком столе стоял ящик, около которого лежали цветы. И заиграла музыка, и большие дяди, одетые очень странно, в платье до пят, ходили вокруг стола и говорили между собой о чем-то непонятном, и это было совершенно неинтересно, а он все оборачивался и пытался понять, где спрятана музыка, которая играла. Потом появились мальчики в длинной одежде, которые тоже ходили за взрослыми, но они не просто ходили — они пели. В одном из мальчиков он узнал Клода. Клод был уже большой, учился и жил на

соседней улице. Он крикнул: «Клод!» Но сестра повернула к нему красное лицо, больно ущипнула за руку, и тогда он заплакал.

Скоро все кончилось, и взрослые пошли к выходу, а он все не мог успокоиться и плакал, и некоторые взрослые тоже плакали и гладили его по голове. А один дядя, которого он где-то видел, поднял его на руки и сказал, что все будет хорошо, что все пройдет, что такова воля божья, но он, Максимилиан, скоро вырастет, станет совсем большим, и тогда уж обязательно все будет хорошо.

И вот прошло много лет. Он стал «совсем большим», но то хорошее, что пообещал ему этот добрый человек, так и не наступило. Да, тогда его легко было успокоить — ему было примерно столько же, сколько этому мальчику, которого сегодня он встретил на аллее. Что ж, пожелаем ему иной, более счастливой судьбы. А впрочем, мальчик тут ни при чем. Не из-за него он вспомнил смерть матери. Это просто печальный признак его теперешнего состояния. Это просто конец Робеспьера. Раньше он знал, что может работать когда угодно, где угодно и сколько угодно. В этом была его сила, он этим гордился. А теперь, проклятие! — он не может сосредоточиться на чем-то одном. Мысли скачут. Какие-то ненужные воспоминания. Господи, как он устал. Ну, ладно, хватит, надо собраться. Надо взять себя в руки. Ведь он прошел самое главное.

А вообще удивительно, как он все это выдержал, как он не сломался раньше! И ведь не только он один. Удивительно то, как революция выдержала бешеный неистовый натиск внешних и внутренних врагов, как она выстояла, как она победила!

мудрый и спокойный человек (конечно, не ты), хочет разобраться в том, что же произошло после 2 июня 1793 года. И на Робеспьера этот человек смотрит без ненависти или любви, а объективно, со стороны.

Итак, 2 июня 1793 года. Повержена могущественная партия жирондистов.

Разгромив жирондистов, монтаньяры не стремились мстить побежденным. Только лидеры Жиронды были подвергнуты формальному домашнему аресту. Монтаньяры не сводили личных счетов, они занялись неотложными государственными делами.

Конвент принял новую конституцию, конституцию 93-го года, дающую всем гражданам самые широкие демократические права.

Конвент декретировал передачу крестьянам общинных земель и раздел этих земель между членами общины.

Конвент декретировал окончательное уничтожение феодальных прав. Крестьяне сожгли феодальные грамоты.

Конвент решил оказать материальную поддержку многодетным санкюлотам и престарелым.

Все эти декреты не преследовали каких-либо своекорыстных интересов — они были продиктованы интересами народа.

Несмотря на суровое военное время, Конвент занялся вопросами просвещения. Были созданы интернаты для воспитания детей. Обучение стало всеобщим и бесплатным. Конвент декретировал составление новой грамматики и словаря, принял единую метрическую систему мер и весов, преобразовал календарь.

По приказу Конвента восстанавливались мосты и прокладывались дороги.

Могла ли еще какая-либо партия предложить иную, позитивную программу в противовес той, которую проводил якобинский Конвент?

Нет, не было другой программы. Наоборот, всем стало ясно: успешная деятельность монтаньяров приведет к тому, что во Франции окончательно восторжествуют революционные принципы.

И испугавшись этого, другие партии открыто перешли в стан врагов.

Лидеры жирондистов, все те, кто смогли сбежать из Парижа, подняли антиправительственный мятеж в департаментах. Ведомые жирондистами южные провинции пошли войной на Париж. Марсель и Бордо выступили под знаменем федерализма. Роялисты в Тулоне пригласили английский флот. Вандейцы штурмовали верные республике города. В Лионе контрреволюционеры перерезали всех патриотов. 13 июля заговорщики убили Марата.

Вот как действовали правые.

В самом Париже неистовствовали так называемые ультрареволюционеры — анархисты, «бешеные». Все, что предлагалось монтаньярами, не устраивало Жака Ру, Леклерка и Варле. Сначала они протестовали под тем предлогом, что в конституции не было закона, предающего смерти скупщиков. Монтаньяры приняли этот закон. Но «бешеные» не успокоились. Теперь они требовали немедленного введения конституции, а это в сложившихся условиях привело бы страну к анархии.

Он был уверен, что «бешеные» выступали против Конвента только потому, что правительство было в руках якобинцев, а не подчинялось Жаку Ру.

Нетрудно представить, к чему привела деятельность врагов. Летом 93-го года положение на фронтах было просто ужасным. Франция казалась такой бес-

сильной, что интервенты даже не торопились. Шел бесстыдный и циничный дележ страны.

Вот тогда-то монтаньяры вынуждены были установить свою диктатуру и сосредоточить всю исполнительную власть в Комитете общественного спасения.

Диктатура осуществлялась через этот комитет, через Комитет общественной безопасности, а также через комиссаров — депутатов Конвента, посланных в департаменты с неограниченными полномочиями, через местные революционные комитеты и народные общества, подчиненные Якобинскому клубу.

Дважды обновлялся состав Комитета общественного спасения, и все равно его продолжали критиковать за недостаток решительности и твердости.

27-го июля после неоднократных приглашений в состав комитета был избран Робеспьер. Спустя примерно месяц в комитет ввели Билло-Варена и Колло д'Эрбуа. Так окончательно сложилось то революционное правительство, которое поистине совершило чудо: в предельно короткий срок поставило всю страну под ружье, разгромило внешних и внутренних врагов.

Господи, что это была за работа! Сейчас, вспоминая те дни, он не может понять, как членам комитета хватало двадцати четырех часов в сутки, чтобы справиться с лавиной дел. Казалось, не хватит никаких сил человеческих. А ведь тогда — не то, что сейчас, — каждый день был решающим, каждый день судьба революции висела на волоске. Но каждый день он шел в комитет, как на праздник. Ему было легко и приятно работать с людьми, которые понимают друг друга с полуслова, абсолютно доверяют друг другу.

Каждый чувствовал, что за ним наблюдает и его поддерживает вся страна.

Они не делили посты, не завидовали тому, что у одного власти больше, у другого меньше, каждый

член комитета знал, в какой области он мог принести больше пользы. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон занимались вопросами высшей политики, Эро де Сешель — внешней политикой, Барер, Билло-Варен, Колло д'Эрбуа — осуществляли через комиссаров связь с департаментами. Карно и Приьер отвечали за армию, Сент-Андре — за флот, Ленде — за продовольствие.

И, конечно, члены комитета были равны между собой. Но тем не менее только ему, Робеспьеру, они поручали объяснять политику комитета народу, клубам и Конвенту.

Тогда это не вызывало ни кривотолков, ни сомнений, ибо все понимали, что Робеспьер не просто штатный докладчик. Объяснить — значило отстаивать. Отстоять — значило направить революцию по определенному пути — а это было сложнее всего.

И когда враги называли комитет «робеспьеровским правительством», сам Робеспьер горячо протестовал (это противопоставление его личности остальным было вредно для революции), но в то же время он чувствовал себя направляющей рукой правительства.

Для него задачи революции были предельно ясны. Цель ее — осуществление конституции в интересах народа и всеобщего счастья. Главные враги революции — порочные люди и богачи. Их средства борьбы — клевета и лицемерие. Причины, облегчающие применение этих средств, — невежество санкюлотов. Главное препятствие к установлению свободы — война внешняя и гражданская.

Все понимали, что сначала нужна была военная победа. Но победить можно было только благодаря единству всех революционных сил. Осенью 1793 года один лишь Робеспьер смог сохранить это единство.

ционное правительство, Робеспьер пошел на союз с Эбером. Он вовремя понял, что в данный момент Эбер тоже выступит против «бешеных», потому что агитация Жака Ру отталкивает от революции мелких торговцев, опору Эбера. Эбер был одним из вожаков Коммуны. Уступая в каких-то вопросах Эберу, Робеспьер тем самым добивался полной поддержки всех мероприятий комитета со стороны Коммуны.

В то же время он не пошел на поводу у экстремистов и отказался выдать революционному суду депутатов Конвента, членов бывшей жирондистской партии. Большинство Конвента, ранее бесспорно сочувствовавшее жирондистам, теперь послушно следовало за Комитетом общественного спасения, ибо видело в нем своего защитника.

Однако враги революции решили умертвить голодом революционный Париж. Поражения на фронтах приводили народ в отчаяние. 5 сентября сорок восемь комиссаров парижских секций явились в Конвент с требованием: «Законодатели, поставьте террор на очередной порядок!»

Кто-кто, а уж он понимал, какое страшное оружие террор. Он противился террору всеми силами. Однако давление слева нарастало. И правительство произносило страшные слова о терроре, успокаивая парижан, боявшихся голода, и тем самым предотвращало бунт, но продовольствие по-прежнему добывало мирными средствами.

Конвент декретировал установление единых твердых цен на зерно, муку и фураж на территории всей республики. Только так можно было спасти население крупных городов. Но тогда зажиточные крестьяне стали саботировать поставку продуктов. Теперь все чаще приходилось насильственно реквизировать продовольствие. Тогда создали революционную армию по

борьбе с саботажниками. Реквизиция продуктов потребовала принятия декретов против скупщиков и спекулянтов, скрывающих продовольствие, и вообще против всех подозрительных. А это, в свою очередь, привело к усилению террора. Революции надо было защищаться, и она разила своих врагов быстро и беспощадно.

Может быть, кто-нибудь из вождей монтаньяров имел другой план? Ничуть. Дантон предложил ускорить производство судебных дел в революционных трибуналах. Билло-Варен кричал: «Революция затягивается только потому, что принимаются половинчатые меры». Эбер писал: «А главное, пусть гильотины последуют за каждым отрядом, за каждой колонной этой армии».

Надо было разрушить надежды контрреволюционеров на возможность возврата к прошлому, и поэтому перед революционным судом предстали королева Мария-Антуанетта и лидеры жирондистов.

Неожиданно возникла новая опасность. Проповедники атеизма — Клоотс, Шомет и другие — организовали демонстрации, вакханалии в церквях. Их деятельность грозила ввергнуть страну в пучину религиозной войны. Робеспьер знал, что фанатизм — мрачное чудовище, которое прячется от света, но как только его начинают преследовать громкими криками, оно возвращается. И Робеспьер через Конвент провозгласил свободу культа.

Но когда, казалось, самое худшее было позади, когда были разбиты мятежные армии в Лионе, изгнаны контрреволюционеры из Марселя и Бордо, освобожден от англичан Тулон, когда мятежные отряды вандейцев стали терпеть одно поражение за другим, а на границах французские войска одерживали победы — пришла новая беда.

Было время, когда власть в Париже фактически находилась в руках Коммуны. Коммуной заправляли Эбер и Шомет. Потребовался огромный авторитет Робеспьера, его красноречие и политический опыт, чтобы возвысить комитет и Конвент, чтобы наладить связь между Коммуной и клубами, между Конвентом, комитетами — и остальной Францией. Но теперь эбертисты открыто рвались к власти. Они требовали усиления террора ради самого террора. С другой стороны, не менее могущественная группа депутатов Конвента в самый разгар борьбы предлагала прекратить террор, то есть вложить в ножны меч защиты революции. К этой группе примкнул Дантон, который уже давно вышел из состава правительства.

Итак, Дантон оказался с теми людьми, которые, нажившись на спекуляциях, сколотили себе состояние, а теперь, развращенные богатством, хотели остановить революцию в своих корыстных целях. В этом отношении и сам Дантон был далеко не безупречен. Робеспьер пытался образумить Дантона. Он все еще надеялся, что Дантон просто запутался. Но потом узнал, что поведение Дантона не случайно. Афера с ликвидацией ост-индийской компании обнаружила истинных главарей заговора — Питта и Англию. Хотел того Дантон или нет, но он оказался орудием этого организованного на английские деньги иностранного заговора, целью которого была явная контрреволюция.

...Робеспьер все еще пытался сохранить единство. Во время обсуждения в Якобинском клубе, бросая на чашу весов свой авторитет вождя и политика, он дважды спасал Дантона и Эбера и трижды Камилла Демулена.

Но что он мог сделать один? Правительство разрывала фракционная борьба. В клубах комитеты

подвергались нападкам эбертистов, а в Конвенте беспрерывно отбивались от атак дантонистов.

Начиная с декабря 93-го года, каждый день эбертовский «Отец Дюшён» требовал крови, а демуленовский «Старый Кордельер» взывал к милосердию.

Борьба группировок распространилась на всю Францию. Комиссары, посланные на места, обвиняли друг друга, строчили доносы и, пользуясь террором, уничтожали своих противников. Многие комиссары, члены обеих фракций, не упустили случая спекулировать и обогащаться. Все это дискредитировало республику, террор и революцию.

Комитеты продвигались на ощупь сквозь тучи интриг. Вся эта свистопляска чрезвычайно тормозила их работу.

Наступил момент, когда Робеспьер понял, что его слово бессильно перед фракционными страстями и иностранным золотом. А главари фракций, чувствуя свою безнаказанность, совсем обнаглели. Эбертисты решили организовать военный переворот, арестовать революционное правительство и установить свою личную диктатуру.

В такой обстановке от правительства требовались решительные действия. И надо отдать должное комитетам — они оказались на высоте. Эбертисты были разгромлены.

Но рано было торжествовать победу. Робеспьер увидел, что комитеты оказались лицом к лицу перед могущественной партией Дантона. Дантон считал, что правительство в его руках. Дантонисты открыто насмеялись над Комитетом общественного спасения и требовали его переизбрания. Это была уже прямая контрреволюция.

174 Видимо, Дантон думал, что Робеспьер не посмеет выступить против него, героя 92-го и 93-го года. Пос-

ле ареста главарей эбертистской партии влияние Коммуны было подорвано, и Дантон уже ничего не боялся — ведь в Конвенте за ним шло большинство.

Мог ли помнить Робеспьер о былой дружбе, когда судьба революционного правительства висела на волоске?

Вслед за другими членами комитета Робеспьер подписал приказ о предании суду Дантона и его сторонников.

На суде Дантон повел себя вызывающе. Оставить его в живых означало быть под постоянной угрозой свержения правительства. Еще во время суда был раскрыт дантонистский заговор в тюрьмах. Не было другого выхода, как казнить Дантона и Демулена.

Тем самым Робеспьер доказал всей Франции, что революция для него важнее, чем личные взаимоотношения и старая дружба. Он как бы предупредил всех лидеров революции, что никакие бывшие заслуги не спасут их, если они вступят на путь предательства.

Комитет был принципиален и по отношению к себе самому. Когда один из его членов, Эро де Сешель, был обвинен в хищениях и в связи с врагами, Робеспьер, не задумываясь, послал его на гильотину. Члены правительства должны быть так же ответственны перед народом, как и все остальные.

Хотелось бы посмотреть, как без помощи Робеспьера справились бы с Дантоном и Эбером нынешние заправилы Комитета общественного спасения — Барер, Карно, Билло-Варен, Колло д'Эрбуа?

Теперь революционному правительству никто не мешал. Революционный трибунал был сосредоточен в Париже и энергично выкорчевывал остатки роялизма и аристократии. В департаментах наступило спокойствие. Деятельность народных обществ контролирова-

лась Якобинским клубом. Французские армии продолжали свое победоносное шествие.

И тогда настал момент завершить главное дело жизни Робеспьера, то дело, ради которого было пролито столько крови,— создать во Франции государство добродетели и справедливости.

Но для этого требовалось объединить всех граждан единой верой. Если бы бога не существовало, его надо было бы изобрести. Ведь атеизм аристократичен. А мысль о Верховном Существом, бодрствующем над угнетенной невинностью и карающем торжествующее преступление, в высшей степени демократична. Новая революционная религия должна выбить почву изпод ног фанатичных священников и успокоить страну.

И по предложению Робеспьера был введен культ «Верховного Существа».

20 прериаля в Париже и во всех французских городах был организован грандиозный праздник в честь Верховного Существа. Этот день стал днем народного ликования. Даже за границей писали, что Робеспьеру наконец удалось сплотить всю Францию.

А чтобы роялисты и аристократы не мешали, Робеспьер провел декрет о реорганизации революционного трибунала. Оклеветанным патриотам была гарантирована свобода, процесс суда над заговорщиками ускорился. Вот какой смысл имел закон от 22 прериаля.

...Каждый человек рождается для того, чтобы выполнить свою определенную миссию перед остальными людьми. Горе ему, если он пройдет мимо главного дела своей жизни. Человек может добиться успеха, всеобщего признания, но если он чувствует, что еще не исполнено главное, он не находит покоя. И даже если человека преследуют неудачи, если он устал

от изнурительной борьбы, он все равно инстинктивно сохраняет тот запас сил, который понадобится ему для достижения своей основной цели.

Сколько раз Робеспьеру казалось, что он отдал все революции, что он сломался под ударами врагов. Но это была лишь минутная слабость. Враги думали, что они затаптали Робеспьера, а он поднимался вновь. Враги надеялись, что Робеспьер отступил, а он просто собирался с силами.

И вот прошло больше года с тех пор, как были повержены жирондисты. Все случилось не так, как он предполагал, произошло много неожиданного, досадного, возникли непредвиденные трудности — что ж, тем больше чести Робеспьеру, который не дрогнул, и, несмотря ни на что, исполнил свой долг до конца.

Теперь он может смело смотреть в глаза потомкам. Он сделал все, что завещал его учитель, великий Руссо. Более того, ему пришлось выдержать такое напряжение борьбы, которое немыслимо для человека. А он выстоял.

И он счастлив, как должен быть счастлив человек, совершивший *главное*.

Все, что было, должно было быть, и в этом он абсолютно уверен.

Тогда почему он, Робеспьер, по-прежнему окружен врагами? Почему даже его бывшие соратники и друзья затаили против него злобу? Почему одно лишь упоминание его имени вызывает у стольких людей одно чувство — чувство ненависти?

Та зима была особенно холодной — его бил озноб, когда они шли по городу, — дома стояли выбеленные изморозью, но мостовая была черной — и потом, когда они шли по белому лесу и по белой траве, он согрелся: путь длинный и трудно угнать-

177

ся за длинноногим Камиллом. К пруду они вышли неожиданно, он открылся как-то сразу, и все вокруг было белым, и белой была узкая высокая плотина — круглые бревна, поставленные одно к другому, делили пруд на две неравные части, — а лед был черным и прозрачным, и у самого берега застыла зеленая бутылка, казалось, она вот-вот покатится по льду.

Он остановился около плотины. Концы бревен были ровно отпилены, и он подумал, что можно по ним пройти, но тут же отогнал эту мысль — слишком узко и слишком высоко. Потеряешь равновесие и грохнешься на лед, а лед тонкий.

Раздался звон. Станный звон. Сначала реже, потом чаще. Он звонил, угасая.

Робеспьер вздрогнул, повернулся к Камиллу. — Что это?

Камилл рассмеялся.

— Я же обещал, что ты услышишь много удивительного, Макс. Ведь ты, кроме книг, ничего не знаешь. Ты книжный человек. Посмотри, вон на той стороне!

На той стороне были белые деревья, а звон опять повторился. Камилл стоял, засунув руки в карманы.

— Открыть тебе тайну? Под страшным секретом. Никому ни слова? Возьми камешек. Вот. Бросай.

Камешек запрыгал по льду, и лед зазвенел, а когда камешек на излете заскользил, звон пошел непрерывно, но тише, словно смычком провели по тонкой струне.

Они долго кидали камешки и слушали необычную музыку льда.

Спускались сумерки, деревья приобретали фио-

летовый оттенок, синим стал снег, а пруд так и остался темным.

Камилл вдруг крикнул и легко побежал по плотине, а Робеспьер замер и с ужасом смотрел ему вслед. Синий частокол бревен казался еще уже, и Камилл вот-вот должен был сорваться. Но нет, Камилл благополучно добежал до другого берега, махнул рукой и пошел обратно, неторопливо и наивистывая.

— Теперь ты, — сказал он. — Знаешь, как здорово! Ну, не бойся!

Можно было бы под любым предлогом отказаться и не идти. И если бы он еще пару секунд помедлил, он бы не пошел. Но раз Демулен смог (а вечером в колледже Камилл обязательно похваляется), то Робеспьер был обязан.

Он осторожно ступил на гладкие кругляки и пошел, и дошел до середины, а потом остановился, посмотрел вниз, на далекий черный лед, повернулся и, стараясь сдерживать шаг, не делать резких движений, вернулся к товарищу. И странно, он не успел почувствовать страх. Страшно было потом, ночью, когда он проснулся и вспомнил, как стоял на бревнах, и ночью плотина казалась еще уже, а лед еще ниже и темнее. И потом еще не раз ему снилась эта плотина, ноги соскальзывали и он падал и просыпался, не успев долететь до льда. Он больше не повторял этой прогулки. Но тогда он пошел, потому что Камилл долго дразнил его «книжным человеком» и долго уговаривал.

Камилл был сильным и отчаянным мальчиком.

Страшная рука Провидения! Людские судьбы — игрушки. А, может, ему надо было тогда упасть на лед и провалиться? И все было бы кончено, и не

случилось бы того, что произошло через двадцать лет. Но разве мог предполагать Камилл, что его тихий малоразговорчивый товарищ, «книжный мальчик», превратится в издерганного человека с сухим желчным лицом, человека, от которого матери спешат увести своих детей, человека, который по злой иронии судьбы должен будет послать на смерть своего веселого друга?

Когда-то Робеспьер мечтал, что вот победит революция, и он бок о бок с верными друзьями будет строить государство будущего.

Где же теперь его друзья?

Когда в Учредительном собрании над речами Робеспьера смеялись дворяне, это было понятно. Враги и должны были так поступать.

Когда в 91-м году на Робеспьера ополчились сторонники монархии и авантюристы, агенты богачей, которые стремились втянуть Францию на путь войны и авантюры,— все было ясно. Робеспьер был человеком, который мешал осуществлению их планов.

Когда жирондисты пытались устроить суд над Робеспьером, это все тоже было объяснимо. Впоследствии революция разоблачила их и вынесла суровый приговор.

Удары своих врагов он воспринимал как должное. Было бы странно, если бы враги молчали, если бы они не пытались убить Робеспьера в глазах общественного мнения.

Но когда враги уничтожены, когда даже отъявленные скептики убедились, что в самые сложные моменты, накануне решительных поворотов, Робеспьер всегда оказывался прав; когда народ поверил, что Робеспьер во всей своей деятельности был и остается его верным защитником (и народ воздал ему должное: Робеспьер получает тысячи писем, в домах у па-

триотов висят портреты Робеспьера, его именем называют детей); когда все признали, что из всех деятелей 89-го года один лишь Робеспьер является несменяемым вождем революции; когда казалось, что он завоевал абсолютный авторитет, любовь и уважение, — он вдруг неожиданно становится объектом бешеных злобных обвинений.

Ему говорят, что он хочет установить диктатуру. Ему говорят, что он хочет гильотинировать Конвент. Ему говорят, что он мечтает осуществить какие-то свои, таинственные честолюбивые замыслы.

Его даже посмели публично оскорбить, сказав, что он, Робеспьер, — контрреволюционер.

Кто же так яростно нападает на него: роялисты, аристократы, жирондисты, сторонники разгромленных заговоров? Нет, его друзья, его верные соратники, вожди Горы, члены Комитета общественного спасения.

Разве это справедливо? Это просто чудовищно.

Да, медальоны с изображением Робеспьера многие патриоты носят на своей груди. Но разве он в этом виноват? Да, за границей французскую армию называют солдатами Робеспьера. Но за границей — враги, они пытаются сеять раздоры. Да, иногда в спешке неотложных дел Робеспьер выносит тот или иной декрет прямо на обсуждение Конвента, не посоветовавшись предварительно в комитете. Но разве Робеспьер не заслужил доверия?

Где были Билло-Варен и Колло д'Эрбуа, когда он один отстаивал интересы революции в Учредительном собрании? Почему молчали Карно и Барер, когда он в 91-м году выступал против войны и интриг двора?

Конечно, было бы странно, если бы мы, то есть те, кто борется против королей, заговорщиков и всех

чудовищ земли, те, на кого ополчилась вся феодальная Европа, — не обнаруживали рядом с собой врагов. Эти враги среди нас, они стараются сеять обиды, они нашептывают народным представителям, которые были в командировке и отозваны Конвентом, что против них замышляют интриги. Они пробуют все средства против правительства, созданного национальным Конвентом. Стоит только появиться группе недовольных, как обязательно к ней присоединятся все интриганы республики, всевозможные плуты и распутные люди.

Именно поэтому Робеспьер добился принятия Конвентом закона о реорганизации революционного трибунала.

С врагами надо справляться быстро и беспощадно, пока они не успели сплести нити заговора. Быстро и четко работает Конвент после того, как ликвидированы фракции Дантона и Эбера! Такую же быстроту надо придать и революционному суду. Ибо аристократы и заговорщики всегда найдут массу юридических зацепок, чтобы обмануть следствие, запутать суд, в то время как простой ремесленник в силу своего недостаточного образования бессилен против крючкотворства. Теперь, после этого закона, закона от 22 прериаля, положение изменилось. Отныне виноваты или не виноваты люди, представшие перед судом, должна определять революционная совесть судей. Только так революция сможет быстро и справедливо справиться со своими врагами. Кажется, это было ясно всем.

И однако нашлись депутаты, протестующие против этого закона. Видимо, замаскированные интриганы поняли, что им угрожает.

Выступая в Конвенте, Робеспьер не называл имен. 182 Горе тем, кто сам себя называет. Бурдон пытался от-

менить декрет. Когда Робеспьер одернул Бурдона, тот так испугался, что, говорят, до сих пор не может встать на ноги, лежит больной. Очевидно, у Бурдона нечиста совесть. Но разве справедливо обвинять Робеспьера в том, что он хочет гильотинировать Конвент, Робеспьера, который в тот момент, когда со всех сторон кричали «Смерть жирондистам!», спас жизнь семидесяти трем депутатам, по недомыслию следовавшим политике Вернио и Гаде?

Робеспьер просил Конвент помочь комитету и не позволять врагам разъединить комитет с Конвентом. Комитет — это только часть Конвента, без Конвента правительство — ничто.

— Дайте нам силу нести то огромное, почти сверхчеловеческое бремя, которое вы сами на нас возложили. Будем же всегда справедливыми и сплоченными наперекор нашим общим врагам! — вот с каким призывом обратился Робеспьер к депутатам.

Почему же тогда на последующем заседании комитета Колло д'Эрбуа, Барер, Карно, Билло-Варен выступили против Робеспьера и против закона 22 пре-риала?

Страшно думать, что щупальца иностранного заговора проникли и в стены комитета.

Бесспорно, среди мелких служащих правительства есть иностранные агенты. Робеспьер уже давно ввел такой порядок — держать один план для себя, а другой, якобы официальный, для служащих. Пусть этот второй, липовый план сбивает заговорщиков с толку. Но это нормальная мера предосторожности. Речь сейчас не об этом, речь сейчас о самих членах правительства. Что толкнуло их подняться против Робеспьера? Все-таки невозможно поверить, что они продались агентам Питта. Остается предположить другое. Что?

Они не поверили Робеспьеру. Они испугались. Они подумали, что этот закон нужен Робеспьеру для того, чтобы укрепить свою личную власть. В этом законе, который опасен только для врагов республики, они увидели опасность для самих себя, в том случае, если захотят изменить революции.

Жалкие трусы! Ведь подписав приговор Дантону, Робеспьер лишился своего щита. Теперь, после прецедента с Дантоном, могут осудить и самого Робеспьера. Что ж, пусть судят, если он предаст революцию.

Но пока бывшие соратники Робеспьера предают его самого.

Неужели, когда близка победа революции, вдруг выяснится, что ее вождям нужна была власть ради самой власти, а террор — только для того, чтобы отделаться от своих соперников?

Но, может, это проявилось только сейчас? Люди меняются. Власть пьянит. Стоит посмотреть, как гордо восседают в Конвенте Барер и Билло-Варен. Как важно и надменно разговаривают с депутатами Колло д'Эрбуа и Карно. Им, видимо, нравится, что многие честные, но робкие депутаты испытывают страх перед членами правительства.

Но правительство не должно внушать страх. Оно должно внушать лишь уважение. И это уважение оно заслужило своей революционной деятельностью. Однако Бареру кажется, что авторитет у правительства появился только благодаря его личным заслугам.

Конечно, хорошо, что разбиты фракции, что никакие интриганы не мешают работе Конвента; но все-таки иногда Робеспьер ловит себя на том, что ему хочется, чтобы сейчас на трибуне появились Вернио или Гаде, или насмешливый Фабр д'Эглантин, или язвительный Демулен. Они бы мигом сбили спесь с ново-

явленных «вождей». Разве кто-нибудь расслышал бы визгливые выкрики Колло д'Эрбуа среди мощных голосов лучших ораторов Конвента?

Старые вожди революции продирались сквозь интриги врагов, они боролись с поборниками аристократии. Они осторожно нащупывали верный путь. Многие из них погибли от злодейского кинжала. Другие, теряя силы, сами запутывались, отступали... А эти? Эти тихо выжидали, пока гиганты перебьют друг друга. Робеспьер вспоминает, как иступленно они требовали головы Дантона. И когда из всех прежних якобинских вождей остался один Робеспьер, который своим авторитетом и своими заслугами внушает опасение и зависть мелким интриганам, — они начали копать могилу ему.

Кто такой Барер? Человек, который находил общий язык даже с Барнавом. Человек, который обладает виртуозным умением перекидывать мост между двумя самыми противоположными убеждениями. В свое время он третировал Робеспьера и пренебрежительно не замечал его, но потом, почувствовав в нем силу, стал бесстыдно льстить. У Барера действительно непостижимо тонкое чутье: он всегда точно знает, куда дует ветер. Он обладает удивительным талантом на долю секунды опередить всех и выскочить на трибуну с предложением, которое уже висит в воздухе, с декретом, принять который диктуют сложившиеся обстоятельства. Барер — ловкий оратор и рожденный дипломат. Бесспорно, эти его личные качествагодились революционному правительству в период, когда приходилось лавировать между дантонистами и эбертистами. Но флюгер никогда не может вести самостоятельную политику. За чью же спину Барер собирается спрятаться сейчас? И потом, что за манера докладывать о каждой победе французской

армии так, как будто уже разбиты все силы коалиции? Барер постоянно преувеличивает потери противника. Делает он это якобы для поднятия патриотического духа. Но кроме пропаганды существует еще и арифметика. Если подсчитать всех «убитых» Барером, то у коалиции не осталось ни одного солдата. С кем же тогда воюют наши армии? Такое самовосхваление притупляет бдительность революционеров.

Лазарь Карно. Хороший военный, хороший инженер, хороший организатор. Он много сделал для победы. Но Робеспьер помнит, как надменно, как расчетливо равнодушно относился Карно к успехам Робеспьера еще в Аррасе. Вероятно, он считал Робеспьера заурядным адвокатом. Однако время опровергло прогнозы Карно. Выжидающе, со скрытым недоверием Карно следил за своим земляком. Вынужденный вместе со всеми аплодировать Робеспьеру, он тем не менее жаждал реванша. Теперь Карно говорит, что Робеспьер только оратор, а сам он — человек дела. Карно опирается на армию и при помощи штыков хочет упрочить свое положение. Робеспьеру, Сен-Жюсту и Кутону, бескорыстным патриотам, Карно хочет противопоставить свой триумvirат — Карно, Билло-Варен, Барер.

Билло-Варен. Пылкий оратор. Но порой его чувства опережают рассудок, и он не ведает, что говорит. Подчиняясь своему бурному темпераменту, он начинает крушить направо и налево, забывая, где друзья, где враги. Он со своим громким голосом и не очень большим умом может быть опасным орудием в руках ловких интриганов. Как мог Билло-Варен назвать Робеспьера контрреволюционером? Неужели его настолько ослепила лесть Барера и Карно, что он потерял голову?

Колло д'Эрбуа. В прошлом он был связан с Эбером. Правда, впоследствии он много сделал для того, чтобы разгромить эбертистов. Но не сожалеет ли он о своих бывших друзьях? Был момент, когда Колло появился очень вовремя: дантонистам казалось, что они уже одержали победу. (Кстати, больше всех его возвращению из Лиона радовался Эбер. «Прибыл великан» — так писал Эбер. И Робеспьер это помнит.) Колло помог Робеспьеру справиться с Дантоном. Но насколько принципиален сам Колло? Его тезис: «В революции всегда трудно решить, что справедливо и что несправедливо» — прекрасная находка для разбойников с большой дороги.

А кровавая бойня, которую Колло д'Эрбуа устроил в Лионе? Или правы люди, утверждающие, будто Колло мстил городу, на театральных подмостках которого он провалился в бытность свою актером? И разве может настоящий революционер связываться с такими темными личностями, как Фуше?

Жозефа Фуше Робеспьер знал еще по Аррасу. Тогда тот был примерным католическим священником. В Лионе Фуше насаждал воинствующий атеизм. Не доверяет Робеспьер людям, которые так быстро и так резко меняют свои убеждения. Фуше полностью разоблачил себя, когда, вернувшись из Лиона, хотел вступить с Робеспьером в циничную сделку. Он пытался запугать Робеспьера! Потерпев неудачу, хитрый проныра пролез даже в Якобинский клуб, и Робеспьеру пришлось вышвырнуть его оттуда. Робеспьеру не хочется марать руки об эту гадину, но он будет преследовать его всюду, где только тот попытается вынырнуть... Вспомни, как к тебе на квартиру пришли Фуше и Тальен. Они униженно что-то бормотали. Запинаясь, они оправдывались. А ты пудрился у зеркала и не проронил ни слова, не удостоил их

взглядом. Высокомерие? Нет, просто противно иметь дело с подлецами. Хороши друзья у Колло! А может, Колло боится, что если возьмутся за Фуше, то все снова вспомнят о лионских расстрелах, и придется отвечать самому Колло? Что ж, с Барером и Карно он договорится, а вот Робеспьер ни на какую сделку не пойдет. И поэтому Колло против Робеспьера?

Роберт Ленде. Единственный из членов комитета, не подписавший приказ об аресте Дантона. А разве Робеспьеру было легко отречься от старого друга? Но у Ленде своя позиция. Мол, лично я занимаюсь продовольствием и в крови не хочу пачкать руки. Но революция — это кровь, это жертвы. И вот такие «чистюли», избегающие общей ответственности, разве они не наносят удар в спину, разве они своим поведением способствуют единению правительства?

Так неужели мелкие страстишки, нечистая совесть одержали победу над великими победами революции? Неужели, подчиняясь своим корыстным интересам, его соратники пошли на раскол правительства?

У Робеспьера много верных сторонников, истинных патриотов. Робеспьер верит, что таких большинство. Но они в Якобинском клубе. Клуб остается только клубом. Это общественное мнение, а не правительство.

Интересы революции потребовали создания единого централизованного управленческого аппарата. Робеспьер выковал его в боях с фракциями и с заговорщиками. Но теперь этот аппарат превратился в машину, которая крутится сама по себе. Чиновники не спорят — они исполняют. Но весь ужас в том, как они исполняют! Государственная машина вышла из повиновения, Робеспьер уже не в силах с ней справиться.

Чтобы рассеять опасения осторожных патриотов, напуганных ложными слухами о стремлении Робеспьера к диктатуре, Робеспьер фактически вышел из правительства, перестал посещать Конвент. Ему не нужна власть, не нужны посты, не нужны почести. Некоторые члены правительства жалуются, что Робеспьер задавил их своим авторитетом? Пожалуйста, он не мешает! Работайте сами, покажите, на что вы способны! Ведь он оставил правительству страшное оружие против изменников и заговорщиков — закон от 22 прериаля.

В речах некоторых членов правительства можно встретить намеки, из которых следует, что враги Франции не там, на границе, не здесь, среди заговорщиков. Нет, стране угрожает только диктатура, только один Робеспьер.

Революционный трибунал в свою очередь организует процессы один нелепее другого. Недавно они устроили мрачное шествие, отвезя на гильотину пятьдесят четыре человека, одетых в красные рубашки. Мол, все они виноваты в покушении на жизнь Робеспьера. Может, среди них были истинные организаторы заговора? Нет, одни лишь мелкие исполнители. Идейных вдохновителей трибунал не тронул. Среди осужденных были молодые девушки, почти дети. Впечатление ужасающее, но народу сказали: «Так хотел Робеспьер».

И заговорщики, чувствуя свою безнаказанность, удвоили энергию.

В истории нашей революции был счастливый день, когда французский народ поднялся весь, чтобы воздать творцу природы единственную дань уважения, достойную его. Это был праздник в честь Верховного Существа. Тогда мы одним ударом поразили атеизм и священнический деспотизм. Этот день оставил во

Франции глубокий след покоя, счастья, мудрости и милосердия. При виде этого высокого собрания наилучшего народа мира, кто поверил бы, что преступления все еще существуют на земле?

Но когда народ вернулся к своим домашним очагам, снова появились интриганы, и шарлатаны вновь вышли на сцену.

Первой попыткой, сделанной недоброжелателями, было стремление унизить провозглашенные Конвентом великие принципы и изгладить трогательные воспоминания о национальном празднестве. Такова была цель той многозначительной торжественности, которую придали так называемому делу Екатерины Тео. Недоброжелательство сумело извлечь пользу из политического заговора, прикрытого именами каких-то слабоумных ханжей, а общественному вниманию предложили лишь мистический фарс и неистощимую тему для непристойных или ребяческих сарказмов. Настоящие заговорщики ускользнули, а Париж и всю Францию заинтриговали именем «богородицы».

А дело было простое: Екатерина Тео проповедовала скорое пришествие на землю мессии. Она объявила себя богородицею. В своих проповедях Екатерина Тео прославляла революцию. Но она прославляла не только революцию, она восхищалась Робеспьером и всячески намекала, что именно он и является тем самым пророком, мессией, который спустился на землю, чтобы спасти человечество. Ну хорошо, Екатерина Тео — глупая, наивная старуха. Но в чем вина Робеспьера?

Однако враги его воспользовались случаем, и по Парижу поползли слухи, что Робеспьер специально окружает себя кликушами и ханжами, что он не только хочет быть диктатором, он, видите ли, хочет быть пророком.

Кажется, не было ни одного скандального процесса, к которому не пытались бы присоединить имя Робеспьера. Упорно говорили, что Робеспьер и Сен-Жюст посещают дом легкомысленной девицы Сент-Амарант. Когда же трибунал прикрыл этот вертеп разврата, то опять же стали судачить, будто Робеспьер и Сен-Жюст просто сводят счеты, ибо молодая Сент-Амарант отказалась быть их любовницей.

В своем ехидном докладе Вадье — его враг из Комитета общественной безопасности — утаил кое-какие подробности. А подтекст дела Екатерины Тео заключался в том, что некоторые из посещавших безобидную и сумасшедшую старуху были связаны с домом Дюпле. Вадье как бы протягивал руку Робеспьеру, — я тебя не трону, не трогай и ты меня. Но Робеспьер не умеет уважать плутов. Еще меньше он разделяет королевское правило, утверждающее, что полезно прибегать к их услугам. К оружию свободы можно прикасаться только чистыми руками. Он просто разрубил петлю, затягиваемую Вадье, и взял дело из революционного трибунала, не дав втянуть себя в сделку. Конечно, на него тут же обрушились новые потоки клеветы, но нельзя было компрометировать идею культа Верховного Существа.

Множество мирных граждан и даже патриотов было арестовано в связи с этим делом, а главные виновники все еще на свободе. Ибо план заговорщиков состоял в том, чтобы измучить народ и увеличить число недовольных.

Чего только не делалось для достижения этой цели!

Развивая обвинение в диктатуре, включенное тиранами в повестку дня, заговорщики поставили своей задачей обвинить его во всех своих беззакониях, во

всех ошибках судьбы или во всех строгостях, требуемых для спасения отечества.

«Он один подверг вас проскрипции», — говорят дворянам; «Он хочет спасти дворян», — говорят в то же время патриотам; «Он один преследует вас — без него вы были бы спокойными и торжествующими», — говорят священникам; «Он один уничтожает религию», — говорят фанатикам.

Люди, подосланные в общественные места, ежедневно повторяют эти слова. Они стараются доказать, что революционный трибунал — это кровавый суд, созданный одним Робеспьером для того, чтобы погубить всех честных людей.

И в то же время все требуют усиления террора. Камбон кричит: «Желаете исполнить свое назначение? — Гильотинируйте. Хотите прикрыть громадные расходы наших армий? — Гильотинируйте. Хотите выплатить свои бесчисленные долги? — Гильотинируйте! Гильотинируйте! Гильотинируйте!»

Какие преступления ставились в свое время в вину Дантону, Фабру, Демулену? Проповедь милосердия к врагам отечества и составление заговора для обеспечения амнистии, роковой для свободы. Эбер, Шомет и Ронсен старались сделать революционное правительство несносным и смешным, в то время как Камилл Демулен напал на него в сатирических произведениях, а Фабр и Дантон строили козни для защиты Демулена. Одни клеветали, другие создавали предлоги для клеветы.

По какому же роковому стечению обстоятельств тот, кто некогда обрушивался на Эбера, теперь защищает его сообщников? Каким образом бывшие враги Дантона, которые отправили на эшафот Фабра и Демулена, теперь стали брать с них пример?

Он, Робеспьер, предложил Конвенту великие принципы, под знаменем которых были разгромлены заговоры контрреволюционеров и атеистов. Конвент их подтвердил. Но такова уж участь принципов — их провозглашают честные люди, а применяют или нарушают злые.

Свою деятельность Робеспьер перенес на Якобинский клуб. Клуб — это партия. И пока Франции угрожают опасности, клубу необходим Робеспьер.

Но вот уже почти месяц, как Робеспьер вышел из правительства. Он решительно отказался от звания члена Комитета общественного спасения, ибо выше всего ставит свое человеческое достоинство, звание французского гражданина, звание народного представителя.

Но мелкие людишки, дорвавшиеся до власти, ради того, чтобы прикрыть свои преступления и удержаться на поверхности, хотят его вогнать в могилу с позором, чтобы на земле о нем осталась память лишь как о тиране!

Они еще смеют упрекать Робеспьера в несправедливости, жестокости к людям. Но он всю жизнь отдал революции. У него нет ни дома, ни семьи. У него нет никаких личных интересов, кроме забот о спасении страны.

Он несправедлив? Он жесток?

А к нему были справедливы? К нему были милосердны?

Его всю жизнь травили. Над ним всю жизнь издевались. И теперь, когда он смертельно измучен этой страшной борьбой, когда он нуждается хоть в минуте отдыха, снова хотят накинуть ему на шею петлю.

О если бы небо было благосклонно к его старым соратникам! Если бы судьба защитила их от злодейского кинжала, от лести заговорщиков, от их собст-

венных ошибок! Тогда бы сейчас вместе с ним встали Марат и Демулен. Тогда бы раздался голос Дантона, и все интриганы, только слышав этот гром, в ужасе расползлись бы, словно пауки по своим щелям.

Хоть бы на миг вернулось то счастливое время, когда они вместе отражали удары жирондистов и роялистов!

Нет Марата. В общей могиле с мошенниками и шпионами погребены тела Дантона и Демулена.

Он остался один.

...Это страшный сон. Он как воин на границе сражался с вражескими отрядами. Он не успевал отбить одну атаку, как надвигалась следующая. Он весь в крови, он обессилел от ран. Казалось, рука не в состоянии удержать меч, но снова появлялся неприятель, и он сжимал рукоятку, и начиналась новая битва. Бойцы, что сражались вместе с ним, погибали в неравной борьбе или, дрогнув, смалодушничав, вступали в сговор с противником. И тогда он, Робеспьер, вынужден был поражать их своим мечом. И враги не смогли пройти, но их удары — открытые и коварные, из-за угла, — оставили свои следы. Теперь он словно солдат, умирающий на поле битвы, видит, что опять идут несметные полчища. Он знает, что надо встать. Надо поднять меч. Но нет сил. Рука привычно тянется к оружию, но удержать его не может. Рукоять выскальзывает из ладони, и меч падает на землю.

Солнечный зайчик скользнул по его лицу. Он поднял голову. В доме напротив, на втором этаже, покачивалась половинка раскрытого окна.

Он подождал, пока в окне еще раз вспыхнет солнце, зажмурился, глубоко вздохнул, поднял руки и потянулся, ощутив разом все мышцы своего тела. И это было счастливое мгновение.

Но тут он испугался — вдруг кто-нибудь за ним наблюдает, — принял обычную позу и огляделся.

Улица спала. Он пошел неторопливо, все еще оглядываясь и постепенно успокаиваясь. Было раннее утро, и день обещал быть превосходным.

Он дошел до угла и увидел такую же пустынную улицу. Он остановился и почувствовал, что непонятно чему улыбается. Он еще раз глубоко вздохнул и потянулся, но глаза уже не закрывал. Собственно, как мало человеку надо — хорошо выспался, и жизнь кажется прекрасной. А впрочем, если подумать, все действительно идет хорошо. Очевидно, повернулось колесо фортуны. И надо ловить этот миг. В конце концов, он молод, есть силы, и... Он поймал себя на том, что стоит на одной ноге и собирается так, вприпрыжку, двигаться дальше. Если бы его кто-нибудь сейчас видел — редкое зрелище — Робеспьер развлекается.

Он прошел несколько кварталов, пока не встретил первого прохожего, и тогда вернулся в дом и удивил столь неожиданным появлением почтенную мадам Дюпле, которая в полной уверенности, что он еще спит, тихо возилась на кухне.

И за завтраком он веселил девушек, и Элеонор взяла с него обещание, что вечером они погуляют.

Настроение ясного солнечного утра не покидало его и в Конвенте, и поэтому в первую секунду, когда раздался крик, он не то чтобы не поверил, он просто не понял, о чем это, а Конвент уже повторял на сотни голосов:

— Убит Марат!

Но ведь не он, не он вызвал лавину террора! Враги первые пролили кровь патриотов. Это они выбрали странный способ решения споров: вместо слова и мысли — кинжал и гильотину. Они же знали, что Робеспьер всегда был противником насилия. Так нет, убит Марат, Лион и Марсель обагрены кровью революционеров, вандейцы зверски расправляются с пленными республиканцами...

Почему они не поняли, что он не меч им принес, но мир! Он не требовал крови, он предлагал новый справедливый государственный порядок. Он хотел воплотить в жизнь идеи Руссо. Он дал Франции идею, которая должна вывести страну из бед. И Франция приняла новое Евангелие.

Первый человек, который, огородив участок земли, осмелился сказать: «Это принадлежит мне» — был, наверное, просто наглец. А может быть, его простодушные и доверчивые соплеменники восприняли это как шутку. Но с этого момента, относящегося к глубокой древности, и установился тот общепринятый нелепейший порядок, подчиняясь которому живет все человечество.

Воры и лгуны, убийцы и казнокрады, бандиты и ловкачи захватили все в свои руки и поработили остальных людей. Наиболее ловких воров, которые наживали себе состояния на страданиях народа, громко и признавали уважаемыми гражданами. Государь и императоры, которым ради удовлетворения своих эгоистических честолюбивых замыслов удавалось перебить тысячи людей, разрушить десятки городов, сжечь сотни деревень, залить кровью целые страны, становились национальными героями, их причисляли к лику святых.

196 Естественно, что в таком обществе, где все было поставлено с ног на голову, добродетельным челове-

ком считался не тот, кто дни и ночи работал на пашне или в мастерской, а тот, кто ловко ворует; проявление ума видели не в том, что человек пытается узнать больше других, понять настоящее и предсказать будущее, — а в умении низко сгибаться перед сеньорами, льстить им и угадывать их желания; доблестными героями признавали не тех, кто боролся за дело народа, а тех, кто тупо и фанатично отдавал жизнь за короля или другого титулованного вельможи.

На протяжении веков государство воспитывало в человеке раболепие и слепое повиновение перед царственными особами. Седовласые ученые мужи учили человека быть себялюбивым, корыстным и жестоким.

Французская революция заложила фундамент нового государства. Краеугольные камни этого фундамента — свобода и равенство. Честные труженики, а не ловкие преступники — вот истинные граждане нового государства. Добродетель, а не развратные принципы — вот основа человеческого общежития.

Так почему же некоторых революционеров поразила странная робость? Они, видите ли, считают позорным для себя с мечом в руках отстаивать государство будущего.

Но Франция со всех сторон окружена феодальной Европой, которая стремится восстановить старый порядок. И у нас нет иного выхода, как взяться за оружие.

Не случайно пророк Моисей водил свой народ по пустыне в течение сорока лет: он хотел, чтобы вымерло то поколение, которое в своем сознании еще хранит растлевающие воспоминания прошлого. На землю обетованную он привел людей чистых, не знающих дурных традиций. Вероятно, новые общественные принципы полностью утвердятся во Франции, когда придет новое поколение. А пока террор и революци-

онный трибунал необходимы. Возможно, под мечом закона падут люди, вина которых состоит в том, что они так и не смогли преодолеть недостатки своего порочного воспитания и смело отбросить те политические предубеждения, которые вбивались им с детства. Но, к сожалению, у революции нет иного выхода. Ради счастья миллионов нужно пожертвовать тысячами.

Как бы ни был ужасен сам факт пролития крови, все равно эта кровь будет каплей в том море крови, которую в течение сотен лет проливали тираны для того, чтобы удержать народ в рабстве и угнетении.

Однако надо смотреть реально на существующее положение вещей. Французский народ привык верить в бога.

Нельзя (да и опасно) сейчас провозглашать какого-либо человека пророком. Но надо, чтобы народ поверил, что о нем заботится Высшее Существо. В этом и состоит идея робеспьеровского Евангелия, которое Конвент декретировал как государственный закон.

Еще Руссо утверждал, что в государстве будущего должны быть статьи, которые устанавливаются верховным повелителем не как религиозные догматы, а как основы общежития, не зная которых нельзя быть ни хорошим гражданином, ни верным подданным. Такими необходимыми догматами являются: существование всемогущего разумного благодетельного предвидящего и пекущегося божества, будущая жизнь, блаженство для праведных, наказание злых, святость общественного договора и закона. Вы свободны не верить в эти догматы; но если вы не верите в них, вы будете изгнаны не как нечестивец, но как неспособный к общежитию.

Если раньше для народа устраивались религиозные праздники в честь злодеев и ханжей, причисленных к рангу святых, то теперь у французов другие

торжественные дни: праздник в честь Природы и Верховного Существа, праздник в честь Свободы и Равенства, праздник в честь Республики, праздник в честь Целомудрия, в честь Воздержания, в честь Сыновней Почтительности, в честь Бескорыстия — словом, святыми должны быть не люди, а свойства человеческой добродетели.

...В революции был момент, когда тираны торжествовали: французский народ был поставлен между голодом и атеизмом, еще более гнусным, чем голод. Народ мог переносить голод, но только не преступления; народ мог пожертвовать всем, за исключением добродетели. Атеизм, сопровождаемый всеми преступлениями, нес народу скорбь и отчаяние и навлекал на национальные представительства подозрения, презрение и позор. Справедливое негодование, подавляемое террором, тайно волновало сердца. Грозное, неминуемое извержение зрело в недрах вулкана, в то время как недалекие философы беспечно забавлялись на его вершине с мелкими злодеями.

Кто же возложил на Шомета, Клоотса, Фуше и им подобных миссию возвестить народу, что божества нет? Какая выгода убеждать человека, будто его судьбами руководит слепая сила, карающая наобум и преступление и добродетель, и будто душа человека есть лишь легкое дуновение, исчезающее у края могилы? Разве мысль о его ничтожестве внушит человеку более чистые, возвышенные чувства, чем мысль о его бессмертии? Внушит ли она ему больше уважения к ему подобным, больше готовности к противодействию тиранам, больше презрения к смерти и изнеженности? Утешит ли вас, плачущих над гробом сына или жены, человек, говорящий, что от них остался только прах?

Вот почему Робеспьер отправил на гильотину Шомета и Клоотса, людей, у которых были заслуги перед революцией. Хотели они того или нет, но их воинствующий атеизм подрывал основы государства, которое закладывал Робеспьер, мешал народу поверить в спасительное Евангелие.

Пусть ради самого торжества разума будет уважаема свобода вероисповедания; но пусть она не нарушает общественного порядка и не становится средством для заговора.

Атеизм надо рассматривать как учение, связанное с посягательством на республику. Какое дело Конвенту до различных гипотез, при помощи которых те или другие философы объясняли явления природы? Разрешение этих вечных споров надо предоставить им; не следует смотреть на них ни глазами метафизиков, ни глазами богословов. В глазах законодателя истина есть все то, что полезно миру и хорошо для его обихода. Идея о Верховном Существо и бессмертии души является непрерывным призывом к справедливости: значит, эта идея социальная и республиканская.

Истинный жрец Верховного Существа — природа. Его храм — вселенная. Его культ — добродетель. Его праздники — радость великого народа.

Конечно, есть еще (да и будут) некоторые люди, которые по эгоистическим соображениям хотят выделиться из общего ряда, которые, благодаря своим порочным способностям, ловкости, думают возвыситься над остальными, нажить себе богатство, купаться в неге и в роскоши. Но какой пример они подадут другим? Поэтому на площади Революции не отдыхая стучит нож гильотины. И пока жив Робеспьер, он будет стоять на страже всеобщего равенства, добра и справедливости. Все развращенные люди — враги республики.

Как всполошились они, когда Конвент провозгласил культ Верховного Существа! На Робеспьера сразу было организовано покушение. Питт через своих агентов и свое золото пытался насаждать во Франции атеизм. Даже в Конвенте многие недалекие депутаты (а может и скрытые враги) втихомолку злословили над Робеспьером. Робеспьер все слышал.

Время лишь подтвердило необходимость и важность введения гражданской религии. Культ Верховного Существа сразу потушил религиозные распри и восстановил единство страны. Он доказал всему миру, что французский народ сплотился вокруг революционного правительства, что теперь Франция стала сильной, как никогда.

И конечно, праздник в честь Верховного Существа был самым счастливым днем в жизни Робеспьера.

...Он помнил Париж своей юности, когда он, бедный, застенчивый студент, сгоравший от честолюбивых надежд и идей великого Жан-Жака, пробирался по узким улицам, стараясь держаться поближе к стенам, а мимо в роскошных каретах проносились красивые светские кокетки, смущавшие его воображение.

Он помнил Париж дождливый, пустынный, когда он, неизвестный депутат Учредительного собрания, возвращался с заседаний и вспоминал насмешки врагов, и завидовал славе признанных ораторов, — а парижане из своих окон смотрели мимо него, и он был просто одиноким прохожим, частью осеннего пейзажа.

Он помнил Париж, вздрагивавший от топота сапог лафайетовских гвардейцев, когда его, члена Якобинского клуба, уводили задними дворами, спасая от ярости солдат.

Он не думал, что доживет до того времени, когда весь город, как один человек, выйдет на улицу, ликуя,

радуясь торжеству идей революции и Верховного Существа, и будет приветствовать Робеспьера как своего вождя, как совесть Франции.

Это произошло 20 прериала. С раннего утра весь город был в движении. Дома были убраны ветками деревьев, а все улицы усыпаны цветами. Не было окна, из которого не развеялся бы флаг, а на реке не было лодки, не украшенной лентами. В восемь часов при звуках пушечных выстрелов народ направился в сад Тюильрийского дворца. Женщины — с букетами цветов, мужчины — с дубовыми ветками в руках.

Сам Робеспьер держал в руке букет из цветов и колосьев. И настроение у него было такое же чистое и безоблачное, как небо над головой.

Голосом ясным и громким, явственно слышным в самых отдаленных уголках сада, он начал славить творца природы, который связал всех смертных громадной цепью счастья и любви.

Окончив свою речь, он сошел со ступеней амфитеатра и направился к группе скульптур, изображавших чудовища атеизма, эгоизма, раздора и честолюбия.

Он дал знак, чудовища загорелись, и из-за рухнувших обломков показалась величественная статуя мудрости.

Конвент двинулся к Марсову полю. Депутатов окружила трехцветная лента, которую несли дети, юноши и старики. Депутаты были в одеянии народных представителей, и каждый из них нес букет из колосьев, цветов и фруктов. За Конвентом следовал народ, а впереди депутатов, возглавляя шествие, шел председатель Конвента — Робеспьер.

Посреди Марсова поля была устроена деревянная гора — символ партии, символ монтаньяров. Депутаты разместились на вершине горы, а народ расположился кругом.

И тогда сто тысяч голосов исполнили сочиненный Мари Шенье гимн Верховному Существо.

Трубные звуки слились с восторженными криками толпы. Молодые девушки бросали в воздух цветы. Молодые люди склонялись под родительское благословение, а потом вставали и размахивали саблями, клянясь не бросать их впредь до спасения Франции. Незнакомые люди обнимались, целовались. Эта возвышенная трогательная церемония была как бы апофеозом революции.

...Вспоминая этот счастливый день, вспоминая свое ощущение солнца и радости, он помнит и другое: в его сознании независимо от его воли вставали другие картины, проходили парадом тени прошлого. Он словно опять присутствовал на открытии Генеральных штатов во дворце «Малых забав». Король и придворные, дворяне и духовенство, блистая великолепием одежд, важно восседали на местах, а депутаты третьего сословия, протискиваясь сквозь узкие двери, еще только входили в этот зал. Неужели луч сегодняшнего праздника уже тогда озарил лицо Робеспьера, затерявшегося среди одинаково одетых народных представителей? Неужели уже тогда Провидение выделило именно его и указало ему прямой путь? Робеспьер пошел этим путем мимо спесивых и озлобленных Мори и Казалеса, и Мирабо-Бочка напрасно кричал ему вслед обидные слова. Сейчас Робеспьер как бы видел устремленные на него из прошлого глаза Малуз и Клермон-Тоннера, удивленные глаза слепых людей, ибо они не поняли, что из тысячи депутатов только один Робеспьер был отмечен светом будущего.

...Где-то в стороне, держась обособленно, стоят Барнав, Дюпор и Александр Ламет — могущественный триумвират, кичившийся своей славой и упорно пренебрегавший Робеспьером. О Барнав-Нарцисс, ты

всегда раздраженно пожимал плечами, когда на трибуну поднимался Робеспьер, ты всем своим видом показывал, что даже голос оратора тебе неприятен.

...И появился еще тот, высокий и тучный, с лицом красным, изрытым оспой, с огромной пышной шевелюрой, с завораживающими большими глазами. Однажды в дверях он пропустил вперед Робеспьера, насмешливо и сухо поклонившись. Робеспьер помнит его не больным, издерганным человеком, запутавшимся в своем предательстве, а тем громовержцем, при появлении которого каждый из депутатов невольно хотел встать. Если бы сейчас можно было показать ему площадь, наполненную ликующим народом, и сказать: «Вот, Мирабо, что значит ясность цели и твердость принципов! Мелкие интриги и пустое честолюбие обрекли тебя на позор, а ведь ты был великим оратором, ведь, признаться, я тебе завидовал». Одна за другой исчезают тени вожаков Конституанты, вождей одного дня, героев одной минуты. Из бесформенного расплывчатого клубка воспоминаний выступают еще два человека. Один молодой и задорный, с лицом капризного ребенка... Старый друг Камилл, счастье твое я благославлял на твоей свадьбе, — как ты мог позволить злодеям и интриганам увлечь себя? Как мог ты усомниться в справедливой строгости твоего старого товарища? Верь мне, Камилл, я отдал бы полжизни, если бы ты как верный патриот мог сейчас стоять рядом со мной... Другой человек не приближается к Робеспьеру, он горд и непреклонен, и одежда его неряшлива, и от платка, повязанного на шее, пахнет уксусом, а на груди видна кровавая рана — след злодейского кинжала. Да, Марат, ты оказался прав, надо было пролить кровь врагов, чтобы потом не погибли тысячи верных революционеров. Теперь меч террора безжалостно карает заговорщиков и

пособников аристократии. Но только ли благодаря террору победила революция? Надо было дать народу цель, надо было зажечь его идеей. Смог бы ты это сделать, Марат? Молчишь? Исчезаешь, даже не устаивая ответом? И вот появляется еще одна фигура, неуклюжая, с широкими плечами, большой головой, а глаза горят насмешливым сатанинским огнем. О Дантон, человек, которого я любил, верь мне, не моя вина, что твой слабый характер и беспринципность поставили тебя поперек дороги революции. Я помню яростные слова, которые ты кричал мне с телеги, когда тебя везли на казнь. Клянусь, для меня самым страшным было потерять своих лучших друзей, с которыми я хотел дойти до победы. Господи, как ужасно остаться одному...

Теперь кажется, что меня окружают честные патриоты, верные соратники. Но разве это те люди? Равнодушные циники, честолюбивые террористы, политики, не видящие дальше собственного носа!

В праздничной церемонии они заметили только обгоревшую статую мудрости (результат спешки устроителей праздника), обратили внимание только на усталость женщин и детей (вполне естественную при такой жаре). Ничтожные бытовые подробности скрыли от них величие идеи.

И самое главное, в торжестве революции и Верховного Существа они (о мышинный масштаб мышления!) увидели только Робеспьера, идущего впереди Конвента. (Опять он поставил себя выше всех!) Завистники, в триумфе гражданской религии они усмотрели лишь личный триумф Робеспьера.

Он слышал их злобный шепот, он запомнил их слова: «Ему мало быть повелителем! Он хочет быть богом! Великий жрец, Тарапейская скала недалеко! Бруты еще не перевелись!»

Что ж, если они объявили ему войну, то он принял их вызов. Он ответил им законом 22 перриала.

Неужели они верят, что Робеспьер хочет установить диктатуру? Если бы ему было нужно это, он бы давно стал диктатором. Может быть, так было бы проще — одним махом расправиться с врагами революции. Но нельзя, нельзя даже ради самых светлых идеалов подрывать основы республики.

Что за проклятье тяготеет над ним? Почему его действия вызывают подозрения? Почему его благие намерения всегда воспринимаются по-другому? Жалкие недоброжелатели! Нет у него больше сил бороться с пизкой завистью!

И над всем этим ревом толпы повис женский крик. Высоко, на одном дыхании тянулось «А-а-а!». И было непонятно — то ли женщину задавили, то ли она пьяная, то ли сошла с ума.

Сзади еще поднажали, и Робеспьер оказался буквально втиснутым в широкую спину человека, идущего перед ним. Человек этот был огромен, и подняв глаза, Робеспьер видел только выбивающиеся из-под шляпы черные космы давно не стриженных волос. Плечи и верхняя часть спины были усыпаны перхотью, а слева, почти на уровне лица Робеспьера торчал порванный локоть сюртука. Робеспьер старался делать шаги помельче, чтобы его нога не попала под башмак гиганта. Пока это ему удавалось, но зато сзади все время наступали на пятки.

Он давно понял, что бессмысленно пытаться выбраться из этого людского потока, а теперь его куда-то тащило, куда — он даже не знал. Важно было не споткнуться и не упасть, ибо тогда по

нему пройдут тысячи ног, и никто не сможет предотвратить этого, никто не сможет ему помочь,— ведь каждый в толпе чувствовал себя совершенно беспомощным и подчинялся только одной силе, тупой массе спрессованных тел — впрочем, и упасть было невозможно.

Его сосед справа, старик, с красным шрамом на щеке, больно упершись острым локтем в бок Робеспьеру, кричал негромко, но с какой-то фанатичной исступленностью: «На гильотину спекулянтов! На гильотину предателей!» С нескрываемой злобой он косился на Робеспьера, и Робеспьер подумал, что причиной этому его одежда, его напудренные волосы. Старик видел, что Робеспьер из иного, обеспеченного круга людей, а может, старик уверил себя, что Робеспьер, раз он одет чище, по-буржуазному, и есть тот спекулянт, и есть тот предатель, и крики старика, звучавшие как заклинание, предназначались именно ему.

Робеспьеру часто приходилось наблюдать бушующее людское море и с трибуны собрания, и из окон Конвента. Но сам он попал впервые в гущу народа. Здесь царил особый дух. Люди, гонимые на улице голодом и отчаянием, собравшись вместе, ожесточались еще больше. Каждый возбуждал себя самыми свирепыми лозунгами. Теснота и давка озлобляли. Физическая скованность требовала энергичной разрядки. Люди чувствовали огромную силу общего движения. И эта сила должна была как-то проявиться. Пожалуй, теперь Робеспьера не удивишь рассказами о непонятной жестокости толпы.

Давили так, что нечем стало дышать. Кажется, что это никогда не кончится. Ощущение 207

бесконечности и бессмысленности происходящего мучило его. Конечно, можно было попытаться обратить на себя внимание, громко крикнуть: «Граждане, я Робеспьер, мне срочно надо пройти в Конвент». Конечно, его бы узнали. Идущие сзади постарались бы несколько сдержать напор. Но и только. Не в силах человека, даже десяти, даже сотни, было помочь ему вырваться отсюда. И потом, со стороны Робеспьера это выглядело бы как проявление слабости. И потом, он никогда бы не позволил себе кричать. И потом, все же шли к Конвенту.

Старик справа уже не смотрел на Робеспьера, а лишь бормотал осевшим голосом: «Смерть спекулянтам!» По лицу старика текли ручейки пота. Снова, прорезая рев толпы, повис женский крик «А-а-а!».

Да, народ всегда прав. Но над ним тяготеет проклятие прошлого. Он темен, необразован, подвержен предрассудкам. К сожалению, пока нельзя ему выложить всю правду о взаимоотношениях лидеров революции. Это убьет революцию. Народ не поймет всех сложностей, он увидит лишь грязное белье. В конце концов, образование и прогресс сделают свое доброе дело, но это произойдет не скоро. А сейчас народ надо терпеливо воспитывать, ему нужен пастор.

Через своих верных людей Робеспьер знает, что раздаются голоса недовольных, считающих, что он зря навязал стране новое Евангелие, что не нужна эта проповедь добродетели для всех.

Разве люди не вправе жить так, как им заблагорассудится?

Когда власть была в руках тиранов, им было выгодно покровительствовать пороку и разврату, они

играли на человеческих слабостях. Но если не уничтожить пороки в государстве будущего, они будут разъедать человеческое общежитие. Если не насаждать добродетельные принципы, вырастут посевы зла. И опять начнется вражда между гражданами, и опять будет литься кровь. Пример тому — судьба его бывших друзей, которые погибли из-за нетвердости своего характера, из-за того, что считали, будто учение о добродетели не для них.

Один человек, человек известный, много сделавший для революции, перед смертью сказал (верные люди поспешили передать его слова Робеспьеру — конечно, из-за своей преданности... А может, для того, чтобы отравить сердце Робеспьеру?):

— Робеспьер? Да я воткну его себе на кончик большого пальца и заставлю вертеться волчком... Все это братья Каина... Во время революции власть останется за теми, в ком больше злодейства... Сучьи дети, они будут кричать: «Да здравствует республика», — когда увидят, что меня ведут на казнь.

Чьи это слова? Аристократа, роялиста? Нет, так говорил Дантон.

Невозможно поверить, что это тот самый Дантон, который в 91-м году защищал Робеспьера от нападок Бриссо и Гаде; что это тот самый Дантон, который в 92-м году спас Францию; что это тот Дантон, который вместе с Маратом и Робеспьером прошлой весной разгромил жирондистов.

Еще в ноябре — декабре 93-го года Дантон и Робеспьер действовали в полном согласии. Вслед за Робеспьером Дантон заклеил устраивавшиеся по совету «Отца Дюшена» антирелигиозные маскарады. Дантон говорил: «Если мы не чтим жреца заблуждения и фанатизма, то тем более не хотим чтить жреца неверия».

Так же, как Робеспьер, Дантон утверждал, что «еще не время народу проявлять милосердие».

Робеспьер всегда пристально наблюдал за Дантоном. Многие ему не нравилось: и его чрезмерная доброта, и склонность к компромиссу, и желание угодить всем. Когда Дантон излишне колебался, Робеспьера охватывал гнев. Да, их мнения не всегда совпадали, но разве из этого можно сделать вывод, что Дантон предавал Родину? Нет, он усердно служил ей.

Так что же так резко изменило Дантона, что в конце концов погубило его?

Отсутствие твердых моральных устоев, несоблюдение принципов добродетели.

Всем известно, как тяжело переживал Робеспьер смерть первой жены Дантона. Он был готов облегчить горе друга. Однако еще и раньше Робеспьер со скрытым раздражением внимал слухам о развратной жизни Дантона. После ночей, проведенных в пьяных оргиях в кругу продажных женщин, разве останутся силы для революции? Разве человек, вкушивший сладость сомнительных удовольствий, будет непреклонен и тверд по отношению к своим идейным врагам?

Робеспьер думал, что после смерти жены Дантон образумится. Но еще не успела просохнуть земля на ее могиле, как Дантон вторично женился на шестнадцатилетней Луизе Жели, девушке набожной, дочери родителей-роялистов. Чтобы добиться их согласия на брак, Дантону пришлось пройти через исповедальню и стоять на коленях под рукой отрекшегося от республики священника. Вот что сделали сладострастие и распушенная чувственность с вождем революции! И в тот момент, когда Франция задыхалась в тисках интервентов, когда казалось, что революция вот-вот сгорит в пожаре мятежей, когда народ напрягал последние силы,— Дантон отказался вступить в Коми-

тет общественного спасения,— он, видите ли, устал. Он уехал к себе в поместье наслаждаться счастьем с молодой женой.

В своем уединении Дантон неплохо проводил время. Когда страна сражалась — он спокойно округлял свой капитал. Видимо, революция его уже не очень интересовала. Он хотел, чтобы она скорее кончилась, чтобы она не мешала его мирной жизни заурядного обывателя.

Дантон вернулся недовольный правительством. Он был против процесса Кюстина, против отрешения от должности дворянских генералов (ему казалось, что так ослабляется армия), против суда над королевой (разрушившего, по его мнению, надежды договориться с Европой), он был против террора.

Теперь Робеспьеру известны тайные планы Дантона. Дантон думал, что ему удастся договориться с Робеспьером и Барером, и тогда переизбрать комитеты, заключить мир, открыть тюрьмы, пересмотреть конституцию, вернуть богачам (а он к этому времени стал богатым человеком) их привилегии и инициативу.

Но комитеты были в руках революционных людей, и взять у них власть Дантону не удалось. Более того, вернувшись в Париж, он вновь попал под влияние Робеспьера, под влияние революции, в нем заговорила гражданская совесть, и он опять, вероятно вполне искренне, стал служить стране.

Но это продолжалось недолго. Снова начались ночные оргии, снова пьянки и продажные женщины. Дантон компрометировал себя в глазах народа, компрометировал идеи революции. Вместе с пройдохой Эро де Сешелем он попал в сомнительные компании, потянул за собой слабохарактерного доверчивого Демулена.

Кутежи не только ослабляли революционный пыл, кутежи требовали денег. Поэтому друг Дантона д'Эглантин пошел на грязные финансовые махинации. Не дремали и агенты Питта. Они мечтали подкупить английским золотом вождей революции. Вокруг Дантона и Эро де Сешеля начали крутиться темные спекулянты, иностранные банкиры и просто аферисты. Используя популярность Дантона и власть Эро де Сешеля, члена Комитета общественного спасения, они надеялись освободить из тюрьм своих друзей, создать сильную оппозиционную партию. Закружившись в хмельном угаре, Дантон, вероятно, и сам не почувствовал, как был опутан хищными щупальцами заговора, как стал лидером оппозиции, надеждой врагов революции. И когда заговорщикам показалось, что настало время действовать открыто, «старый кордельер» Камилл Демулен вонзил нож в спину революции. Этот неожиданный удар был тем сильнее, что за Камиллом стояли не только заговорщики, за Камиллом стоял Дантон.

Робеспьер помнит последнюю встречу с Дантоном, состоявшуюся после казни эбертистов. Друзья захотели помирить их, Добиньи устроил званый обед.

Робеспьер пошел на эту встречу не только в память прежней дружбы, но, главное, потому, что хотел понять, осталась ли хоть искра гражданской совести и преданности революции в Дантоне, и если — да, то спасти его.

Увы, он увидел совсем не того добродушного человека, с которым так любил когда-то проводить свободные вечера. Перед ним был надменный, самодовольный циник. Дантон не щадил даже старых приятелей. Слово «добродетель» вызвало у него смех. Он сказал, что общественное мнение — это распутница, а потомство — глупость.

Робеспьер держался холодно и настороженно, и Дантон, знавший его, должен был понять всю глубину разделявшей их пропасти. Однако Дантон стал возводить клевету на Билло-Варена и Сен-Жюста, уверяя Робеспьера, что тот окружен глупцами и сплетниками, которые заняты только тем, что говорят о заговорах, яде и кинжалах. Он предложил Робеспьеру вступить в сделку. «Я знаю, — сказал Дантон, — каковы замыслы этих шарлатанов, но я знаю также и их трусость. Верь мне, страхни интригу, соединишься с патриотами, сплотимся...» Под патриотами он разумел гнусных заговорщиков.

— При твоей морали и твоих принципах никто не может быть виновен, — ответил Робеспьер.

Но Дантон, словно в опьянении, продолжал: «Надо прижать роялистов, но не смешивать невиновного с виновным».

— А кто вам сказал, что на смерть был послан хоть один невиновный? — тихо спросил Робеспьер.

Ответом ему был циничный взгляд Дантона. Робеспьер понял, что Дантон не верит в справедливость революционного суда, что он уже полностью погиб для революции.

Тем не менее Робеспьер, помня заслуги Дантона и Демулена, не решался поднять руку на своих бывших друзей. Когда на заседании комитета Билло-Варен предложил арестовать Дантона, Робеспьер пришел в бешенство. Он закричал: «Значит, вы хотите погубить лучших патриотов!»

Как несправедливо обвинять теперь Робеспьера в том, что он жаждал крови Дантона и Демулена! Сколько раз он спасал их!

Впервые это произошло еще летом 93-го года, когда Дантон предложил, чтобы Комитет общественного спасения преобразовался во временное правительство.

Такая идея показалась Робеспьеру слишком радикальной, но ею воспользовались враги Дантона, чтобы обвинить последнего в посягательстве на верховластие народа. Венсан сделал донос на Дантона в клубе якобинцев.

Робеспьер тут же поднялся на трибуну. Он спросил, откуда у этих внезапно появившихся патриотов такое яростное стремление погубить в глазах народа одного из его самых давних друзей? Дискредитировать Дантона? Но доносителям следовало бы сперва доказать, что они превосходят его дарованиями, энергией и любовью к республике.

Признаться, он даже был счастлив, что теперь наступил момент, когда он может защитить Дантона, когда он может доказать другу свою любовь и преданность. Тут была еще одна тонкость. Робеспьер пока не вошел в правительство, не был избран в Комитет общественного спасения, но то, что старые вожди нуждались в его поддержке, ясно показывало всем, что Робеспьер выдвигается на первое место в революции.

Когда началась чистка Якобинского клуба, причем она не коснулась только одного Робеспьера, что тоже говорило о многом, наступила очередь и Дантона предстать в положении обвиняемого. Это произошло в конце зимы. Дантона упрекали в том, что он будто бы призывал отказаться от суровых мер революционного правительства. Вообще-то обвинение было близко к истине. Но нельзя было выдавать Дантона и тем самым усилить партию эбертистов, да и потом Дантон еще был дорог Робеспьеру. И Робеспьер протянул ему руку помощи, думая, что теперь Дантон станет его верным союзником:

— Чем больше у человека мужества и патриотизма, тем больше враги общественного дела домогаются

его гибели. О, если б на защитника свободы не клеветали, это было бы доказательством того, что нам уже нет надобности бороться ни со священниками, ни с дворянами. Враги отечества осыпают похвалами только меня, но я отрекаюсь от них. Неужели они думают, что рядом с этими появляющимися в известных листках похвалами я не вижу ножа, которым хотят резать отечество?

13 фримера Робеспьер сделал попытку образовать Комитет справедливости и сделал это умело, не оставив повода крайним революционерам обвинить правительство в умеренности (кто мог возражать против пересмотра дел невинно осужденных?). Но этот ловкий маневр был сорван действиями Филиппо и Демулена. Первый яростно обрушился на Венсана и Ронсена, обвинив всех эбертистов в предательстве. Второй своей горячей поддержкой придал идее Комитета справедливости вид контрреволюции.

Филиппо сам поставил себя в положение человека, который или прав, или, если клеветает, то должен отправиться на эшафот. Напрасно Робеспьер пытался умерить пыл Филиппо, доказывая всем, что Филиппо может ошибаться, и эти ошибки простительны из-за его горячности. Филиппо не принял спасительной поддержки.

Демулен же стал утверждать, что противниками революции являются слабые женщины, старики, больные и худосочные, а никаких заговорщиков нет и в помине. Создание Комитета милосердия (так Камилл называл Комитет справедливости) он громогласно возложил на Робеспьера, и тем самым поставил того в трудное положение. Признай Робеспьер правильность призывов Демулена, он сам, а за ним и правительство предстали бы в глазах крайних революционеров оплотом умеренных. Эбертистам нельзя было

давать такой козырь, и от Комитета справедливости пришлось отказаться.

Камилл начал издавать газету «Старый кордельер». Робеспьер думал, что эта газета поможет ему сдерживать натиск ультрареволюционеров. Он предварительно просмотрел первые два номера, а просматривать третий отказался, чтобы не говорили, будто «Старый кордельер» — это рупор Робеспьера.

Чем же ответил Камилл на это доверие? Неожиданным страшным ударом! Камилл опубликовал якобы невинные переводы из Тацита, где каждая строчка высмеивала режим революционной диктатуры.

Робеспьер помнит этот текст!

«В тиране все вызывало подозрительность. Если гражданин пользовался популярностью, то считался соперником государя, могущим вызвать междоусобную войну. Такой человек признавался подозрительным...

Если, напротив, человек избегал популярности и сидел смиренно за печкой, такая уединенная жизнь, привлекая к нему внимание, придавала ему известный вес. В подозрительные его.

Если вы были богаты, являлась неизбежная опасность, что вы щедростью своей подкупите народ. Вы человек подозрительный...

Если вы были бедны — помилуйте, да вы непобедимый властитель, за вами надо установить строгий надзор! Никто не бывает так предприимчив, как человек, у которого ничего нет. Подозрительный...

Доносчики рядились в самые лучшие одежды... Донос был единственным средством к преуспеянию».

Враги республики нашли в этом тексте прямую аналогию. Третий номер «Старого кордельера» вышел под ликующие крики роялистов.

Читая этот номер, Робеспьер ощущал почти физическую боль. Он прекрасно понимал, что стрела нацелена в него. Робеспьер, который всегда последовательно отстаивал верховластие народа, Робеспьер, который еще в 91-м году противился закону о смертной казни, Робеспьер, который и сейчас прилагал максимум усилий, чтобы не дать волне бешеного террора захлестнуть Францию, — был обвинен в злодейской тирании! В свое время ни Гаде, ни Бриссо — уж как они его ненавидели — и то не решились на это. И вот как бы подведен итог его деятельности, вот к чему пришел Робеспьер. И кто нанес вероломный удар? Ближайший друг, Камилл Демулен.

Этот номер ему стоил нескольких бессонных ночей. В одиночестве, когда не можешь заснуть, обида кажется еще острее.

Возмущенные якобинцы исключили Демулена из клуба, но Робеспьер выступил в защиту старого товарища и добился отмены этого решения. Он простил ему все. Робеспьер изобразил Демулена таким, каким тот и был: слабым, доверчивым, часто мужественным, всегда республиканцем, человеком, любящим свободу. Тем не менее он серьезно посоветовал Демулену остерегаться неустойчивости своего ума и чрезмерной поспешности в суждении о людях.

Но когда Робеспьер предложил ему забыть ошибки и сжечь номер, Камилл вдруг сорвался:

— Сжечь не значит ответить!

С тех пор Демулен демонстративно поддерживал дружбу только с Дантоном.

Но сам Дантон, в то время, когда Демулен вел в «Старом кордельере» войну с эбертистами, Дантон, всем известный как их злейший враг, добился того, что Ронсен и Венсан были освобождены из тюрьмы.

С подозрением следил за всем этим Робеспьер. Он знал Дантона как великого мастера компромисса. Действительно ли Дантон стремится к единству монтаньяров или просто хочет сколотить вокруг себя партию, чтобы свергнуть революционное правительство?

Наконец, когда разгромлены эбертисты, Робеспьер видит, что революционное правительство осталось лицом к лицу с могущественной фракцией умеренных, требующей остановки революции. Сторонники Дантона Тальен и Лежандр избираются председателями, первый — в Конвенте, второй — в Якобинском клубе. Робеспьер замечает, что Дантон окружен разношерстной компанией, куда входят люди типа Фабра д'Эглантина, которого он всегда считал очень опасным, и люди типа Лакруа, то есть отъявленные мошенники. Хочет того Дантон или нет, но на него открыто возлагают надежды роялисты, он стал кумиром всех врагов Комитета общественного спасения и истинным вождем оппозиции.

Но, может, все это произошло и не помимо воли Дантона? Робеспьер вспоминает, что Дантон в свое время крутился и возле Мирабо, и возле герцога Орлеанского, и был связан с Дюмурье, пытался заключить союз с жирондистами.

Робеспьер понимает, что перед революционным правительством выбор: или нанести сокрушительный удар умеренным, или самому погибнуть от их руки. Пусть у людей, окружавших Дантона, больше заслуг перед революцией, чем у членов революционного правительства, но правительство ведет революцию вперед, а дантонисты всячески препятствуют этому.

Билло-Варен, Вадье и Сен-Жюст требуют предать суду Дантона. Робеспьер не спешит выдать прославленного вождя революции. Он чувствует, что, кроме

интересов общественных, у людей, требующих ареста Дантона, существуют еще личные мотивы. Вадье очень озлоблен, Билло-Варен — честолюбив, а Сен-Жюст — просто фанатик. Недаром в армию Робеспьер всегда посылает Сен-Жюста в сопровождении доброго и рассудительного Леба. Сен-Жюст неумолим к чужим слабостям. Сен-Жюст убежден, что «в любви к отечеству есть что-то ужасное, она безжалостно убивает все».

Но если Робеспьер сохранит Дантона (который теперь превратился в развращенного циника и предал революцию), тогда его врагом станет один из лидеров Комитета общественного спасения Билло-Варен, и Робеспьер потеряет дружбу верного и стойкого патриота Сен-Жюста.

Робеспьер колеблется. Но тут друзья Дантона совершают роковую ошибку. Они открыто начинают уговаривать Робеспьера спасти Дантона и тем самым спасти самого себя. Мысль их сводится к следующему: если человек с такими заслугами, как Дантон, будет осужден, то в революции никто не будет уже защищен от вражеских стрел.

Они хотели испугать Робеспьера! Это решило все.

Ночью на объединенном заседании Комитета общественного спасения и Комитета безопасности члены революционного правительства написали на клочке бумаги от старого конверта приказ об аресте Дантона. Первым подписался Билло-Варен. Предпоследним — Робеспьер.

Суд над Дантоном надо было организовать так, чтобы не вызвать смятения в умах честных патриотов, для которых имя Дантона все еще неразрывно связывалось с революцией. Поэтому дантонистов объединили в один процесс с Шабо, Базиром, Фабром, Делоне и другими, привлеченными к суду по обвине-

нию в государственном подлоге. Сюда же попал и бывший член Комитета общественного спасения Эро де Сешель. Народу должно быть ясно, что зловещие цу-пальца иностранного заговора схватили не только мошенников, но и политиков — так будет поучительнее.

Насмешливый, ироничный Эро всегда вызывал раздражение в Робеспьере. Робеспьеру были известны его скандальные кутежи с Дантоном и с аббатом д'Эспаньяком.

Как-то Сен-Жюст показал Робеспьеру записку от 7 июня 1793 года, адресованную библиотекарю и подписанную Эро де Сешелем: «Дорогой согражданин! Будучи обязан вместе с четырьмя из моих сотоварищей приготовить к понедельнику план конституции, я прошу вас от их и своего имени достать немедленно законы Миноса, которые должны находиться в собрании греческих законов. Нам они крайне нужны».

Законов Миноса никогда не существовало в природе. Вероятно, этим письмом Эро хотел мистифицировать своих коллег и поставить их в смешное положение, когда они с трибуны Конвента будут с пафосом ссылаться на законы Миноса. Поэтому Робеспьер молчал, когда 11 жерминаля Сен-Жюст говорил в Конвенте: «Мы помним, что Эро с чувством отвращения безмолвно следил за работой людей, набрасывающих план той конституции, бесстыдным докладчиком которой он сделался».

С Фабром и Шабо дело обстояло проще — против них были вещественные улики. Что касается Дантона, то тут было сложнее. Нельзя предавать революционному суду человека с его именем только за ошибки сегодняшнего дня. И Робеспьер, предложив тезисы доклада Сен-Жюсту, посоветовал тому обратить внимание на двусмысленность поведения Дантона и в прошлом.

Однако то, что для Робеспьера представлялось лишь возможным, для мрачного, одержимого Сен-Жюста было бесспорным. В своем докладе Сен-Жюст изобразил Дантона как соратника герцога Орлеанского, Мирабо, Ламета, Дюмурье, Бриссо, как человека, спровоцировавшего бойню на Марсовом поле, как политика, трусливо ожидавшего, чем окончатся события 10 августа. Суровая подозрительность Сен-Жюста, умелая логика в подаче фактов, искренность оратора убедили и напугали Конвент. Голосом Сен-Жюста говорила смерть.

Робеспьер понимал, что Сен-Жюст явно перегнул палку. Но отступить уже было нельзя. Это означало бы скомпрометировать революционное правительство, революционный суд и склонить чашу весов на сторону умеренных.

Тем не менее Робеспьер еще надеялся спасти Дантона и Демулена от казни. Он думал, что результатом процесса будет разгром партии умеренных, а сами Дантон и Демулен поймут, куда их завело отступничество, одумаются и признают свои ошибки. Тогда Робеспьер смог бы протянуть им свою руку.

Робеспьер отправился в Люксембургскую тюрьму. Он хотел увидеться с Демуленом. Но гордый Камилл отказался от встречи.

Это было печальное зрелище: Дантон и Камилл на скамье подсудимых, в компании мошенников и откровенных предателей! Дантон и Камилл — последние из оставшихся в живых друзей Робеспьера. Если бы все было спокойно, он бы спас им жизнь. Но судьба распорядилась иначе. События были сильнее его.

Едва начался процесс, как Дантон, вместо того, чтобы образумиться и положиться на милосердие революционного суда, взял на себя роль нападающего. План защиты Дантона и Лакруа заключался в том,

чтобы взволновать народ, придать процессу размеры большого политического боя. Подсудимые заявляли, что хотят разоблачить диктатуру Комитета общественного спасения, и требовали от суда разрешения написать в Конвент.

Исполниись подобное требование — и Комитет общественного спасения сел бы на скамью подсудимых, а подсудимые — на место судей. Это привело бы к дезорганизации революционного аппарата, это вызвало бы смуты в стране. Поэтому пришлось пойти на нарушение процессуальных и юридических норм.

Робеспьер недаром подозревал, что за широкой спиной Дантона группируются заговорщики всех мастей. Если бы процесс затянулся, это привело бы к волнениям в Париже.

Агенты донесли, что в тюрьмах зреет заговор, возглавляемый другом Дантона генералом Диллоном, что заговорщиков снабжает деньгами Люсиль Демулен. Люсиль! Зачем красивые женщины лезут в политику? Их чары бессильны перед ножом гильотины.

Нельзя было оставить Дантона в живых, не вызвав новую гражданскую войну. В любой момент ловкие заговорщики могли бы освободить Дантона из тюрьмы, и он бы стал знаменем реакции.

Суд приговорил всех подсудимых к смерти.

В то утро, когда Дантона и Демулена везли на казнь, в доме Дюпле были заперты все окна. Робеспьер лежал ничком на кровати, чтобы не видеть, не слышать, как проедет страшная процессия. Он представлял себя самого на скользком помосте и словно чувствовал холод стального ножа.

Но когда послышался стук колес по булыжной мостовой, Робеспьер встал. Он поймал себя на странном желании: ему хотелось в последний раз взглянуть на Дантона и Демулена, увидеть их лица, лица людей,

обреченных на смерть. Он подошел к окну, но в последний момент заставил себя не отодвигать занавеску.

Еще вечером, сославшись на болезнь, он просил, чтоб к нему никого не пускали. Никто из семейства Дюпле не решался подняться в его комнату.

Но если бы кто-нибудь случайно открыл его дверь, он был бы изрядно удивлен: не больной и страдающий Робеспьер предстал бы перед ним. Робеспьер ходил из угла в угол и сам чувствовал, что лицо его пышет злобой. Да, злобой и ненавистью. Иногда он останавливался, сжимал кулаки, садился за стол, но тут же вскакивал и опять начинал мерить шагами комнату.

Что ж, если Робеспьер лишился старых друзей, неужели теперь он проявит к кому-либо милосердие? Неужели отныне дрогнет его рука? Нет, он будет мстить. Пусть заговорщики не ждут пощады. Он отыщет их, куда бы они ни спрятались. Суд будет короток — только гильотина. Теперь его ничто не остановит. Ни одного роялиста, ни одного аристократа не останется во Франции. Да, он не пожалел товарищей, но пусть и остальные не рассчитывают на снисхождение. И когда будут уничтожены все враги, он даст стране новую гражданскую религию. И Франция превратится в первое государство свободы и справедливости. Доброжелательные его граждане обретут мир и счастье. И тогда он восстановит для потомков доброе имя Камилла Демулена. И тогда он поставит памятник Жоржу Дантону, знаменитому вождю революции, который, будучи приговорен к казни, отказался бежать (да, Робеспьеру известно, что происходило в тюрьме), сказав великие слова:

— «Разве можно унести отечество на подошвах своих башмаков?»

В ту ночь — если четыре часа это ночь, четыре часа, заполненные суетой дневных дел, и только потому, что дела складываются более удачно, чем днем, да иногда принимают несколько странный оборот (он прогуливался с Дантоном по крыше Тюильрийского дворца), понимаешь, что это все снится, и то понимаешь только утром, — в ту ночь он сказал Дантону (Дантон часто присутствовал в его сновидениях, и он уже к этому привык) одну фразу, четкую фразу, с которой должен был бы начинаться его доклад.

Но утром от сна остались бесцветные лохмотья. Беснадежные попытки вспомнить — что же он сказал Дантону. И он разозлился. В конце концов, это просто безобразие — найти такую важную мысль и забыть, забыть начисто. Или он напрасно себя винит? Но кто же тогда виноват? Он обязан был вспомнить, раз это так необходимо.

И чувство досады, чувство досады на самого себя не покидало его целый день.

А утром к нему пришли агенты. Их надо было выслушать, ибо Робеспьер должен узнавать новости раньше всех.

И потом надо было просмотреть письма. Пришедшие из отдельных департаментов, они воссоздавали картину того, что происходило сегодня во Франции.

С двенадцати до пяти он заседал в комитете. Ленде объявил, что запасов продовольствия в Париже хватит лишь на неделю. Карно говорил о положении в Вандее. Вадье принес материалы, показывающие, что агенты Питта активизируют свою подрывную деятельность. Комитет принял разумные постановления. Заседание прошло спокойно и без эксцессов. Собственно, Робеспьер мог



СЕНТ-ЖЮСТ



БЕРНИО



ГАДЕ



КЛОУТС



ШОМЕТ



ВБЕР



ДЕМУЛЕН



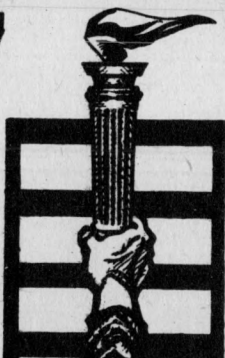
СЕН-ЖЮСТ



LA GUILLOTINE



ГЕРОИ
И ЖЕРТВЫ
РЕВОЛЮЦИИ



БАРНАВ



ЖАНСОНЕ



МАРАТ



БРИССО



ДЕ СЕШЕЛЬ



ШАБО



РОБЕСПЬЕР



ДАНТОН

бы и не присутствовать. (А может, именно благодаря присутствию Робеспьера декретировали послать новые продовольственные отряды в провинцию, а Сен-Жюст не сцепился с Карно, а Билло-Варен был умерен и не требовал повальных арестов?)

С пяти до восьми он был в Конвенте. Вот в Конвенте он мог бы и не сидеть: докладывал Барер, а Робеспьеру предстоял свой доклад, который еще не написан, и никто, кроме него, этот доклад не напишет. Однако было бы странно, если бы при важном сообщении Барера, одобренном в комитете, вдруг отсутствовал Робеспьер. Кое-кто бы мог подумать, что Робеспьер не согласен с Барером. Приходилось учитывать и такое.

С восьми до одиннадцати вечера Робеспьер вел собрание Якобинского клуба. Собрание было бурным. В последние дни новые патриоты, словно сговорившись, обрушили град обвинений на заслуженных лидеров революции. Конечно, бдительность необходима, и критику надо приветствовать. Но бывало, что за пылкими речами стояло корыстное стремление убрать с государственного поста неугодного человека и самому занять его место. Обвинения звучали серьезно, ведь почти у каждого депутата и даже члена правительственных комитетов можно было найти ошибки в прошлом или настоящем. Исключение из Якобинского клуба вело к гильотине. Только авторитет Робеспьера мог защитить верных революционеров. Робеспьер давно научился распознавать фракционную интригу. Кричать громче всех — патриотизм дешевый и дурного тона.

За поздним ужином у Дюпле присутствовали Сен-Жюст и Леба. Надо было поговорить с моло-

дыми людьми — это было им важно. Надо было выслушать новую пьесу, которую разучили Элеонор и Элизабет, иначе бы девушки обиделись, обиделся бы и их отец, старик Дюпле.

В час ночи он поднялся к себе в комнату. Наконец он один. Усталости он не чувствовал, а чувствовал лишь утреннюю досаду на самого себя — прошел еще день, а то, что Робеспьер, именно Робеспьер, мог сделать, не сделано.

Конечно, все добрые люди давно спят, а если не спят, то пьют вино или веселятся с женщинами. И тут он вспомнил о Дантоне, которого сегодня не видел, и подумал, что тот уж непременно где-нибудь в веселом обществе. И вспомнив о Дантоне, он разозлился; почему-то он был уверен, что Дантон сейчас пьянствует и веселится. Ну что ж, каждому из нас придется когда-то за все платить. И пусть Дантону — хоть он этого и не узнает — будет стыдно: для Робеспьера день не кончен, он будет еще работать.

Он сел к столу, но продолжал думать о Дантоне и продолжал злиться на него (за то, что тот неизвестно чем занимается) и на себя (за то, что еще не написал доклад). Но думая о Дантоне, он вдруг вспомнил, что сказал ему во сне. Именно так надо было начинать:

«Теория революционного правительства так же нова, как и революция, ее породившая».

И пошла работа. И он почувствовал себя прекрасно.

В конце концов, дело было не в этой фразе. То же самое можно было сказать по-иному. Но он любил, чтобы мысль начиналась с краткой, точной формулы. Он знал за собой эту слабость.

...Приятно вспомнить, да? Когда-то ты умел работать. Но ведь не случайно твоя память восстановила картину той далекой ночи. Ты и тогда все время думал о Дантоне. И сейчас ты не можешь его забыть. Он приходит к тебе каждый день, каждый час. Хочешь того или нет, ты каждый свой поступок оцениваешь глазами Дантона. Что это, угрызения совести? Безвинная жертва преследует своего палача? О нет! Вина Дантона доказана. Предателей не прощают. Тот Дантон, которого ты любил, давно исчез. Остался хитрый равнодушный интриган. И этот новый Дантон не заслуживает жалости. Но ты любил прежнего Дантона. Парадоксально, но факт: к человеку, который нам безразличен, мы относимся более терпимо. Но ты верил в него, ты надеялся на его помощь. Ты не простил ему своего разочарования в нем.

Когда изменяет близкий человек, друг, это не забывается.

И все-таки в поведении Дантона была одна психологическая загадка: почему он защищал Ронсена и Венсана?

Вызволив их из тюрьмы, он заявил, что к революционным ветеранам не следует относиться как к людям подозрительным.

Это можно понять: тем самым Дантон страховал свою жизнь. Но потом, когда вожаки эбертистов были арестованы, когда эбертизм был разгромлен, Дантон выступил в защиту Коммуны. А ведь именно в Коммуне раздавались голоса, требующие гильотинировать всех умеренных.

Значит, действительно Дантон пытался создать единый фронт против Робеспьера? А может, в нем заговорила совесть старого патриота, заинтересованного в том, чтобы силы революции не были разрознены? Может, он действовал так из добрых побуждений?

Увы, добрые побуждения, к сожалению, ничего не решали. Значение имели только поступки, только события, которые совершались в результате тех или иных поступков. А в событиях была своя парадоксальная логика — и Робеспьер вынужден был убить Дантона именно потому, что еще раньше послал на гильотину людей, жаждущих крови дантонистов.

Что же касается Эбера, то в его поведении не было никаких психологических загадок. Тысячу раз был прав Сен-Жюст, который говорил, что эбертисты занялись политикой только для того, чтобы прославиться и стать влиятельными людьми в государстве.

Комитет общественного спасения удовлетворил экономические требования эбертистов. Но Эбер хотел террора только ради террора. Его не интересовало радикальное решение продовольственных проблем — он предпочитал гильотинировать торговцев морковью и наводить ужас на мирных жителей. Он хотел поставить Коммуну, подчиненную ему, выше Конвента и комитетов. На волне народного недовольства, вызванного голодом и войной, он стремился прийти к власти.

О том, что может возникнуть такая опасность, Робеспьер предупреждал уже давно. Он пытался предотвратить пролитие крови, он пытался предостеречь патриотов. Увы, демагогия и заговор сделали свое дело.

Внутренние враги французского народа были разделены как бы на два отряда, которые шли под знаменами различных цветов и различными путями. Но цель у них была одна: дезорганизация народного правительства, падение народного Конвента, то есть торжество тирании. Одна из этих фракций хотела превратить свободу в вакханку, другая — в проститутку.

люционерами (может быть, и остроумно, но вряд ли справедливо).

Лжереволюционер еще чаще находился не по ту, а по эту сторону революции; смотря по обстоятельствам он был то умерен, то одержим патриотизмом. Какие у него будут мысли на следующий день, это определялось в прусских, английских, австрийских и даже московских заговорщицких центрах. Он противился всем решительным мероприятиям, но, будучи не в силах помешать им, старался довести их до крайности.

(От автора: тут мы вынуждены вмешаться в ход мыслей Робеспьера, чтобы у читателя, который знакомится с субъективными рассуждениями героя, не создалось превратного представления о некоторых деятелях революции и их поступках.

Робеспьер был искренне убежден, что все антиправительственные выступления как слева, так и справа, были спровоцированы иностранными агентами. Он не только так думал, он и говорил о том же в Конвенте 25 декабря 1793 года: «Иностранцы казались некоторое время властителями общественного спокойствия. Деньги обращались или исчезали по их усмотрению. Народ имел или не имел хлеба, если они того хотели; толпы народа у дверей булочных образовывались и рассеивались по их знаку. Они окружают нас своими наемными убийцами, своими шпионами; мы это знаем, мы это видим, и они живут!»

Только помня все это, можно понять отношение Робеспьера к эбертистам. Кем же были эбертисты на самом деле? Попытаемся разобраться объективно. Конечно, в политике самого Эбера было много промахов, и некоторым людям из его партии Робеспьер дал очень точную характеристику. Конечно, эбертисты

пытались осуществить государственный переворот, — правда, эта попытка была не очень решительной, и нам кажется, что этим они хотели вынудить правительство принять их требования. Как справедливо замечает Энгельс, в вопросах внешней политики «Коммуна с ее крайним направлением стала излишней; ее пропаганда революции сделалась помехой для Робеспьера, как и для Дантона, которые — каждый по-своему — хотели мира». И, разумеется, наивно предполагать, будто очереди у булочных создавались или исчезали по желанию иностранных агентов. Положение городских низов было крайне тяжелым, а эбертисты последовательно защищали интересы городской бедноты. Несмотря на все мероприятия правительства, Париж голодал, и поэтому народ был недоволен, и чем больше росло это недовольство, тем яростнее становились нападки эбертистов на комитеты.

Теперь, извинившись за вынужденное авторское вмешательство, вернемся к рассуждениям Робеспьера).

Какой же еще оставался метод борьбы со свободой? Превозносить сладости рабства и благодеяния монархии? Вырывать из могилы трупы дворян, духовенства и требовать неотъемлемых прав высшей буржуазии на двойное наследство?

Нет! Гораздо удобнее было надеть личину патриотизма, чтобы исказить величественную драму революции при помощи наглых пародий, и скомпрометировать дело свободы при помощи лицемерной умеренности или притворной экстравагантности. Поэтому аристократия вошла в состав народных обществ, контрреволюционная спесь спрятала под лохмотьями свои заговоры и кинжалы, фанатизм разбил свои соб-

ственные алтари. Роялизм воспевал победы республики, дворянство нежно обнимало равенство, чтобы задушить его в своих объятиях, тирания, запачканная кровью защитников свободы, рассыпала цветы на их могилах.

Когда нужно было действовать, изменники разглагольствовали. Когда нужно было совещаться, они рвали в бой. Если вы стремились обуздать мятежников, изменники напоминали вам о милосердии Цезаря. Если вы пытались спасти патриотов от преследований, изменники приводили вам в качестве примера для подражания стойкость Брута.

Когда полезен был мир, они говорили о лаврах победы. Когда необходима была война, они превозносили сладости мира. Когда нужно было защищать свою территорию, они хотели идти наказывать тиранов за горами и морями. Когда нужно было брать назад наши крепости, они хотели штурмовать церкви и небо. Они забывали об австрийцах, чтобы вести войну с ханжами. А когда нужно было поддержать нас преданностью союзников, они раздражались бранью против всех правительств мира и требовали привлечь к суду даже самого Великого Могола.

Когда народ шел в Капитолий возблагодарить богов за свои победы, они запевали заунывную песню о наших прежних поражениях. Когда нужно было осуществить суверенитет народа и сосредоточить его силы в прочном и уважаемом правительстве, они находили, что принципы управления нарушают народный суверенитет. Когда нужно было добиваться прав народа, угнетаемого правительством, они говорили лишь об уважении к законам и о повиновении установленным властям.

Они нашли превосходные средства «помощи» республиканскому правительству: это — дезорганизовать

его, совершенно опозорить и вести борьбу с патриотами, содействовавшими нашим успехам.

Почему их желание предупредить зло всегда обрачивалось его усилением? На севере перерезали всех кур под предлогом, что куры клюют зерно. На юге зашла речь об уничтожении тутовых и апельсиновых деревьев, потому что шелк якобы является предметом роскоши, а апельсины — излишеством.

Посеяв повсюду семена гражданской войны путем неистового натиска на религиозные предрассудки, они постарались вооружить фанатизм и аристократию и лишить страну того спокойствия, к которому привела здравая политика свободы вероисповедания.

Особенно усердствовали ультраревOLUTIONеры Клоотс и Шомет. (Фуше в Лионе тоже на всех церквах вывесил надписи: «Храм равенства». Сейчас Фуше прячется за спину Колло д'Эрбуа, но погоди, Робеспьер до тебя доберется.)

Люди, преклоняющиеся перед внешними формами патриотизма, предпочитают износить сотню красных колпаков, чем сделать хоть одно доброе дело. Но если присмотреться повнимательнее, то связь между красными колпаками и красными каблуками просматривается гораздо явственнее, чем может показаться с первого взгляда. Разве пьяные оргии, что Шомет и Клоотс устраивали в церквах, разве развратные девки, пляшущие на алтарях, не отталкивали от правительства верующих патриотов?

Эбер и Клоотс настаивали на том, чтобы довести до победного конца войну против всей феодальной Европы.

Но разве одна Франция может победить Европу? Требование войны до победного конца означало бессмысленную гибель тысяч французских солдат. Но какое дело до них Клоотсу, немецкому барону? Пусть

льется французская кровь, главное — удовлетворить свое высшее честолюбие!

В этом отношении даже Дантон стоял ближе к революции. Все-таки он был патриотом и не хотел напрасных жертв. Так же, как и Робеспьер, Дантон стремился к миру. Но если Робеспьер пытался поссорить только Австрию и Пруссию, то Дантон желал невозможного — заключения мира с Англией, оплотом всех заговорщиков!

Политика, проводимая Клоотсом, была не только политикой авантюриста. Клоотс являлся орудием иностранного заговора. Чего же еще ожидать от человека, связанного с банкирами, обладающего рентой размером свыше ста тысяч ливров? Он щеголял званием гражданина мира, но Робеспьер вовремя разоблачил его и добился изгнания из Якобинского клуба и исключения из состава Конвента.

Может быть, Клоотс осознал свои ошибки? Ничуть. Он жаловался своим друзьям, что пока Робеспьер говорил, как Магомет, он, Клоотс, удивленно спрашивал себя: «Про меня ли он говорит?» Ох уж эти невинные овечки со змеиным жалом!

Или взять того же Шомета. Шомет упорно утверждал, что в условиях нынешней революции будет обязательна непримиримая борьба богачей против бедняков. Слов нет, Робеспьер тоже не любит богачей и мечтает о всеобщем равенстве. Но разве время сейчас разжигать борьбу, да еще непримиримую, когда надо объединять все силы нации? Между бедными и богатыми всегда будут противоречия — тут Шомет прав. Но он доводил эту мысль до абсурда, деятельность Шомета, прокурора Коммуны, обостряла взаимоотношения буржуа и пролетариев.

Шомет был более осторожен, чем Эбер и Клоотс. После резкого протеста Робеспьера он отказался от

идеи дехристианизации Франции. Он не поддержал Эбера, когда тот призвал к восстанию. Вероятно, он понял, что парижане не пойдут за клубом Кордельеров. Но после казни Эбера было опасно оставлять руководство Коммуной человеку, разделявшему его убеждения. Изменилась обстановка, и он бы попытался отомстить за своих единомышленников. Уж если Робеспьеру пришлось пожертвовать Камиллом Демуленом, то вряд ли Шомет мог рассчитывать на снисхождение.

Почему же Робеспьер долгое время сохранял союз с людьми, которые, как он видел, вольно или невольно переходили на сторону контрреволюции? Почему он еще раньше не расправился с ними?

Но Робеспьер никогда не обладал диктаторской властью. Кроме того, эти люди пользовались популярностью и влиянием и до какого-то момента помогали революции. Естественно, что Робеспьер старался не ослаблять революционный блок, а, наоборот, направить заблудших на путь истинный.

...Пожалуй, в эпоху Учредительного собрания и даже в 91—92-м году лично ему, Робеспьеру, было гораздо легче — легче несмотря на то, что его сначала не признавали, а потом травили со всех сторон, легче несмотря на то, что в то время в руках его врагов были правительство, пресса, армия, ибо тогда Робеспьер опирался на могущественную силу, силу своего убеждения. Он был один, но он ни с кем не был связан. Смело, никого не боясь, разоблачал происки роялистов, объяснял очередные задачи революции, указывал путь, каким должна была пойти страна.

Но в 93-м году, когда Робеспьер фактически пришел к власти, все решительно изменилось. Отныне его слова стали не просто мнением частного человека.

234 Как правило, за его речами следовали соответствующи-

щие декреты. Это означало, что он уже не мог руководствоваться только собственными убеждениями, он должен был учитывать конкретную обстановку, сложившуюся в стране, реальную расстановку сил. Робеспьер вынужден был непрерывно вступать в союзы с теми или иными людьми, лавировать между могущественными фракциями.

Надо было учитывать еще и другое. Робеспьер помнил 14 июля 89-го года. Кто поднял народ, кто призвал его на штурм Бастилии? Робеспьер? Нет, то были другие люди, имена которых ему неизвестны. Кто в решающие дни осени 89-го года, когда речи о свободе заглушил топот марширующих гвардейцев, преданных королю, повел женщин на Версаль? Да, конечно, французский народ был всегда патриотичен, он сразу чувствовал измену; но ведь были еще и агитаторы, те люди, которые вовремя пришли в предместья. Кто они? Робеспьер не знает.

События 10 августа 92-го года подготовили Сантер, Лаузский, Вестерман, Шабо. Вернио с трибуны Конвента призывал к свержению монархии! В секциях вел агитацию Варле! И не Робеспьер руководил штурмом Тюильри! 31 мая 93-го года поднять Париж против жирондистов было под силу только Марату. 5 сентября 93-го года народ пришел к решетке Конвента, чтобы потребовать от законодателей поставить террор на повестку дня. Но кого тогда слушались секции? Эбера и Шомета, Билло-Варена и Колло д'Эрбуа.

Робеспьеру не нравился примитивный, рассчитанный на низкий вкус слог эберовского «Отца Дюшена». Статьи Марата он находил излишне патетичными, построенными на перехлестах и преувеличениях и основанными больше на чувствах, чем на разуме. Но народ их понимал лучше, чем академичные речи Робес-

пьера. Да, с народом надо было разговаривать особым языком.

У Робеспьера была своя аудитория. Он был всемогущ в Якобинском клубе. К каждому его слову внимательно прислушивались депутаты Конвента. Но это были подготовленные слушатели, люди, получившие достаточное образование и прошедшие определенную школу политической борьбы. С ремесленниками, бедняками Сент-Антуанского предместья надо было говорить по-другому. У Марата и Жака Ру, у Эбера и Шомета это получалось лучше.

Бесспорно, что благодаря Марату, а потом Эберу и Шомету, революционное правительство добилося единства с городской беднотой. Именно патриотизм ремесленников и рабочих, их стойкость перед лицом голода, их мужество в армии, их энергия, направленная на нужды обороны, их бдительность к аристократам и роялистам, — все это помогло Франции выстоять против европейской коалиции на фронтах и разгромить заговорщиков внутри страны. Но почувствовав силу парижских секций, Эбер и Шомет заявили от их лица претензию на полную гегемонию в революции.

Но разве городская беднота — это вся Франция? Разве могут сапожники и грузчики ответить на вопросы всех классов населения, удовлетворить желания торговцев и крестьян, мелких буржуа и интеллигенции? Люди из городских низов — это в большинстве своем верные патриоты, но из-за темноты и невежества, естественного отсутствия политического опыта (ведь рабочие и ремесленники стоят все-таки у станка, а не заседают в собрании) они не в состоянии понять всех проблем революции. Однако недостаток знаний их не смущает. Они самоуверенно полагают, что социальное происхождение с лихвой компенсирует политическую слепоту. Поэтому они легко попадают

на удочку к ловким демагогам, которые выгодно для себя используют трудности текущего момента.

Пришло время, когда надо было ограничить самостоятельность секций и народных обществ, назначив туда своих проверенных агентов. Надо было убедить городскую бедноту в том, что решать очередные задачи должны подготовленные вожди, имеющие достаточный опыт и знания, вожди, прошедшие через все революционные бури.

Зимой 1794-го года усилился экономический кризис. Хлеба было мало, и он был плохого качества. Мяса вообще не было. Крестьяне, напуганные секционными комиссарами, захватывающими их продукты для распределения, все реже приезжали в город. Одни эбертисты не могли предложить ничего решительного. Эбер по-прежнему кричал, что вся беда в скупщиках и спекулянтах. Раздавались даже голоса, требующие повторить сентябрьские дни 92-го года. (Можно было подумать, что стоит только перебить заключенных, как сразу наступит изобилие!)

Очередь в булочных, распределение продуктов по карточкам, падение курса ассигнаций не могли не вызвать народного недовольства. А эбертисты во всех этих трудностях винили только революционное правительство. Они упрекали Робеспьера в попустительстве врагам народа. Они утверждали, что комитеты не применяют решительных мер. Наконец, они открыто призывали к свержению Конвента и комитетов.

А ведь правительство делало все возможное. 3 вантоза Барер представил на рассмотрение Конвента проект нового всеобщего максимума. Сен-Жюст предложил вантозские декреты.

Вантозские декреты являлись наиболее смелым, решительным шагом правительства навстречу бедноте. Собственность изменников дворян и буржуа

передавалась народу. Обоим комитетам было поручено совместно установить, чье именно имущество подлежит конфискации, а Комитету общественного спасения — составить список нуждающихся патриотов, между которыми конфискованное имущество должно быть распределено.

Если бы у Эбера была хоть капля патриотизма, он оставил бы свои нападки на правительство. Но предложения Сен-Жюста Эбер воспринял как отступление. Он решил, что его просто боятся, и пошел на восстание. Эбер и Вевсан хотели арестовать комитеты, перерезать своих личных врагов, назначить Великого судью и раздать народу деньги, найденные в монетном дворе.

Однако Сен-Жюст не был человеком, бросающим слова на ветер. Недаром он предупредил, что терпор — орудие обоюдоострое.

Секции не поддерживали призыв Эбера. Колло д'Эрбуа приехал в клуб Кордельеров и склонил его на сторону якобинцев. Было торжественно снято черное покрывало, которым кордельеры завесили Декларацию прав. Эбер пытался оправдываться, что, мол, его неправильно поняли. Но судьба его партии была решена. Разве существовала гарантия, что Эбер не повторит своей попытки вновь? Члены комитета единодушно подписали приказ об аресте Эбера.

Робеспьер не присутствовал на этом решающем заседании — он был болен. Но появившись сразу после болезни, Робеспьер заявил, что было бы величайшей опасностью привлекать патриотов к делу о заговорщиках, и этим остановил преследование рядовых эбертистов и внес успокоение.

На суде Эбер лицемерно кричал о нарушении процессуальных норм. Но в свое время именно под давлением Эбера Робеспьер внес предложение о том, что

политические процессы должны продолжаться не более трех дней, если присяжным все ясно. Вряд ли сам Эбер требовал бы соблюдения юридических формальностей, если бы одержал победу и на скамье подсудимых оказались Робеспьер и члены революционного правительства.

Но и тут его враги нашли повод для интриги. В разгроме эбертистов кроме Сен-Жюста видную роль сыграли Колло д'Эрбуа и Билло-Варен. Колло д'Эрбуа переманил на сторону правительства Клуб кордельеров, а Билло-Варен объяснил Конвенту причину ареста заговорщиков. Между тем и Колло д'Эрбуа и Билло-Варен не спешили принять на себя лавры победителей. Спустя два месяца они стали говорить, что Клуб кордельеров потерял свое влияние из-за Робеспьера и что он — главный виновник пролития крови патриотов.

Если бы в своих поступках Робеспьер действительно руководствовался только личными мотивами, то ему был бы невыгоден разгром обеих враждующих фракций. Ведь фракции, нападая одна на другую, в свою очередь нуждались в защите Робеспьера. Робеспьер, стремясь к единству революционных сил, поддерживал попеременно то Эбера, то Демулена. Поэтому и дантонисты и эбертисты вынуждены были (хотели они того или нет) прислушиваться к его советам и, в пику друг другу, восхвалять Робеспьера.

Эбер, Моморо, Венсан, Ронсен, Клоутс были гильотинированы. Но потом, встречая в Конвенте депутатов-дантонистов, Робеспьер видел на их лицах глухое торжество, опьянение победой. Умеренным казалось, что правительство в их руках. Медлить с нанесением удара по этой партии было смертельно опасно.

...Теперь Сен-Жюст говорит, что революция словно ожоченела. Жизнь в секциях замерла. Лишь немно-

гие патриоты регулярно посещают собрания. Всюду заметно равнодушие, никто не решается самостоятельно мыслить, кажется, всем на все наплевать. Как вдохнуть жизнь в народные секции, заставить их быть такими же деятельными, как в прошлую осень и зиму? Ведь сейчас интриги заговорщиков могут зайти так далеко, что Робеспьеру и революционному правительству потребуется поддержка бдительной и патриотической городской бедноты. Но кто выведет народ на улицы, кто сможет поднять парижские предместья? Аппарат правительства состоит из послушных чиновников. Чиновники исполнительны, но все горе в том, как они исполняют. Тупость и безразличие новой бюрократии дискредитируют в глазах народа все благие начинания правительства. Ревностные, но бездушные идиоты, облеченные властью, опаснее врагов! И уж конечно, нынешние руководители Коммуны не пользуются таким авторитетом, как Эбер и Шомет.

И еще одно сомнение постоянно тревожит Робеспьера. Да, сейчас имя злодейски убитого Марата — это символ революции, символ патриотизма, символ верности народу. Но вот интересно, на чьей стороне был бы Марат в смутные дни вантоза 94-го года? Конечно, Робеспьер почти уверен, что Марат выступал бы в защиту правительства. Ведь Жак Ру и Эбер только гнусно спекулировали светлым именем Марата, приписывая ему те слова, которых Марат даже не произносил.

Но он не произносил их тогда. А перед глазами Робеспьера прошли люди, чьи политические воззрения резко менялись за последний год. Может быть, изменился бы и Марат? Он еще в начале революции требовал только террора. Кто знает, что бы случилось, останься Марат в живых. Ведь Робеспьер помнил крутой нрав Марата, его темперамент, его

экзальтированность, постоянное стремление применять самые крайние меры. Сейчас имя Марата — опора для Робеспьера. Конечно, если бы тот Марат, Марат 93-го года, находился рядом с Робеспьером, это было бы большим счастьем для революции. Но, к сожалению, все, что ранее только намечалось, прослеживалось пунктиром в характере вождей революции, теперь доведено до своего логического конца. Видимо, Марат вовремя умер.

Слушая Давида, Робеспьер чувствовал приступ отчаянной скуки, зеленой тоски. Как и все люди искусства, Давид считал, что разбирается в политике. Избрание в Комитет общественной безопасности укрепило в нем сознание собственной значимости. Правда, политикой, как и живописью, он занимался по вдохновению. Сейчас, вероятно, он испытывал один из таких порывов. А может, он одновременно строил композицию картины? Темно-коричневый фон, в середине, выхваченная ярким лучом, фигура Давида, в решительной позе. И Робеспьер, наверное, тоже в центре, откинувшись на спинку стула, внимательно слушает. Как же Давид назовет полотно: «Призыв к действию»? Или — «Давид открывает глаза Неподкупному»?

Во всяком случае, роль трибуна Давиду явно нравилась. Что ж, с ним все в порядке. Но вот как изобразить Робеспьера? Придется, вероятно, несколько приукрасить. Ибо в данный момент лицо Робеспьера никак не соответствовало замыслу художника. Неужели Давид настолько увлечен, что ничего не замечает?

Все, что говорил Давид, было абсолютно правильно.

В Лионе пленных мятежников расстреливали из пушек. Фуше провел повальные аресты всех подозрительных. Казнили без суда и следствия.

Действительно, это ужасно, и главное, никому не нужно. И все это Робеспьер отлично знал. Поэтому, видно, и стремился придать своему лицу скучающее, равнодушное выражение.

А что еще ему оставалось? Он хотел напомнить Давиду, как тот сам голосовал в Конвенте за то, чтобы стереть Лион с лица земли, как аплодировал резким нападкам Колло д'Эрбуа на якобы нерешительного Кутона. Может, Робеспьер по собственной воле отозвал Кутона в Париж?

Однако Робеспьер промолчал. Не стоило принимать Давида всерьез. Он горячий патриот, хороший художник, но человек увлекающийся.

Робеспьер хотел сказать, что в Лионе зверски расправились с якобинцами, а голову Шалье носили на пике по улицам, и что война есть война, и он это сказал, и пожалел, что сказал.

— Ненужная жестокость рождает новых врагов,— отвечал Давид. И это было тоже правильно.

Он хотел сказать, что несправедливо его, Робеспьера, упрекать в разгуле террора. Кто как не он призывал к спокойствию, когда все требовали крови? Но это было бы похоже на оправдания, а он не видел за собой никакой вины и поэтому промолчал.

Но когда Давид предложил немедленно отозвать Фуше из Лиона, чтобы тот предстал перед комитетами и за все ответил, Робеспьер ответил решительно:

— Так и сделаем. Но не сейчас. Пока не время.

другую тему, но Давид наседал, и Робеспьер сказал:

— Судить Фуше — значит, судить и Колло д'Эрбуа.

И только теперь Давид, кажется, что-то понял.

— Великан Колло, — вздохнул Давид и сам первый заговорил о делах в Конвенте.

Но Конвент они обсуждали недолго, Давид поспешил откланяться. Он, видно, подумал, что Робеспьер боится Колло. Нет, Робеспьер никого не боялся, тем более Колло. Но ведь кроме политики есть еще отношения между людьми, и это тоже политика. Не может Робеспьер быть всегда правым, а члены комитета — всегда в чем-то ошибаться. Ведь это постепенно породит вражду в комитете, вызовет естественную неприязнь к Робеспьеру, а Робеспьеру работать именно с этими людьми. Если сейчас комитет не будет единым, его свалит контрреволюция. О каком единстве может идти речь, если члены комитета начнут подсиживать друг друга? И потом, если убрать Колло, то Эбер совсем обнаглеет, а Колло считают своим в Клубе кордельеров, и он не будет нападать на Демулена и Дантона — есть такая договоренность. И еще есть тысяча причин и обстоятельств — словом, есть политика. И если послушаться Давида, то и в Париже начнется война, война между патриотами. То-то будут ликовать в Кобленце!

А с Давидом пока лучше не общаться, подождать, пусть он успокоится. Он человек вдохновения и скоро остынет. Или загорится какой-нибудь новой идеей. Или придумает себе другую тему для картины. Или просто напишет другую картину.

А ведь тогда кто лучше Робеспьера мог понять Давида? Ведь сам же Робеспьер проповедовал незыблемость принципов, ведь сам же он был противником всяческих компромиссов. И что же?

Он хорошо помнит то время. ...Бесконечные уговоры, недомолвки, мимолетные союзы, короткие понимающие взгляды Колло и Билло-Варена. Многие недоговаривалось, но все было ясно, ибо тогда надо было не рубить, а связывать. Разрушать королевскую власть можно было сплеча — чем сильнее удар, тем лучше. Строить революционное государство надо было осторожно, — одно неверное движение, и здание рухнет. И теперь ему, Робеспьеру, странным кажется не то, что они искали компромисса, что они искали взаимопонимания, — странно то, что они уже не могут понять друг друга.

Какая черная кошка пробежала между ними? Почему его бывшие соратники видят в нем врага? Почему и его самого так раздражают их речи?

Осенью 1789-го года он выступил в Учредительном собрании против военного закона. Военный закон был принят депутатами после того, как толпа парижан убила булочника. Тогда Робеспьер говорил, что может быть, этот булочник был не виноват, но не был виновен и народ, ибо его спровоцировали контрреволюционеры голодом и спекуляцией.

С тех пор он всегда выступал в защиту народа. Он доказывал, что народ всегда прав. Вероятно, это и принесло ему славу и популярность.

Но он помнит, как скептически слушали его Мирабо и Барнав, а впоследствии — Бриссо, Бюве и Вернио. Они обвиняли Робеспьера в демагогии, они говорили, что Робеспьер играет на низменных страстях толпы.

Тогда Робеспьер был крайне левым. Но прошло время, и ему довелось услышать речи гораздо более резкие и радикальные. Сначала их произносили Марат и Жак Ру, потом Клоотс, Эбер и Шомет.

Когда Робеспьер выступал с крайне левых позиций, он чувствовал свою силу не только потому, что был абсолютно убежден в правильности своих взглядов, но и потому, что за его спиной стоял народ. Каждое его слово встречало сочувствие — ведь он громко высказывал то, о чем думал трудовой Париж. И впоследствии, как ни раздражало Робеспьера неистовство Марата, каким абсурдным ни казалось ему требование чрезвычайных мер со стороны Шомета и Эбера, он заставлял себя прислушиваться к ним, потому что он видел — эти требования нравятся народу. Иногда он ловил себя на том, что ему хотелось ответить Марату или Эберу так же, как в свое время отвечали Робеспьеру Барнав и Бюзо. Пожалуй, теперь он понял, почему, прослушав его речи, Барнав и Бюзо впадали в бешенство. Но его опыт, опыт нескольких лет революции, учил Робеспьера сдерживать свои эмоции. Он помнил, что происходило, когда депутаты пугались народного неистовства и хотели остановить революцию. Последующие события доказывали, что народ все же был прав, и бывшие знаменитые вожди отправлялись в изгнание или на гильотину.

Иногда Робеспьер был резко несогласен с теми или иными декретами — лично он считал, что совершается чудовищный перехлест. Но добиваясь, если это было в его силах, сглаживания острых углов, Робеспьер вместе со всеми вотировал эти декреты, ибо перед его глазами вставали судьбы Барнава, Бриссо и Вернио.

Раньше он обвинял своих врагов в том, что они

остановились сами и хотят остановить революцию. Но недаром он был самым популярным оратором Франции. Его образ мышления быстро усвоили, у него учились, ему подражали. Теперь ему приходилось слышать, как его обвиняли в том, что он остановился и хочет остановить революцию.

С тех пор, как во Франции начался террор, слово «умеренный» тесно сплелось со словом «враг». Человек, названный умеренным, сразу терял свое влияние. Прослыть умеренным было смертельно опасно.

Террор был вызван не только войной, спекуляциями и деятельностью заговорщиков. Террор был необходим еще и потому, что рабочий, простоявший полночи за куском хлеба, мать, получившая весть о том, что ее сын погиб на фронте, бедняк, который не мог купить себе даже вязанку дров,— все они легче переносили горе и лишения, когда видели, как каждый день гильотина рубила головы людям, повинным в их бедствиях. И, конечно, в такой обстановке высказывания эбертистов типа: «Ну-ка, сударыня-гильотина, побрейте почище этих врагов отечества! Живо, живо, нечего тут рассказывать сказки! Голову в мешок!» — находили внимательных слушателей.

Но к революции, как ко всему великому, словно пиявки, присосались мошенники, сволочи, лишенные каких-либо моральных устоев. Они не только выжидали при терроре, они использовали его в своих личных целях. Они доводили террор до изуверства, делая на этом свою карьеру. С ними одними еще можно было бы как-то справиться. Но они увлекали за собой честных и недалеких людей.

Робеспьер попытался провести чистку Якобинского клуба и тем самым положить конец интригам и расколу. Но, увы, интриги разрослись, и фракции сводили счеты чуть ли не врукопашно.

Робеспьеру удалось выгнать нескольких опасных людей, как например Клоотса. Но нельзя было исключить Филиппо, не задевая Камилла Демулена. Надо было защищать д'Эглантина, иначе под подозрение попадал Дантон. Робеспьер смог отозвать из Нанта Карье, но выгнать его из клуба было невозможно, так как за Карье стоял Колло д'Эрбуа. Нельзя было ссориться с Колло д'Эрбуа, потому что он противостоял Тальену и Баррасу, которые сначала терроризировали Бордо и Марсель, а потом стали проповедовать отмену террора. Между тем террор стал самым действенным оружием революционного правительства, и задачей Робеспьера было обосновать его необходимость.

Теория революционного правительства была так же нова, как и революция, ее породившая. Функции правительства состояли в том, чтобы направлять моральные и физические силы нации к поставленной цели. Цель революционного правительства — основать республику. Цель конституционного правительства — сохранить ее. Революция — это война свободы против ее врагов. Конституция — это режим победоносной и мирной свободы. Революционное правительство нуждалось в чрезвычайной деятельности именно потому, что оно находилось в состоянии войны. Конституционное правительство должно заботиться главным образом о гражданской свободе; революционное же правительство — о свободе общественной. При конституционном строе почти достаточно защищать отдельных лиц от злоупотреблений общественной власти. При строе революционном сама общественная власть была вынуждена защищаться от всех фракций, которые на нее нападали. Революционное правительство должно было оказывать добрым гражданам всю полноту национальной защиты.

Врагам народа оно должно было приносить лишь смерть.

Возможно, что некоторые извращения политики правительства могли напугать отдельных граждан. И тогда требовалось вносить успокоение, доказывая, что переклесты не являются системой, а наоборот, досадным исключением.

Патриотизм горяч по своей природе. Кто может хладнокровно любить отечество? Патриотизм является по преимуществу уделом простых людей*, не очень-то способных определить политические последствия гражданского поступка. Какой патриот, даже просвещенный, никогда не ошибался? Если бы можно было назвать преступными всех тех, кто в революционном движении вышел за пределы точных границ, начертанных благоразумием, то вместе с плохими гражданами пришлось бы подвергнуть опале подлинных друзей свободы и защитников республики. Нельзя убивать патриотизм, желая его исцелить.

Но как определить границы благоразумия? И, главное, где найти людей, способных их придерживаться?

Лион и Бордо, Марсель и Тулон выступили против республики. В Страсбурге зрела измена. Проконсулы, посланные Конвентом в мятежные города, своими быстрыми и решительными действиями задавили заговор. Но если Сен-Жюст, Леба и Огюстен Робеспьер** сумели обойтись почти без пролития крови, то Тальен и Баррас учинили массовые рас-

* Робеспьер отстаивал этот тезис в своем докладе «О принципах революционного правительства», прочитанном в Конвенте 25 декабря 1793 года.

** Огюстен Робеспьер — младший брат Максимилиана Робеспьера, депутат Конвента.

стрелы. А может, они пошли на это в силу необходимости? Сидя в Париже, трудно судить о справедливости тех или иных мер, принятых на местах.

Конвент постановил сровнять Лион с землей. Голосуя вместе со всеми, Робеспьер надеялся, что это все же чисто символическое решение, принятое, чтобы запугать врагов. В Лионе был Кутон, понимавший Робеспьера с полуслова. Он не торопился исполнять декрет Конвента и вообще вел себя очень осторожно. Но когда отряду роялистов под командованием Преси удалось вырваться из окружения, подозрительный Колло д'Эрбуа поспешил заявить:

— Каким образом лионцы могли открыть себе выход из города? Либо мятежники прошли по трупам патриотов, либо патриоты посторонились, чтобы дать им пройти!

Ирония Колло д'Эрбуа задевала и Робеспьера. Пришлось отозвать Кутона и направить в Лион Колло д'Эрбуа и Фуше. И тихий, незаметный Фуше начал из пушек расстреливать обвиняемых.

Террор развивался уже сам по себе. Робеспьеру было крайне трудно удержать его в рамках благоразумия.

Но главная опасность заключалась в другом — все хотели руководить террором, все стремились взять это оружие в свои руки.

У революционного трибунала много заслуг перед страной. Он долгое время честно и сурово карал заговорщиков. Но кому он подчиняется? Робеспьеру? Ничуть. Он мало знаком и с председателем суда Германом и с прокурором Фукье-Тенвилем. Могут сказать, что среди присяжных есть близкий друг Робеспьера, его домовладелец, Морис Дюпле. Но когда однажды Робеспьер спросил Дюпле, чем он занимается в суде, Дюпле мягко, но определенно ответил: «Я не

спрашиваю тебя, Максимилиан, чем ты занимаешься в комитете». Тем самым даже его друг дал понять, что вмешиваться в процесс судопроизводства — не дело Робеспьера. Да Робеспьер и так этого всячески избегает. Ему достаточно обвинений в диктатуре, которые он слышит со всех сторон.

Но чью волю теперь выполняет Фукье-Тенвиль? Правительства? Нет. Стало ясно, что Фукье-Тенвиль использует террор в своих целях, чтобы скомпрометировать Робеспьера. В последнее время одна за другой следуют серии бессмысленных казней. Придаться к Фукье-Тенвилю невозможно. Напротив, Фукье-Тенвиль вроде бы удвоил свое рвение. И только Робеспьеру понятно, что революционный трибунал наказывает лишь мелких сошек, старательно обходя главных заговорщиков.

Почему нынче существует глухая вражда между Робеспьером и Комитетом общественной безопасности? Может быть, причина в идейных расхождениях? Нет, просто большинство членов комитета желает проводить террор самостоятельно, по своему усмотрению.

(От автора: Тут мы вынуждены еще раз вмешаться. Действительно, члены Комитета общественной безопасности, кроме Леба и Давида, относились к Робеспьеру с открытой враждой. Но причины этому были иные. В комитете опасались, что он хочет установить свою личную диктатуру, — кстати, эти опасения разделяло большинство членов Конвента. Кроме того, властность Робеспьера, безапелляционный тон, который он усвоил в последнее время, резкие его замечания естественно задевали самолюбие его коллег.)

Но ни Амар, ни Вадье не могут стать выше фракционной борьбы. Вместо того, чтобы разоблачать за-

говоры, они сводят личные счеты, как в деле Екатерины Тео. Они не могут простить Робеспьеру, что он поставил над Комитетом безопасности Бюро общей полиции. Они не могут простить Робеспьеру, что Бюро общей полиции взяло на себя наблюдение за деятельностью местных революционных комитетов.

В сентябре 1793-го года после принятия закона «о подозрительных» число местных комитетов превысило двадцать одну тысячу. Вот сколько рук проводило террор во Франции.

Подозрительными признавались: те, кто своим поведением, речами, писаниями заявил себя сторонником тирании, федерализма и врагом свободы; должностные лица, отрешенные Конвентом или его комиссиями и не принятые вновь на службу; бывшие дворяне, а также лица, служащие у эмигрантов, которые не проявили своей преданности революции; эмигранты, вернувшиеся во Францию даже в срок, установленный декретом.

Председатели революционных комитетов своей властью могли арестовывать подозрительных. Именно революционные комитеты оказали главную услугу Франции — помешали внутреннему врагу соединиться с внешним. Революционные комитеты и были той мелкой сетью, в которую попадались заговорщики.

Естественно, что все хотели держать концы этой сети в своих руках. Еще Шомет потребовал, чтобы революционным комитетам было предписано сноситься с Советом ратуши по вопросам, касающимся полицейских мер и мероприятий безопасности. Это равнялось требованию, чтобы руководство террором перешло от Комитета общественной безопасности к Коммуне, то есть, чтобы Коммуна фактически подчинила себе не только Конвент, но и Комитет общественного спасе-

ния. Все это поняли, хотя Шомет лицемерно воскликнул: «Сплотимся вокруг Конвента!»

Но и Комитет безопасности недостаточно строго следил за действиями местных комитетов. Во многих деревнях священники оказывались во главе комитетов и расправлялись с патриотами (называя их умеренными), а также с теми, кто не ходил в свое время на их мессы.

Только благодаря Робеспьеру, а потом деятельности Бюро общей полиции, было централизовано руководство комитетами. Постепенно отказались от практики переизбрания председателей комитетов и просто назначали туда правительственных агентов.

Но люди, которые боялись террора, боялись революции, хотели застраховаться, прослыть яркими террористами. Ведь по инициативе этих людей, а не Робеспьера, начались политические процессы против жирондистов, Барнава, Жиро-Дюпре, принцессы Елизаветы и так далее. Правда, если бы Робеспьер захотел спасти Барнава, это было бы практически невозможно. Но вот, допустим, Робеспьер добился бы того, что Барнава и жирондистов оставили в живых. А что дальше? Отбив коалицию, расправившись с внутренними и внешними врагами, Франция приступила бы к построению нового общества. Оказавшись на свободе, люди типа Барнава и Вернио вряд ли стали бы помощниками Робеспьера. Атеист Вернио и аристократ Барнав, озлобленные годами, проведенными в тюрьме, вспомнили бы о своей былой славе. Нет, они бы, конечно, мешали. Лучше пожертвовать несколькими именами, чем потом дать прорасти на свободной французской земле семенам раздора.

Но Робеспьеру, как истинному главе правительства, надо было объяснить события, происходящие во Франции, перед лицом всей Европы. Надо

было раскрыть их действительный благородный смысл.

Поэтому в глазах европейских народов террор неразрывно связан с его именем.

Кстати, когда в Париже начались атеистические оргии, Робеспьер, предупреждая нежелательный международный резонанс, поспешил обвинить Клоотса в том, что тот старается оттолкнуть от Франции бельгийцев, глумясь над их верой.

— Эта беда уже прошла, — возражал Клоотс. — Нас тысячу раз называли нечестивцами.

— Да, но фактов не было, — отвечал Робеспьер.

Робеспьер стремился не позволять кому бы то ни было порочить революцию перед угнетенными народами феодальной Европы. Часто не в его власти и не в его силах было осудить или спасти того или иного человека. Но он старался следить за тем, чтобы политические процессы не просто карали заговорщиков, а сплачивали французов против общих врагов. Процессы должны были служить революции, а не сеять раздоры и подозрительность среди монтаньяров.

Когда обстоятельства стали выше его, когда эбертисты и дантонисты объявили открытую войну, тогда он был вынужден нанести удар враждебным фракциям. Но в глазах народа фракции предстали как пособники иностранного заговора; таким образом, процессы получили иное звучание — они призывали патриотов к бдительности.

Что же касается дела об «ост-индской компании» (дела о подлоге), в котором оказался замешан Шабо, д'Эглантин, Базир и другие, то тут Робеспьер убежден, что не обошлось без интриг иностранных банкиров. Однако если признаться честно, причины падения Шабо и д'Эглантина заключались в следующем: не только Шабо и д'Эглантин, — многие из бывших

патриотов, получив власть, пытались обогатиться за счет революции. Шабо и Фабр д'Эглантин просто-напросто проворовались.

Однако нельзя было давать возможность Питту громогласно заявить, что среди монтаньяров есть воры. Нельзя было компрометировать высокое звание членов Конвента. Между тем докладчик от Комитета всеобщей безопасности Амар обвинял их именно в спекуляциях. Робеспьеру пришлось употребить все свое влияние, чтобы изменить акцент в деле об «остиндской компании» и выставить как главных виновников иностранных заговорщиков.

Но, хотя в правительство иногда проникали лжепатриоты, хотя случалось, что террор попадал в грязные руки — и потому, заботясь об общественном мнении, правительство вынуждено было придавать некоторым событиям иную окраску, — все это мало смущало Робеспьера: он видел главную цель революции. Достигнув ее, правительство разом бы искупило все свои мелкие ошибки.

Однако фракционная борьба и случайные просчеты правительства мешали Демулену и Дантону разглядеть величественные задачи революции.

Борьба за чистоту нравов дала Дантону повод к циничным насмешкам: «Французы могут простить все что угодно, только не отмену проституции». А когда был арестован д'Эглантин, Камилл воскликнул: «Комитет производит правильную порубку в Конвенте!»

Робеспьер не виноват в том, что для его друзей привычка к развратной жизни и личные симпатии оказались важнее революции. Франция решала вопрос жизни и смерти, а Демулен и Дантон гордо отошли в сторону и занялись игрой «кто кого переостршит».

18 нивоза Клуб вызвал на свое заседание Бурдена, Фабра, Демулена и Филиппо. Они не явились.

Наверное, это было к лучшему. И Робеспьер поставил на обсуждение другой вопрос: «Преступления английского правительства и недостатки буржуазной конституции».

И тут он почувствовал, что его не слушают. Нет, конечно, его слушали. Нельзя было не слушать Робеспьера. Но то, что он говорил, им было неинтересно. Якобинцы ерзали на скамьях, кашляли и поглядывали на дверь. Они ждали.

Вот до чего довела партию фракционная борьба! Вопросы высшей политики уже не волновали патриотов. Они привыкли к другому, острому зрелищу, когда рушились авторитеты, когда люди, которым они раньше поклонялись, молили о пощаде; когда дрожащей рукой вытирал со лба пот Жорж Дантон; когда Эбер кричал тонким голосом: «Меня, кажется, сегодня хотят убить?!»; когда Демулен бил себя в грудь и лепетал о своих ошибках.

Великий клуб жаждал крови. Он жаждал крови своих вождей, ибо одно дело торжествовать победу над врагами за границей и в департаментах, врагами могущественными, но абстрактными, незнакомыми каждому в лицо. Другое дело, когда человек, которого ты признал лучше, умней, дальновидней, чем ты, само появление которого вызвало аплодисменты, другое дело, когда этот человек, оказывается, подвержен низменным слабостям и сейчас ползает в грязи, оправдываясь, заискивая перед тобой.

Понимали лидеры фракций, на каких чудовищных струнах человеческой души они играли?

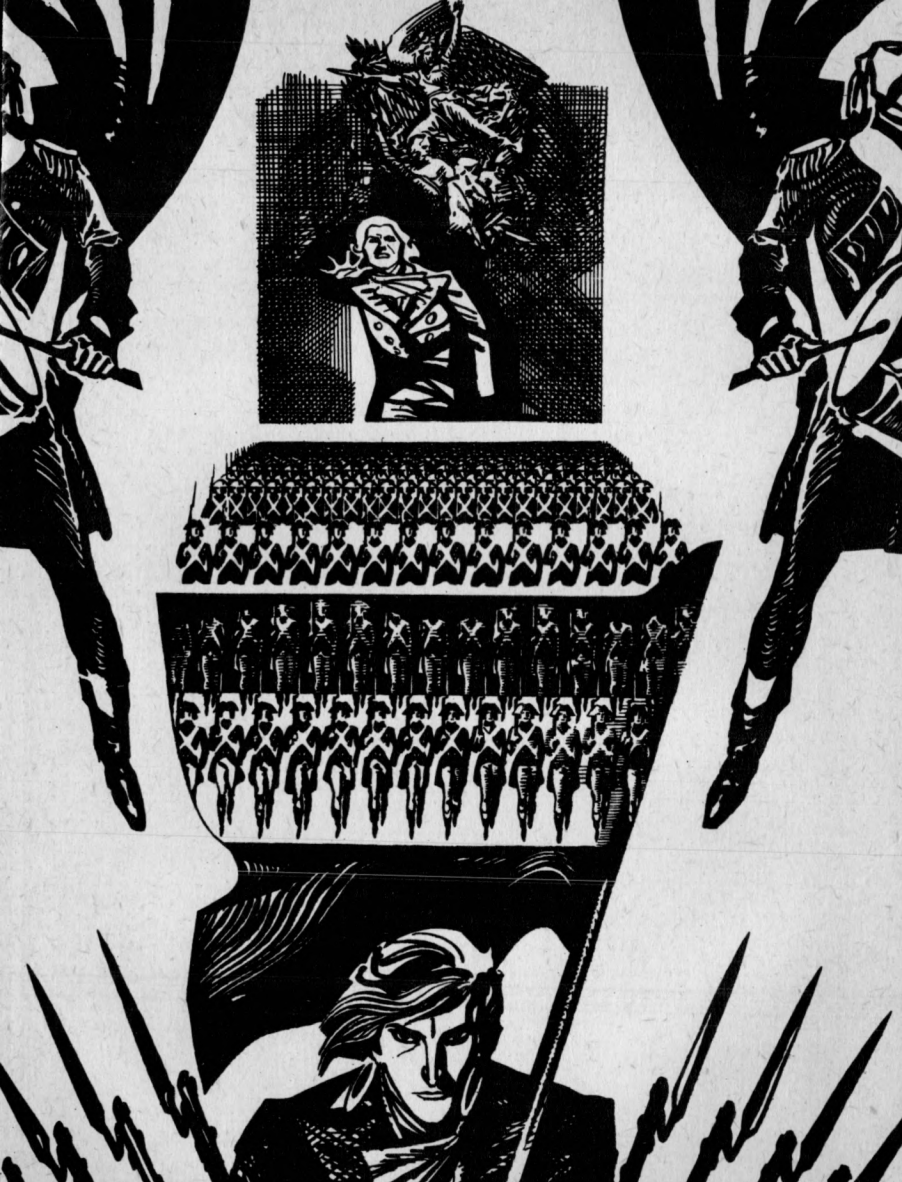
Но если Демулена привело к этому легкомыслие, а Эбера — жажда мести, то за их спинами стояли другие, люди без убеждений, но с четким расчетом игрока, мастера интриги, холодные убийцы.

И на следующий день Робеспьер рассказал якобинцам про этих господ. Он не называл фамилий, но один из неназванных почувствовал, что запахло жареным. Этот, как животное, чуял опасность. Он сполз со скамьи и бесшумными шагами стал прокрадываться к выходу. Резким замечанием Робеспьер вернул его на место, и, продолжая говорить, наблюдал, как тот нервничает, как дергаются у него руки и бегают глаза. А ведь недавно в комитете Робеспьер слушал его и поражался пронизательности человека, в котором никогда не находил никаких достоинств. А тот уверенно и даже с некоторой иронией (ирония предназначалась членам комитета — эх вы, прощляпили) рисовал картину злодейского заговора, и, главное, все, что он говорил, было правильно, все подтверждалось. Но сейчас выяснилась одна деталь: главарем заговора был этот самый человек. Он предавал других, чтобы возвыситься самому.

Но неужели светский литератор, второразрядный драматург всерьез предполагал, что обманет людей из комитетов? Догадывался ли он, чем закончилось расследование? Что ж, получай под занавес.

Робеспьер делает вид, что закончил речь, и вдруг обращается к Фабру д'Эглантину:

— Я требую, чтобы этот человек, который всегда стоит с лорнеткой в руках и который так хорошо умеет представлять интриганов на сцене, дал здесь свои объяснения; мы увидим, как он выпутается из этой интриги.



Любопытно, что в тот момент Фабр не понял, что погиб. Как курица с отрубленной головой еще продолжает трепыхаться, так Фабр полез на трибуну. Бессмысленный шаг. Разве после Робеспьера его будут слушать?

Робеспьеру мог ответить Мирабо или Барнав. У Вернио и Гаде еще были шансы. Но теперь кто бы рискнул выступить против, да еще в Якобинском клубе?

Правда, оставался Дантон. Но он за последний год ни разу не пытался спорить с Робеспьером.

...Опять эти ненужные воспоминания. Кажется, нет ничего проще — проследить последний год революции, шаг за шагом, что чему предшествовало, чем был вызван тот или иной поворот событий. Вот уже который час Робеспьер выстраивает эпизод за эпизодом, пытаясь взглянуть на свои собственные поступки со стороны. И ведь не получается. При мысли о Фабре д'Эглантине его опять охватывает злоба. Как Фабр жаждал крови! Сколько их было, красноречивых молодчиков, которые всерьез считали, что самая короткая дорога к власти — это дорога по трупам соперников! Как радовались Фабр и Филиппо, когда был арестован Эбер! И как они зывали к милосердию, когда сами оказались на скамье подсудимых!

Теперь, когда Билло и Колло, и Вадье, и Амар громогласно обвиняют Робеспьера во всех смертных грехах, делают из него главного виновника всех жестокостей революции — все они странным образом забывают, что сами в первую очередь требовали крайних мер.

Слава богу, он еще не сошел с ума. И если им из-

меняет память, то он все помнит. Ведь это начиналось еще с 93-го года.

Никто тогда не знал и не предвидел, куда их заведет террор. Но все требовали террора.

Нельзя сказать, что Робеспьер выступал против мнения большинства. Так, например, он добился суда над генералом Кюстином. Измена генерала привела к тому, что пруссакам были отданы три города. Солдаты армии Кюстина были уже не солдатами республики, а солдатами своего генерала, — они грозили пойти на Париж, чтобы освободить Кюстина. Но во Франции не должно было быть своих Кромвелей, и Кюстин получил по заслугам — смерть.

Робеспьер поддержал Эбера и настоял на реорганизации революционного трибунала. У революции не было времени выслушивать оправдания заговорщиков.

Но Робеспьер, пожалуй, единственный из тех, кто обладал правом решающего голоса, не спешил вводить террор. Можно было казнить отдельных людей, но не делать из этого систему.

Все свои усилия Робеспьер направлял на то, чтобы объединить фракции Конвента.

По его требованию была срочно принята конституция 93-го года. Именно конституция погасила мятеж в департаментах.

Он разгромил «бешеных», которые настаивали на кровавых репрессиях.

Террор означал приостановку тех демократических декретов, осуществления которых Робеспьер добивался столько лет. Террор означал превращение страны в огромный военный лагерь, живущий по всем законам военного времени. Террор означал ограничение свободы каждого человека. Террор означал повсеместное введение смертной казни, за отмену

которой Робеспьер боролся еще в Учредительном собрании. Террор убивал свободу печати, свободу мнений. Террор открывал возможность произвола отдельным лицам, случайно оказавшимся на волне революции.

Все это Робеспьер предвидел.

Но.

Конде, Валансьен, Майнц были во власти неприятеля. Французская северная армия, вытесненная сперва из Фамарского лагеря, а затем из лагеря Цезаря, могла быть в любой момент раздавлена силами коалиции. Принц Кобургский стоял в сорока лье от столицы. Пьемонтцы спустились с Альп на помощь восставшим лионцам. Лучший порт Франции Тулон был занят англичанами. Испанцы взяли форт Бельгардт. От Пиренеев до Альп, от Рейна до океана, от Роны до Луары республиканские батальоны были отброшены в глубину Франции, где свирепствовал сильнейший вандейский пожар. Вот какое положение сложилось в начале осени 93-го года.

Армия в полном расстройстве. Беспорядочное скопление новобранцев, солдаты не доверяют офицерам, офицеры склонны к измене. Армия недоедает и носит башмаки с картонными или замаскированными жостью подошвами. Госпитали переполнены больными, а медикаментов нет.

Естественно, что в такой обстановке, когда падение республики казалось неминуемым, уже никто не заботился о правах отдельных граждан.

Страх диктовал принятие террора. Хотелось зажмурить глаза и крушить врагов направо и налево.

Все требовали террора.

26 июля Конвент постановил карать скупщиков смертью.

1 августа по докладу Комитета общественного спасения были приняты следующие меры:

имущество лиц, лишенных покровительства закона, будет принадлежать республике;

королева будет отдана под суд;

гробницы королей будут уничтожены;

иностранцы, не имеющие оседлости во Франции и родившиеся на неприятельских землях, будут немедленно арестованы;

парижские заставы будут закрыты, чтобы воспрепятствовать выезду лиц, которые не могут удостоверить свою личность;

всякий, кто дважды откажется принять в уплату ассигнации, будет присужден к двадцатилетнему содержанию в оковах;

никто не смеет помещать фонды в банки иноземных государств — иначе он изменник отечества;

в Вандее будут вырублены леса, скошены луга, захвачен скот и сожжены притоны мятежников.

В конце августа Конвент заявил:

«С настоящей минуты впредь до изгнания неприятеля с нашей территории все французы поголовно подлежат зачислению на службу в армию. Молодые люди пойдут в бой, женатые будут заготавливать оружие и перевозить провиант, женщины будут изготавливать палатки, одежду и нести службу в госпиталях, дети будут приготавливать из старого белья корзину... Национальные дома будут обращены в казармы, общественные места — в оружейные мастерские. Грунт погребов будет промываться для добытия селитры».

Впервые в истории нового времени все ресурсы воюющей нации, люди, съестные припасы, товары были предоставлены в распоряжение правительства.

Комитеты фактически управляли государством, главенствуя над министерствами.

Прямым следствием этих энергичных мер было взятие Марсея республиканскими войсками и переход Бордо на сторону революции.

Но враги не унимались. Был подожжен военный арсенал в Гюнингене. На военных заводах близ Шемиле и Сомюра произошли таинственные взрывы. (В бумажнике одного англичанина, арестованного в Лилле, был найден длинный список расходов на подкупы должностных лиц, на организацию поджогов и диверсий. Стало ясно, что Питт решил сокрушить республику любыми средствами.) Роялисты в Париже настолько осмелели, что устраивали в театрах вызывающие демонстрации. Вновь появилась роскошь старого режима. Около театральных касс сквозь толпы голодающих проезжали длинные вереницы богатых экипажей.

Сильно бедствовавшие предместья требовали хлеба. Клуб якобинцев настаивал на формировании революционной армии и принятии максимальных цен. Роялисты провоцировали народ на восстание.

Вот в какой обстановке террор был поставлен на повестку дня.

4 сентября с пяти часов утра огромная толпа рабочих и ремесленников собралась около здания военного министерства. Народ кричал: «Хлеба! Хлеба!»

Толпа заполнила всю Гревскую площадь. Пока Шомет ходил в Конвент, чтобы сообщить о происходящем, народ окружил городскую ратушу, пробрался внутрь, заполнил большой зал.

Казалось, над всем городом повис крик:

— Хлеба! Хлеба!

...Это бушующее людское море вызвало у Робеспьера воспоминание об октябрьских днях 89-го года.

Тогда парижане, возмущенные королем, ворвались в Версальский дворец. И сейчас поневоле закрадывалось сомнение — неужели правительство настолько бездеятельно, что вызвало такое народное недовольство?

Шомет вернулся в ратушу и прочел там вслух декрет, в котором было сказано, что максимальные цены на предметы первой необходимости будут установлены.

Ответом ему был единодушный вопль: «Нам не нужны обещания, нам нужен хлеб и сейчас же».

Шомет успокоил народ только тем, что обещал добиться декрета, по которому будет сформирована революционная армия, чтобы обходить деревни, изымать излишки и способствовать подвозу продовольствия в город.

Робеспьер понимал, что народное движение может бросить революцию в крайности и погубить ее, ввергнуть в хаос. Но напрасно он советовал Якобинскому клубу сохранять хладнокровие и следить за интриганами и изменниками. Такое благоразумие показалось якобинцам неуместным. Они решили на следующий день отправиться в Конвент.

Утром 5 сентября в Конвент пришло известие, что австрийцы, овладев Сийерком, грабили жителей, сжигали дома, убивали санкюлотов, издевались над пленными: отрубали им кисти рук, вырывали языки.

В Конvente поднялась буря. По предложению Мерлена революционный суд был разделен на четыре отдела, чтобы иметь возможность вести процессы с наибольшей быстротой.

Толпа подступила к дверям Конвента. Депутацию Коммуны возглавляли Шомет и Паш.

— Довольно щадить изменников, — сказал Шомет. — Пришел день суда и гнева. Пусть формируется

революционная армия! Пусть она ходит дозором по департаментам! Мир людям доброй воли, война с устроителями голодовки! Покровительство слабым, война тиранам!

...Представители секций — рабочие и ремесленники — разместились на ступеньках Конвента. Женщины заполнили весь партер. Криками одобрения встречали они каждую смелую речь. В зале, словно насыщенном грозowymi разрядами, одно за другим раздавались предложения, звучащие как раскаты грома. Билло-Варен потребовал немедленного принятия декрета о создании революционной армии и ареста подозрительных лиц; Бурдон настаивал на том, чтобы революционная армия выступила в сопровождении суда, который судил бы заговорщиков в двадцать четыре часа. И тогда встал Дантон:

— Революционный суд, — сказал он, — действует слишком медленно; нужно, чтобы ежедневно аристократ, злодей расплачивались за свои преступления головой. Секции не могут привлекать в свои заседания бедняка; нужно декретировать вознаграждение ему в сорок су за каждое собрание. Нужно вооружать граждан.

Выводы сделал Барер.

— Поставим на очередь дня террор. Роялисты хотят крови; хорошо же, мы дадим им кровь заговорщиков, разных Бриссо, Марий-Антуанетт. Они хотят нарушить труды конституции... Заговорщики, конституция уничтожит ваши труды! Они хотят погубить Гору... Хорошо, Гора раздавит их!

Где был в это время Робеспьер? Он, как председатель Конвента, вел заседание.

...Итак, он делал все возможное, чтобы предотвратить террор. Не его вина, что революция выбрала этот путь. Но раз выбор был сделан, надо было

следить за тем, чтобы революция достигла намеченной цели, какой бы крови это ни стоило.

То, что революция победила, доказывает правильность выбора.

Пусть враги утешаются, возводя клеветы на Робеспьера, как на главного террориста. Потомки поймут: у него не было иного выхода. Но когда-нибудь станет ясно, что именно Робеспьер не позволил страшному террористическому топору подрубить нацию в братоубийственной гражданской войне.

...Теперь он задает себе вопрос: действительно ли он надеялся избежать террора? Действительно ли он рассчитывал привести революцию к победе и в то же время сохранить конституционные законы?

Да, он пытался. Да, он этого хотел.

Но, вероятно, еще раньше он понял, что ему не разгромить врагов, не опираясь на силу, на армейские штыки. Вероятно, еще раньше был момент, когда он решил, что пойдет на террор. Вероятно, он где-то раньше убедился, что нельзя полагаться только на парламентскую борьбу, только на логику речей и мудрость законов.

Это произошло 2 июня 1793-го года, когда красный генерал Анрио вывел войска на Карусельную площадь.

И когда тот, рыжебородый, с длинным дергающимся лицом сообщил все сведения,— Робеспьер подумал, что нет, чего-то он не договорил, и знает — от него еще чего-то ждут. Вне сомнения, это был верный человек, знаток, понимающий свое дело, патриот бесспорно, но лучше бы он ушел сразу; почему у него дергается лицо, может быть, это связано с его профессией? Страх? Но уж лучше бы он ушел.

Робеспьер встал, подошел к окну. Любой человек на месте рыжебородого догадался бы, что хватит, что он неприятен Робеспьеру. И тот, наверное, это знал, но знал также и то, что все, что он скажет дальше, будет внимательно выслушано, что Робеспьер, возможно, помимо своей воли, ждет дальнейшего, еще невысказанного. И вот тут Робеспьер понял, что его раздражает в рыжебородом: рядовой агент, заурядный осведомитель чувствовал над Робеспьером какую-то власть, власть человека, который уверен, что есть нечто такое, что всегда, в любое время, будет Робеспьеру крайне интересно, нечто такое, о чем может рассказать только он, этот агент.

Стоя у окна и не глядя на рыжебородого, Робеспьер знал, как сейчас все произойдет: сначала тот откашляется, а потом начнет вкрадчивым голосом... Причем еще спросит: надо ли про это, захочет ли Робеспьер это слушать.

Рыжебородый откашлялся.

— Неподкупный! Есть еще кое-что... Не знаю, может умолчать... Человек, о котором пойдет речь, твой друг...

— Перед республикой все равны,— прервал его Робеспьер, не оборачиваясь.

— Дело в том, что почти каждый вечер Шабо, Эро и с ними Камилл, Камилл иногда, а Дантон непременно, приезжают в дом девицы Сент-Амарант. Репутация ее давно известна. Публичные дома, запрещенные правительством, находят своих высоких покровителей...

Дальше можно было не слушать, но слушать было надо, ибо этот разговор с глазу на глаз станет известен многим, непостижимо, каким образом поползет слух, что Робеспьер это знает, ему

донесли. И теперь, пусть, выступая в клубе, Дантон будет трижды прав, и раз он будет прав, то Робеспьер его поддержит, и никто его не упрекнет в том, но тем не менее будут думать, что Робеспьеру известно, как Дантон проводит вечера, а Робеспьер, хотя и в другом вопросе, но поддерживает Дантона — как же это совместить с моралью Робеспьера? Но почему, почему рыжебородый знает, что Робеспьеру необходимы факты, компрометирующие Дантона? Чутье, профессиональная интуиция?

Однако то, что доносил рыжебородый, было важно.

Робеспьер резко повернулся. Встретив его взгляд, рыжебородый на миг запылся и продолжал дальше, только его речь полилась еще быстрее. И тогда промелькнула странная мысль: даже если бы Дантон был чист, рыжебородый все равно что-нибудь выдумал. Уж очень он старался. При чем своим доносом рыжебородый ничего лично для себя не выгадывал. Тогда откуда такое рвение? Усердие по службе? Или естественное стремление чиновника угодить правительству, а точнее тому, кто в данный момент сильнее?

А не начинается ли темная интрига, в которой чей-то дьявольский ум распределил роли для всех? И сам Робеспьер уже втянут в игру? Он глава правительства, но рыжебородых много! Так кто кому служит?

Странные наступали времена. Только, пожалуй, этим и можно было утешаться.

Да, странные наступили времена. Патриоты, некогда боровшиеся против королевских министров-жирондистов, теперь, став во главе министерств, сами

оказались во власти предрассудков и привычек прошлого! Ниспровергатели тронов, теперь они окружают себя хором льстецов. Кое-кто не прочь занять министерские особняки и завести лакеев. По агентурным сведениям Робеспьер знает, что многие проконсулы, посланные усмирять мятежные департаменты, под шумок сколачивают себе состояние. Власть — это не только почет и ответственность, власть — это еще и тяжелое испытание. Не все его выдержали. Подождите, Робеспьер доберется до этих Тальенов, Фреронов и Баррасов. Среди монтаньяров тоже встречаются проходимцы, но все-таки их немного. Ведь в принципе власть монтаньяров — это власть народа. Мы сделали, казалось, невозможное. Мы отбили коалицию. Мы раздавили мятежи. Мы укрепили республику. Мы дали французскому гражданину те права, которых он никогда не имел. Мы всегда старались быть справедливыми и стремились обойтись без лишних жертв.

Но вот интересно, как бы в дальнейшем поступили жирондисты, если бы второго июня победили они, а не монтаньяры?

Ведь еще весной они судили Марата. Тогда же их сторонники требовали казни Робеспьера.

Они бы спокойно гильотинировали патриотов!

А ведь монтаньяры сначала ограничились тем, что подвергли лишь легкому домашнему аресту вожakov Жиронды. Предатели даже прогуливались по городу как ни в чем не бывало! Им, как депутатам Конвента, продолжали выплачивать жалованье.

К чему привела эта снисходительность?

Вожаки жирондистов сбежали в департаменты и подняли там федералистский мятеж.

И тем не менее Сен-Жюст выступил от лица правительства с заявлением, что свобода не будет

жестока по отношению к тем, кого она обезоружила. Сен-Жюст призвал дать прощение большинству жирондистов, ибо заблуждение не следовало смешивать с преступлением. К суду надо было привлечь только тех, кто бежал, чтобы взяться за оружие, и судить не за то, что они говорили, а за то, что сделали.

Пожалуй, никогда раньше Робеспьер не слышал от Сен-Жюста таких сдержанных речей. Но слова Сен-Жюста выражали общее настроение монтаньяров.

Победив, монтаньяры проявили великодушие к другим партиям, и вместо того, чтобы преследовать побежденных, они первым делом дали народу конституцию, которая гарантировала всем французам равенство, свободу, безопасность, неприкосновенность собственности, всеобщее обучение, свободу вероисповедания и неограниченную свободу печати, право подачи петиций, право соединяться в народные собрания.

...Тогда он думал, что все худшее позади: революция близка к победе, соперничающие партии приутихли, Конвент был во власти монтаньяров, Франция вступила на путь, указанный Робеспьером. Казалось, что до полной победы осталось совсем немного — еще одно усилие. Хотелось верить, что навсегда покончено с рукопашными баталиями в Конвенте, что никогда больше не придется прибегать к помощи вооруженных предместий. Франция ждала успокоения, и мир ей могли принести только мудрые законы, а уж составление законов было прямым делом Робеспьера, в этой области он чувствовал себя легко и свободно.

Поэтому в обсуждении проекта конституции Робеспьер принял самое деятельное участие.

Конституция явилась синтезом проекта Кондорсе и Декларации прав человека и гражданина, составленной Робеспьером, и хотя не все, что предлагал Ро-

беспьер, вошло в конституцию, тем не менее по своему духу она была монтаньярской.

В Высшее законодательное собрание депутаты избирались прямым голосованием, а в департаментские собрания — путем двухстепенных выборов. В этом пункте Робеспьер шел вразрез с доктриной жирондистов. Но Робеспьер опасался того, что бедняки могут, благодаря своему невежеству, оказаться в руках богачей и краснобаев. Настроение же выборщиков было легко подчинить настроению революционного Парижа.

Однако согласно конституции кардинальные вопросы политики решались народом. Так, например, начинать или не начинать войну, определялось путем народного референдума.

Он указал на ошибку Эро де Сешеля, который предлагал, чтобы пересмотр конституции производился другим Конвентом, созываемым в другом городе. Народ, у которого два представительства, перестает быть единым. Двойное представительство явилось бы зародышем федерализма и междоусобия. (Забавно было наблюдать, как депутаты, словно школьники, смутились, когда Робеспьер растолковал им опасность двойного представительства, которое они чуть было не вотировали. Конвент единогласно принял поправку Робеспьера.)

Он настаивал на том, чтобы депутаты Конвента были ответственны перед народом, чтобы народ мог отзываться своих представителей. Однако этот, более демократический принцип не был принят Конвентом.

Робеспьер хотел, чтобы вотирование конституции народом проводилось тайным голосованием, но Собрание увлеклось фразой Барера: «У добрых граждан нельзя оспаривать права быть мужествен-

ными», — и таким образом нарушило принцип добровольности: голосовать тайно — теперь означало попасть в разряд врагов.

Конечно, было досадно, что более демократические статьи не попали в конституцию, но все это показалось мелочью по сравнению с той чудовищной ошибкой, которую чуть было не совершил Конвент.

После того, как в августе конституция была вотирована всей страной, раздались голоса, что теперь самое время распустить Конвент и назначить новые выборы. Депутаты, растроганные народным ликованием, развесили уши, секретарь уже сел писать проект. Но Робеспьер категорически восстал против этого предложения; в данный момент принятие его привело бы к анархии и к военному поражению Франции.

Он решительно пресекал все попытки возобновить фракционную борьбу в Конвенте. Когда 23 июня собрание закончило обсуждение конституции и приступило к голосованию, — некоторые депутаты, бывшие сторонники жирондистов, остались неподвижными. У кровожадного Билло-Варена заблестели глаза, и он тут же потребовал поименной подачи голосов, «чтобы показать наконец народу, кто его враг». Но Робеспьер не склонен был обострять отношения с разгромленной партией. Он сказал: «Надо думать, что эти господа — паралитики». После этих презрительных слов Собрание перешло к очередным делам.

Сохраняя единый фронт, от маратистов до дантонистов, он отбил яростные нападки «бешеных». Жак Ру и Леклерк не поняли конституции. Они хотели не установления порядка, а репрессий против скупщиков. Они даже обвинили монтаньяров в том, что те продались богачам. Принять требование «бешеных» означало посеять смуту и подозрительность, поло-

жить начало гражданской войне. Единый фронт монтаньяров разгромил «бешеных».

И все же гражданская война разразилась.

Ее начали жирондисты, подняв департаментские восстания. Но объявили они эту войну 13 июля, когда посланная ими фанатичная девица Шарлотта Кордэ (внучка великого Корнеля — жирондисты продуманно выбрали кандидатуру) убила Марата.

Марат был любимцем Парижа. Его имя было символом надежды для всех бедняков и угнетенных. Смерть Марата ввергла в траур не только Париж, но и всю Францию. Убийство Марата распахнуло ворота народной ярости.

С 13 июля 93-го года начался новый период революции.

Мертвый Марат стал богом. Его именем называли народные общества, армейские батальоны, детей. Бюсты Марата можно было встретить в каждом городе, в каждом доме. Марата причислили к лику святых. Его тело требовали захоронить в Пантеоне.

Один лишь Робеспьер выступил против такого фанатичного обожествления Марата.

Он протестовал против того, чтобы имя Марата использовалось его безрассудными последователями.

Что руководило им? Зависть к бессмертной славе революционера? Нет, он никогда не завидовал Марату, ни живому, ни мертвому. Он просто уже тогда понял одну закономерность...

Как-то Камилл Демулен со свойственным ему стремлением к парадоксам сказал: «Пока я вижу Марата в нашей среде, я не могу питать страха, потому что его по крайней мере нельзя превзойти».

Марат был неистов, но он был всегда искренен. Со смертью Марата не оказалось больше никакой охраны от корыстных и лицемерных популярностей,

от жетрибунов, состоящих на жалованье у иностранцев. Не обладая ни его прямою, ни его патриотической бдительностью, они возобновили его кровавую проповедь, преувеличивая его крайности. Если бы Марат был жив, возможен ли был бы заговор Эбера?

И когда 5 сентября разгневанные толпы парижан ворвались в Конвент; когда они потребовали беспощадной расправы с врагами, когда они заставили провозгласить террор, Робеспьер понял, что невозможно ни остановить, ни убедить этих людей. Потому что за их спинами стояла тень Марата.

И когда клубы вошли в правительство, а комитеты решали вопросы жизни и смерти, а Конвент облекал их мысли в форму закона, а революционный трибунал вершил правосудие, — когда вся страна подчинилась железной диктатуре Парижа — все это явилось воплощением давних замыслов Марата. Мертвый Марат вел революцию.

И когда на скамье подсудимых оказались лидеры жирондистов, люди, принесшие своей политикой много зла (но все-таки у них были заслуги перед страной, каждый из них, хоть и по-своему, желал счастья Франции, они были преданы идее революции — ведь не случайно в ожидании казни они пели в тюрьме Марсельезу!), — даже Дантон, человек, когда-то им сочувствовавший, наотрез отказался спасти им жизнь. Ибо народ требовал крови. Ибо ярость народную нельзя было успокоить. И во время заседаний в зале суда, среди санкюлотов, заполнивших все скамьи до отказа, Робеспьер словно видел сидящего наверху человека с некрасивым лицом, в грязном одеянии, в повязанном вокруг шеи платке, пропахшем уксусом. И когда жирондисты лепетали свои жалкие оправдания, этот человек лишь мрачно улыбался.

Маратом можно было спорить. С ним можно было не соглашаться. Его можно было переубедить. (В конце концов, Робеспьер имел большое влияние в Якобинском клубе — клуб почти всегда шел за Робеспьером.) Но все это было возможно лишь при жизни Марата. Мертвый Марат всегда оказывался прав. Мертвый Марат был сильнее.

Кусты и деревья как-то незаметно потеряли цвет — сначала стали серыми, потом — темными. Они надвинулись стеной, словно кто-то поставил плоскую театральную декорацию, отделявшую его от всего мира. Впрочем, создавалось впечатление, что и за этой стеной все так же черно и вообще нигде ничего не существует, — реальна только яркая многоголосая действительность, пришедшая к нему из прошлого. И поэтому, когда на фоне этой темной, слегка колеблющейся декорации вдруг возникла фигура широкоплечего человека, который остановился в нескольких шагах и начал натужно и неестественно кашлять, явно привлекая к себе внимание, Робеспьер даже не вздрогнул, не испугался, настолько все, окружавшее его, казалось ему далеким и условным. Однако по тому, как Брунт лишь поднял голову, Робеспьер понял, что человек этот свой, хорошо ему знакомый. А еще через секунду он узнал Никола́, его добровольного телохранителя, которому, вероятно, надоело прятаться в кустах, а может, он просто решил, что Робеспьеру пора возвращаться.

Но когда Робеспьер шел по плохо освещенным парижским улицам и поневоле наблюдал за малоизвестной ему жизнью вечернего Парижа, все равно его не оставляло чувство нереальности того, что происходило вокруг.

Теперь его уже никто не узнавал. Его толкали куда-то спешащие говорливые молодые люди. Из раскрытых дверей кофеен неслись песни и громкие голоса. Девушки, при вечернем освещении все таинственные и хорошенькие, мелькали, как легкие прозрачные тени. Подальше от фонаря у стен домов стояли влюбленные парочки, раздавались звуки поцелуев, приглушенный смех. В одном из домов распахнулось окно, и в светлом проеме возник силуэт женщины. Женщина облокотилась на подоконник и застыла, и нельзя было ни разглядеть ее лица, ни определить возраст, но Робеспьеру почудилось, будто его коснулся запах тонких духов.

Деловито громыхали колеса экипажей, кучера лихо посвистывали, погоня лошадей, и можно было подумать, что Робеспьер опять очутился в Париже своей юности, что и сейчас, как много лет назад, красивые кокетки спешат на какой-то роскошный бал.

Этот вечерний Париж с его шумными кофейнями, элегантными экипажами, манящими женщинами, с его веселой суетой и свиданиями влюбленных, это какое-то неуловимое пьянящее настроение города, заставлявшее даже случайного прохожего замедлять шаги в ожидании чего-то несбыточного и невозможного,— все наводило на странные мысли. Вдруг это и есть настоящая жизнь, а сам Робеспьер с его болью и тревогой, мрачными видениями нереален?

Может, это снится Робеспьеру, или он только тень далекого прошлого, до которого никому нет дела?

Но он пошел домой, и все опять стало на свои места.

Его ждал Кутон. Как всегда неторопливо, обстоятельно Кутон начал рассказывать о том, что произошло сегодня в комитетах и в Конвенте. Его голос

звучал спокойно и бесстрастно, но в его речи все время возникали полувопросы.

Кутон их ставил как бы между прочим, не акцентируя, но чувствовалось, что он словно проверяет, как на них будет реагировать Робеспьер. Если Робеспьер прерывал его резким замечанием, Кутон не спорил, он со всем соглашался. Комментируя то или иное событие, давая характеристику тому или иному деятелю, Кутон как бы говорил: я только передаю то, что думают другие, но лично я, конечно, думаю так же, как и ты, Робеспьер.

Но Робеспьеру казалось, что этой якобы объективной информацией, этой трактовкой мнений Кутон пытается что-то подсказать, направить его мысли по другому руслу, может, заронить сомнения в каких-то очевидных для Робеспьера истинах.

Однажды Робеспьер даже громко засмеялся, и Кутон недоуменно поднял глаза, не понимая причины этого смеха. А Робеспьер просто представил Кутона в роли рыболова, осторожного рыболова, легонько забрасывающего удочку и исподтишка наблюдающего: клонет, не клонет. Не клонет? Мы и не хотели! Но удочка забрасывалась вновь.

Впрочем, возможно, все это являлось чистой фантазией Робеспьера. На самом деле речь Кутона звучала примерно так:

— Революционный трибунал работает, не покладая рук. Подсудимых целыми партиями отправляют на гильотину. В тюрьмах более семи тысяч заключенных. Да, заговорщики. Но вот стоило Робеспьеру уйти из комитета, как количество казней резко возросло. Злые языки болтают, что Конвент, который заставляет дрожать всю Европу, сам дрожит перед комитетами. Один депутат чуть не упал в обморок, потому что ему показалось, будто Робеспьер слишком

пристально на него посмотрел. Конечно, обычная клевета. Верно, Баррас — ничтожный человек. Но решительный. В Марселе он снял почти с каждого жителя рубашку, чтобы одеть армию. Разумеется, Фуше главный заговорщик. Да, он лицемер. Но можно предложить другой вариант. Фуше, будучи сам священником, тайно ненавидел религию, и все, что он делал в Лионе, — открытое проявление давней ненависти. Что если он действительно крайний революционер и атеист? Однако его неправильно поняли, теперь ему грозит гильотина и, спасая свою жизнь, Фуше плетет нити заговора. Может, Фуше не надо отталкивать, а ловким маневром превратить его из врага в верного союзника? Не надо доверять сволочам? Ну, раз так, то кто спорит! Колло д'Эрбуа, Билло-Варен, Барер, Карно сейчас вершат делами комитета. Льется кровь невинных? Тем скорее они разоблачат себя в глазах народа как экстремисты! Раньше они прикрывались Робеспьером, а нынче пусть ответят сами за себя. Но общественное мнение всегда подчинялось правительству, а правительство в их руках... Якобинский клуб за Робеспьера? Несомненно. Так, может, надо, учитывая создавшуюся ситуацию, взять власть в свои руки? Конечно, временно, ведь якобинцы поймут необходимость подобной меры. Ну кто ставит вопрос о диктатуре? Просто Колло д'Эрбуа обнаглел. Карно в армейской газете позволяет себе двусмысленные выпады. Но Франция обязана Карно победой. У него большой авторитет в армии. А не помириться ли с комитетами? Все-таки обстановка крайне сложная. Конвент справедлив? Депутаты сами разберутся, на чьей стороне истина? Что ж, Робеспьеру виднее. Да, очень жарко. Выдалось какое-то душное лето.

276 Еще немного они поговорили о погоде, потом Робеспьер сказал, что ему надо работать. Пришел ра-

бочий, взвалил на спину кресло с Кутонем и унес его.

Хитрая bestия Кутон. Говорят, что Дантон перед смертью сказал: «Если бы Кутону мои ноги, республика еще бы выстояла». Дантону, конечно, казалось, что с его смертью гибнет и революция. Люди переоценивают собственное значение, такова их извечная ошибка. Но Дантон прав в одном: Кутон мог бы лавировать.

Итак, Кутон предлагает заключить мир с комитетами? И тем самым принять на себя все их ошибки? Или прийти в Конвент, добиться переизбрания комитетов, назначить туда верных патриотов? Но тогда нужна диктаторская власть. Нет, пусть Питт на это не надеется. Не должен один человек править страной. Править страной должна только Истина.

Когда-то Кондорсе бросил ему обвинение, что он не государственный деятель, а священник. Да, он священник, ибо свято хранит заветы революции. Да, он проповедник, ибо проповедует добродетель. И если в него метил Камилл Демулен, который незадолго перед смертью произнес зловещие слова: «Революцию всегда начинает священник, а кончает палач», — то он промахнулся. Робеспьер лучше пожертвует собственной жизнью, но не станет диктатором, не станет палачом.

Он садится за стол. Перед ним чистые листы бумаги, рука привычно берет перо.

...Вот так проходит много вечеров подряд: Робеспьер приказывает себе работать — и не может. Боль. Болят глаза, кисти рук, живот, грудь, в голове тяжесть. Она не подчиняется ему. Он словно пытается раскрутить плохо смазанный механизм с ржавыми шестеренками, с треснувшими рычагами. Полное бессилие. И сразу отчаянные мысли, мысли, которых он

больше всего боится: «Тебя нет, Робеспьер, ты сломан. Нет железного Максимилиана».

В течение пяти лет, в самые трудные дни, когда его охватывали сомнения, давила тоска, — единственное, что его поддерживало, это то, что вечером он сядет к столу и будет работать полночи, и тогда отступят суетные интриги недоброжелателей, ибо он останется лицом к лицу с Истиной, которую он один понимал, и которую мог донести до народа. Он верил в себя, в свои силы, и это было главным. На кого же теперь ему опереться?

Он берет пачку писем. Честные патриоты изъявляют ему свои чувства любви и преданности. Откуда им знать, что того Робеспьера, которому они пишут, уже не существует? Есть просто больной, бесконечно усталый человек.

Но какая-то молодая вдова предлагает ему свою жизнь и состояние. Святая простота! Хотя, конечно, она так поступает из самых чистых побуждений.

Еще одно письмо. Он получил его утром. Конечно, он его помнит, но ему почему-то хочется перечитать...

«Робеспьер! Ага! Робеспьер! Я вижу, ты стремишься к диктатуре! Скажи, есть ли в истории тираны хуже тебя? Неужели ты не погибнешь?..»

Кто этот анонимный автор? Может, Камбон, приходивший вчера справляться о его здоровье? Может, тот буржуа, так подобострастно кланявшийся ему сегодня? Кругом враги!

И тут он вспомнил мальчика, маленького Максимилиана, которого он встретил на аллее Булонского леса. Маленький несмышлениш! Господи, как он завидует ему. В этом хрупком существе заложена колоссальная энергия. Она сделает его взрослым сильным человеком. Она поможет ему в течение многих лет бороться с житейскими бурями. Он женится,

у него будут дети, он станет примерным гражданином. Этой энергии ему хватит как минимум лет на пятьдесят. Мне бы хоть часть той силы! Ну хотя бы еще на год. Я бы расправился с изменниками. Да, я не мир вам принес, но меч. Только бы укрепились республика! И тогда я бы мог спокойно уйти. Как мне нужен теперь Дантон. Нет, не этот предатель. А человек с его энергией. А ведь он тоже сломался. Он тоже хотел отдохнуть и уже не мог следовать за революцией. «Мирабо — факел Прованса; Робеспьер — свеча Арраса». Быстро сгорел этот факел. Да, я свеча, но своим светом я осветил победный путь Франции. Однако, Максимилиан, наступила и твоя очередь. Нечем гореть. Светильник пуст. Пламя гаснет. Неужели на земле есть еще здоровые люди?

Господи, ведь мне только тридцать шесть лет! В моем возрасте еще начинают делать карьеру, исправно ходят на службу, ухаживают за женщинами, растят детей... Миллионы моих сверстников сейчас спокойно пьют вино, мирно играют в лото... Надеюсь, у будущих поколений будет счастливая жизнь. Вспомнят ли они нас, тех, кто на своих плечах вынес всю тяжесть революции?

Уже сейчас говорят только о жертвах террора. Но революцию делали не жертвы, а люди, которые до конца выстояли против всей феодальной Европы! Ведь почему Дантон отказался вступить в правительство, — его же приглашали! Никому Робеспьер не высказывал эту мысль, но он-то уже тогда понял Дантона. Дантон просто испугался. В августе — сентябре 93-го года положение Франции было столь катастрофично, что казалось, правительство неминуемо погибнет. И Дантон не рискнул связываться с обреченными.

Но правительство победило. Люди, вошедшие в него, словно заключили договор с победой. Нет, мы

заклучили договор со смертью! Нет, Клоотс, нет, Шомет, смерть — не вечный сон!

И если пришла очередь Робеспьера платить по счету — в добрый час. Он сделал все, что мог. Если бы все можно было начать снова, он все повторил бы. Единственное его убежище — истина; он не хочет ни сторонников, ни похвал; его оправдание в его совести.

...Давно догорела свеча. Давно стихло все в доме. Он лежал и знал, что ему предстоит бессонница, что те мысли, которые он упорно отгонял от себя днем, сейчас подступят к нему, и всю ночь придется с кем-то спорить, что-то яростно кому-то доказывать, понимая, как это бессмысленно.

Такова его судьба. Его никогда не понимали. Враги обвиняли его в намерениях, от которых он был далек. Друзья и союзники подозревали его в тайных замыслах, которые были ему чужды. Он хотел счастья Франции, а ему приписывали честолюбие. Он не прощал отступничества, а его обвиняли в жестокости. Он разоблачал прогнивших кумиров, а за его спиной говорили, что он завистлив. Он протягивал руку заблуждающимся, а его упрекали в лицемерии. Он единственный из всех людей 89-го года не предал революцию, а кругом кричат, что он предал друзей.

Он уходил от этих мыслей и пытался призвать другие, какие-нибудь милые, спокойные воспоминания. В них, вероятно, можно было найти утешение. В них, вероятно, можно было обрести душевный покой. Но он не знал ни отца, ни матери и не мог вспомнить их лица. Родной Аррас представлялся ему туманным, и даже годы студенчества казались такими далекими, что их, наверное, просто не было. Его жизнь, жизнь Робеспьера, началась с мая 89-го года. И каждый день в ней был днем борьбы. Он боялся думать об Элеонор Дюпле, ибо никаких иных чувств,

кроме сожаления, что ничего никогда не будет, не могло принести ему ее имя. Брата своего он давно уже не воспринимал как брата,— Огюст был просто товарищем, одним из монтаньяров. Не к ночи помянута его сестра Шарлотта, старая зануда, которая умудрилась завести мелкие дразги с почтенной мадам Дюпле.

Нет, напрасно он призывал на помощь воспоминания. Он видел только яростный Конвент, буйных ораторов, клуб якобинцев, многотысячную народную толпу, пороховой дым, окутывающий Тюильрийский дворец.

Ежедневная ночная работа приучила его засыпать только к утру, и сейчас, страдая бессонницей, он ненавидел всех и самого себя и молил бога дать ему спасительное забвение.

...Как-то вдруг незаметно он снова оказался на аллее, закрытой от лучей солнца ветвями старых деревьев. И к скамейке подошел мальчик и спросил: «Дядя, как зовут собаку?» Тут мысли его спутались, он начал проваливаться, он засыпал. И вот тогда, на мгновение, но удивительно ярко и живо предстал перед ним один день.

...Марсово поле было до краев заполнено празднично одетыми, веселыми парижанами. Депутаты и высшие должностные лица стояли вместе с ткачами и кузнецами, ремесленниками и торговцами. Железные наконечники пик в руках департаментских федератов были закрыты оливковыми ветвями. Это было празднество 10 августа 93-го года. И он увидел себя рядом с Дантоном и Демуленом, Эбером и Шометом, Колло д'Эрбуа и Карно, Сен-Жюстом и Фабром д'Эглантинем, Филиппо и Билло-Вареном. И лица у всех (так ему виделось сейчас, в пронзительном свете воспоминаний) были дружеские и радостные.

Депутаты обнимали друг друга. Казалось, ничто и никогда не сможет разъединить этих людей. И Робеспьер, вспоминая эту картину из теперешнего своего полусна, любил их всех. И на алтарь Отечества поднялся председатель Конвента Эро де Сешель, очень красивый молодой человек с просветленным лицом, и звонким певучим голосом провозгласил принятие конституции, которая должна была принести Франции мир, спокойствие и счастье.

Хроника революции

Революция как Сатурн — она пожирает собственных детей.

Вернио

Наш рассказ о Робеспьере будет незаконченным, если мы не обратим внимания читателя на одну странную закономерность (если хотите, и парадокс) не столько политического, сколько скорее геометрического порядка.

Для членов комитетов и депутатов Конвента Робеспьер был признанным вождем революции, но в то же время человеком жестоким, любящим поучать, любящим выставлять свое «я», оратором менее талантливым, чем Мирабо или Вернио, политическим деятелем не таким гибким, как Дантон. Очень немногие его любили, а большинство — большинство депутатов его просто боялись. Итак, это был первый круг, круг людей, близко знавших Робеспьера.

Зато в Париже Робеспьер пользовался безграничным уважением. Санкюлоты предместий, даже те, которым ни разу не приходилось видеть или слышать

Робеспьера, считали его совестью революции. Это второй круг.

В глазах всей революционной Франции Робеспьер был единственным кумиром, которому поклонялись как божеству и слово которого являлось законом. Это третий круг.

Но во всех цивилизованных уголках планеты, всюду, куда докатилась весть о событиях во Франции, имя Робеспьера стало символом революции. Демократы во всей Европе видели в Робеспьере своего освободителя от местной феодальной тирании. Это четвертый круг.

Таким образом, мы видим, что влияние и слава Робеспьера росли в обратном пропорциональном прогрессии.

И потом, когда во Франции поочередно сменялись короли и императоры — какой неизбежной ни казалась бы им их теперешняя власть — ни один из них не посмел вернуться к порядкам прежних Людовиков, ни один не решился восстановить феодализм. Не посмели — не только потому, что страна развивалась уже по иным экономическим законам, но и потому, что слишком еще жива была память о грозных робеспьеровских временах. Конечно, они не помнили «зеленых глаз Робеспьера», но страх перед суровыми длинноволосыми якобинцами не был забыт.

Так понимали ли французские революционеры, понимал ли сам Робеспьер и его друзья, что они делали? Догадывались ли они, что не слепая фортуна, а они своими руками повернули колесо всемирной истории? Предвидели ли они, что все следующее столетие пройдет под знаком французской революции?

Понимали. Говорили. Писали. Думали. Так значит, они видели конечную цель революции? Почему же они не достигли ее? Почему же, в конце концов

придя к власти, якобинцы отказались от тех принципов, которые ранее провозглашали?

Короче говоря, почему, победив, они, тем не менее, не победили?

Не будем торопиться с выводами, рассмотрим все по порядку. Итак:

Почему якобинцы, которые неуклонно и последовательно отстаивали всеобщее избирательное право, свергли монархию, не допустили к власти крупную буржуазию, — то есть сделали все, чтобы Францией управлял народ, — кончили тем, что практически ликвидировали выборность, свели на нет энергию масс и на ключевые должности просто назначали своих агентов?

Почему якобинцы, провозгласившие свободу личности, свободу слова, свободу собраний, свободу печати, свободу совести, свободу партий, кончили тем, что, встав у руля Франции, отменили все эти свободы?

Почему люди, долго и последовательно выступавшие не только против смертной казни, но и вообще против всякого насилия, ратовавшие за то, чтобы свою правоту можно было доказывать только путем убеждений — в конце концов установили режим террора?

Историки объясняют нам эти противоречия следующим образом: когда силы сопротивления прошлого объединились, вызвав гражданскую и внешнюю борьбу, революция приостановила действие основных принципов 1789 года и не ввела в действие самую демократическую из всех французских конституций, конституцию 1793 года; революция обратила против своих врагов те же насильственные средства старого порядка, которые они направляли против нее, — то есть в целях самозащиты революционеры прибегли к тем методам, при помощи которых в свое время за-

щищался старый режим. Приостановка основных принципов 1789 года и являлась террором.

Еще раз перелистаем страницы истории.

По конституции 1793 года власть передавалась народу. Но ввести конституцию в действие в то время было равносильно самоубийству. Представим себе, что в разгар решающего сражения армия вместо того, чтобы четко выполнять приказы командиров, устроила бы грандиозный митинг. Весьма возможно, в результате этого митинга почти все командиры остались бы на своих местах, но сама армия была бы перебита. Спасение было в одном — превратить страну в единый военный лагерь, и это понимали революционеры всех оттенков и направлений. Более того, все они единодушно этого требовали. Но в военном лагере живут по законам военного времени. Нужно единоначалие. Нужна единая воля. Эта единая воля сконцентрировалась в Комитете общественного спасения, в деятельности робеспьеровской партии. Но остальные партии от «бешеных» и эбертистов до дантонистов, сами призвав эту единую волю, жили еще «по старым традициям». Субъективно они выступали за свободу межпартийной борьбы, а объективно препятствовали проведению единой линии, объективно они мешали деятельности Комитета общественного спасения, то есть мешали спасению Франции. Сторонники Робеспьера и комитета вынуждены были разгромить как левую, так и правую оппозицию. Отстояв генеральную линию, Робеспьер спас революцию. Но расправившись с оппозицией, Робеспьер фактически ликвидировал свободу мнений. Расправившись с лидерами оппозиции, Робеспьер тем самым перебил почти всех видных революционеров. Вроде бы все логично и закономерно, но, согласитесь, что это странная логика, странная закономерность.

Якобинцы пришли к власти при помощи Коммуны, секций и провинциальных народных обществ. Но вскоре самостоятельность Коммуны, секций и обществ стала мешать проведению единой воли, то есть деятельности, направленной на спасение страны. Продолжим аналогию с армией: распоряжения полководца встречают возражения со стороны его армии, потому что порядок в войсках не военный, а скорее партизанский, и каждый отряд хочет исполнять не то, что ему приказывают, а то, что хотят солдаты или избранные солдатами командиры. Естественно, полководец первым делом старается подавить этот партизанский бунт и поставить во главе отряда надежных и дисциплинированных командиров. Такая реформа необходима, — благодаря ей армия становится сильнее, монолитнее и боеспособнее. Итак, нарушив выборность секций и обществ, назначив туда своих агентов, Робеспьер тем самым покончил с демократией.

Правда, были еще и другие обстоятельства, заставившие комитеты предпринять такой шаг. Слишком памятна была попытка Эбера свергнуть якобинское правительство. Комитеты боялись секций, где были сильны сторонники Эбера. В глазах парижской бедноты Эбер все еще оставался самым главным их защитником, самым смелым выразителем их требований. С именем Эбера были связаны крупнейшие победы парижских санкюлотов в 93-м году. И хотя после разгрома фракций руководители секций поспешили заявить правительству о своей полной поддержке, в самих секциях все еще не могли поверить утверждениям комитетов, что, дескать, Эбер оказался предателем. Однако теперь революционная инициатива народных обществ против умеренных и буржуазии была заранее парализована вероятным обвине-

нием в эбертизме. Отныне вся инициатива должна была идти только сверху. Роль санкюлотов сводилась к одобрению правительственных мер.

Чтобы накормить голодных, Комитету общественного спасения оставался лишь один путь — конфисковать излишки продовольствия и установить максимум. Только такими крутыми мерами была спасена революция. Но через какое-то время на рынке вообще исчезли продукты, ибо торговцам не имело смысла их приобретать, а крестьянам — продавать. Значит, опять нужен был новый поворот — отмена максимума и призыв к частной инициативе.

Все революционеры всех направлений единодушно требовали от Комитета общественного спасения поставить террор на повестку дня.

По предложению Дантона судопроизводство было сокращено до минимума. Эбер, комментируя процесс жирондистов, писал: «Разве нужно столько церемоний, чтобы укротить преступников, уже осужденных народом?» Но упростив судопроизводство, то есть практически лишив каждого человека конституционных и юридических гарантий, эбертисты и дантонисты, люди, так горячо ратовавшие за террор, вскоре сами стали его жертвой.

Ради спасения революции требовалось, чтобы во главе армии стояли энергичные и решительные военные, чтобы единую волю в департаментах проводили опытные политики, проконсулы, наиболее талантливые депутаты Конвента. Но вскоре эти одаренные личности, то есть люди, способные на самостоятельные поступки, стали представлять опасность, ибо благодаря своему авторитету могли увести революцию в сторону. И тогда из департаментов начали отзывать проконсулов, а на их место назначать исполнительных национальных агентов. И если сначала

судили генералов за измену или за бездарность, то потом рубили головы просто **строптивым** генералам.

Возникает вполне естественный вопрос: не проще было бы кратчайшим путем прийти к конечной цели? Увы, история учит, что это невозможно. В революции должны быть свои «возрастные» периоды. В революции принимали участие разные социальные группы, и у каждой из них была своя конечная цель. Там, где для одних революция кончалась, для других она только начиналась. Поэтому крупная буржуазия пыталась установить свою диктатуру. Поэтому мелкая буржуазия не хотела отказаться от своей диктатуры и, вернувшись к народному представительству, допустить к власти неимущие слои населения.

Конечно, якобинцы надеялись, что в государстве будущего, которое они стремились построить, будут действовать законы конституции 1793 года. Но с какого момента надо было прекратить террор и восстановить все демократические нормы?

На все эти вопросы легко давать теоретические ответы. А на практике люди, которые стояли у руководства, должны были постоянно проявлять максимум дальновидности и гибкости, чувствовать себя выше всех личных обид и страстей, или... ..Или добровольно уступить свое место другим политикам, более приспособленным для решения задач данного периода.

Но существует такое понятие, как усталость металла, и всем известно, что силы человеческие не беспределельны.

Правда, помнится, в свое время бытовало мнение, что только ограниченность Робеспьера, его ошибки не позволили довести революцию до конца. Позволительно спросить: до какого конца? Уместно вспомнить высказывание одного из самых радикаль-

ных французских историков Матьеза: «Как мог комитет решительно проводить классовую политику, когда после жерминаля он старался соблюсти интересы всех классов населения? Толпа безграмотных бедняков, на которую он простирал свои заботы, являлась для него скорее бременем, чем поддержкой. Она безучастно присутствовала при событиях, которых не понимала. Вся правительственная политика основывалась, по существу, на терроре... Террор же разрушал у масс уважение к революционному режиму».

Повторим вопрос. На кого же мог опираться Робеспьер? Напомним, что он попал в странное положение. Разгромив эбертистов и дантонистов,— а ему казалось, что именно это диктуют задачи революции,— Робеспьер тем самым свел влияние революционной партии на нет. Еще один парадокс революции? Мы уже убедились, что в отношении к обеим фракциям у Робеспьера было много субъективного. Но ведь фракции Дантона и Эбера образовались не по прихоти их вождей. Кто же стоял за ними?

За Эбером шли городские массы, которые отдали революции все, не получив взамен ничего. Уже тысячи горожан погибли на войне, а фронт военных действий все разрастался. Революционный суд усердно гильотинировал богатых купцов и фабрикантов, а число безработных все увеличивалось. Менялись революционные лозунги, а жить становилось все хуже. Рабочим предлагали верить в светлое будущее, но страшно было подумать о завтрашнем дне. Им проповедовали новую гражданскую религию, некое общество добродетельных людей, но хлеба давали все меньше. Революция одерживала одну победу за другой, но городские низы стояли на пороге голодной смерти. Разочарованная, обозленная городская

беднота видела свое спасение только в применении крайних мер. Вот почему она поддерживала Эбера.

За Дантоном стояла новая буржуазия. Во Франции сложились такие условия, благодаря которым люди, имеющие капитал, могли строить заводы и фабрики, развивать и расширять торговлю. Естественно, что некий гражданин Н. прежде всего заботился не о том, чтобы создать какое-то коллективное предприятие, которое будет приносить прибыль всем (если даже он хотел всеобщего материального равенства, он бы не знал, как этого добиться); он только помнил, каким малорентабельным было дореволюционное цеховое производство; он только знал, что надо делать, чтобы его завод, его фабрика, его торговая контора приносила ему прибыль. Но на пути к его личному обогащению стояли робеспьеровские комитеты.

Во что же верили соратники Робеспьера? Их идеалом было «всеобщее счастье»: в конце революции им виделась прекрасная республика счастливых людей, где царствуют умеренность, согласие, добродетель, где нет контрастов нищеты и богатства, где все люди бедны — в том смысле, что они не излишне богаты — и где, по возможности, все обладают собственностью.

Но кто же стоял за робеспьеровской партией?

Мы уже говорили, что, когда монтаньяры установили свою диктатуру, это означало, что к власти пришла мелкая буржуазия. Но мелкая буржуазия — это зыбкий, неустойчивый слой общества. Революционное правительство разделило помещичью землю между крестьянами, но в деревне шел процесс дифференциации: бедные крестьяне становились еще беднее, а богатые, скупая землю, — еще богаче. Мелкая городская буржуазия была тоже разнородна. Те, кому удавалось разбогатеть, естественно, начинали под-

держивать дантонистов. Те, кто разорялся и терял свое имущество, обращали свои взоры к защитнику бедноты Эберу. Поэтому, стремясь удержать власть в своих руках, робеспьеровские комитеты вынуждены были наносить удары как направо, так и налево. Но после жерминаля, разгромив фракции, правительство все же должно было учитывать требования тех широких групп, которые ранее поддерживали Дантона или Эбера. Отсюда понятна фраза Матьеза, что «комитет... старался соблюсти интересы всех классов населения». Тем временем процесс дифференциации мелкой буржуазии все убыстрялся. Робеспьер думал, что возводимое им здание нового государства стоит на прочном каменном фундаменте, но оказалось, что он строил его на льду. Лед таял — здание шаталось.

Сторонники Робеспьера так пространно рассуждали на темы морали не от хорошей жизни и не потому, что любили красивые фразы. Они не могли найти выхода из экономических противоречий. Отсюда попытка Робеспьера ввести во Франции культ Верховного Существа и с помощью новой религии заставить народ идти к царству Добродетели по пути, указанному Провидением. Естественно, что новый культ не выдерживал критики, — отсюда утверждение Робеспьера, что «атеизм аристократичен» и несет народу хаос.

Новая религия не помогла. Здание добродетельного государства рушилось, казалось, вот-вот его разнесут по кусочкам, и охранять его можно было только с помощью террора.

Что же получается? Самым ярким «террористом» оказался человек, который среди всех французских революционеров выделялся как самый последовательный демократ?

Да разве может такое быть?

Да разве так должно быть?

Конечно, скажем мы, так не должно быть. Конечно, так неправильно. Но мы изучаем историю. А история нам рассказала как было. Да, так было. И одна из задач книги как раз в том, чтобы показать, как и почему менялся Робеспьер. Мы пытались проследить эволюцию, эволюцию политических взглядов, методов борьбы и характера нашего героя.

Не по злому умыслу противник смертной казни послылал лучших людей Франции на гильотину.

Человек, провозгласивший своим политическим кредо: «Народ всегда прав», — на закате своей политической карьеры не доверял народным обществам, не понимал тех людей, которые наиболее последовательно выражали настроения городской бедноты. Ведь уже в 93-м году Робеспьер считал «бешеных» только анархистами и карьеристами, а через год видел в эбертистах только сторонников Питта, только политических интриганов, стремящихся воспользоваться смутой и всевозможными трудностями, чтобы привести свою партию к власти.

Куда же девалась та объективность и трезвость оценок, которая была характерна для Робеспьера в первые годы революции?

Но, вероятно, Робеспьер потому не доверял народным обществам и не стремился опереться на народные массы, что, в свою очередь, был ограничен рамками своей эпохи, своего понимания возможностей революции. Он не мог дать то, что народ требовал.

Мы следили за тем, как менялся Робеспьер. И в этой эволюции была не его вина — была его беда. Да только ли его?

Карл Маркс писал: «Господство террора во Франции могло поэтому послужить лишь к тому, чтобы

ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции. Буржуазия с ее тревожной осмотрительностью не справилась бы с такой работой в течение десятилетий, кровавые действия народа лишь выровняли ей дорогу». То есть страшная робеспьеровская машина нужна была для того, чтобы разрушить все феодальные устои (это и означало — довести революцию до конца) и тем самым направить Францию на путь буржуазного развития. Но, совершив этот подвиг, сама робеспьеровская партия должна была погибнуть.

В этом парадоксе нет ничего парадоксального. Это, как говорят биологи, закон природы. Недаром уже в 1795 году один из депутатов Совета пятисот высказался в том смысле, что мы за последние пять лет пережили шесть столетий.

Но как понять эту жестокую закономерность живым людям, самим участникам великой драмы? Пламенные революционеры, они готовы были умереть за Идею, за Дело, которое они считали правым. Но они не понимали, что должны были умереть ради этой Идеи, ради этого Дела, — иначе стали бы помехой и остановили революцию. Действительно, мог бы Барнав сложить руки спокойно наблюдать, как рушится конституционная монархия? Могли ли жирондисты добровольно уступить власть мелкой буржуазии и смириться с террором монтаньяров? Разве в силах Робеспьера и Сен-Жюста было вынести зрелище буржуазной оргии, котсрая началась после термидора?

Жирондисты на своем судебном процессе пытались защищаться. Им казалось чудовищным и нелепым, что они, люди, которым революция стольким обязана, погибают от руки самой революции. Они

были уверены, что якобинцы просто нарушают все законы. На самом деле якобинцы, нарушая формальные юридические законы, подчинялись единственно правильному закону — закону революции. Жирондисты должны были погибнуть ради того, чтобы в конечном счете восторжествовали те идеи, которым они посвятили свою жизнь.

Герцог Орлеанский, он же Филипп Эгалите, человек, много сделавший для революционной Франции, как он мог осознать, что наступило время, когда его имя стало помехой якобинцам? И якобинцам, чтобы снять с себя обвинение, будто они хотят привести к власти другую царственную династию (обвинение очень популярное), потребовалось пожертвовать герцогом Орлеанским.

Эбер разжег гигантский костер террора. Не будем сейчас останавливаться на недостатках и просчетах его политики. Но он четко выражал настроения парижской бедноты. Но где, где был тот самый день, когда он обязан был остановиться? Ведь Эбер был нормальным человеком со всеми сложностями своего характера. На него сыпались оскорбления дантонистов. Он хотел им отомстить. Подготовку к восстанию он начал не для сведения личных счетов, а потому, что полагал добиться главного — ликвидации дантонистов, то есть, в его представлении, еще одной Жиронды. Успех восстания передал бы всю власть народным низам. Но была ли городская беднота готова к установлению своей диктатуры?

До этого момента робеспьеровский комитет нуждался в поддержке Эбера. Но пробил час, и именно в силу того, что имя Эбера еще было популярным, а его партия пользовалась большим влиянием, Робеспьеру пришлось казнить Эбера, одного из славных сынов революции.

Дантон вроде бы поступал дальновиднее. Он словно ушел в тень. Он даже специально уехал из Парижа, а вернувшись, поддерживал линию Робеспьера. Но, вероятно, если видный вождь правительства в период острой революционной борьбы отходит от активной политической деятельности, то вокруг него собираются враждебные правительству силы, и сам он невольно становится лидером оппозиции. В условиях нормальной жизни дело бы ограничилось дебатами в парламенте. В условиях революции — привело Дантона к гибели.

Таким образом мы видим, что террор служил средством самозащиты революции, но в то же время он форсировал революцию, приближал ее конец. Тот необходимый путь, который революция в нормальных условиях (если к революции вообще применимо слово «нормально») должна была пройти лет так за двадцать, при помощи террора она прошла за год.

Итак, против своих врагов и даже не врагов, а инакомыслящих, якобинцы не смогли применить ничего другого, кроме террора. Правильно ли это?

А может, надо пренебречь перехлестами террора, следуя печально известной поговорке: «Лес рубят — щепки летят»?

Ведь не только под ножом гильотины погибали французы! Ведь на фронтах революции умирали тысячи солдат! Ведь вандейцы в свою очередь вырезали целые деревни! Ведь после 9 термидора пришел белый террор!

А если перелистать историю дальше?

Через несколько лет Франция попала в руки честолюбивого генерала. Он не страдал различными комплексами, он не мучился ночами над проблемами человечества и народного счастья, он не размышлял над законами исторического развития, — он просто

был человеком решительным, хорошо изучившим артиллерийское дело, человеком, убежденным в правоте «больших батальонов». Маленький, самоуверенный военный, который еще в 93-м году почтительно расшаркивался перед старой девой Шарлоттой Робеспьер, который все свои честолюбивые замыслы связывал с Огюстеном Робеспьером, произведшим его в генералы, который мечтал быть хорошим полководцем у Сен-Жюста — этот человек в 99-м году, на фоне уцелевших после 94-го года политических амеб, показался сильной личностью. Под ликующие визги ему вручили бразды правления. А дальше? Ради исполнения своих эгоистических желаний он в течение продолжительных войн перебил миллионы солдат и залил кровью всю Европу. В одном только Бородинском сражении погибло в сорок раз больше французов, чем в Париже за весь период красного террора.

(Любопытно, что до сих пор Наполеон — национальный герой. А Робеспьеру, отдавшему свою жизнь ради счастья Франции и всего человечества, его страна даже не поставила памятника.)

И все-таки оправдать террор мы не можем. Хотя мы понимаем, что террор был необходим. Хотя мы понимаем, что якобинцы не смогли придумать ничего, кроме террора.

Но была зловещая последовательность в том, что вожди революции умирали, а те, кто не успел умереть — эмигрировали, а те, кто не успел эмигрировать...

Реквием героям французской революции

БАРНАВ — лидер Учредительного собрания, человек, которому Франция обязана первой конституцией — гильотинирован

- РАБО СЕНТ-ЭТЬЕН** — видный законодатель Учредительного собрания, немало способствовавший поражению монархической партии — гильотинирован
- ВЕРНИО** — лидер жирондистов, подготовивший свержение монархии — гильотинирован
- ЖАНСОНЕ** — лидер жирондистов, подготовивший свержение монархии — гильотинирован
- ГАДЕ** — лидер жирондистов, подготовивший свержение монархии — гильотинирован
- КЮСТИН** — полководец, с именем которого связаны первые значительные победы республиканской армии — гильотинирован
- МАНОН РОЛАН** — сделавшая так много для жирондистской партии, проповедник республиканских идей — гильотинирована
- ПЕТИОН** — знаменитый якобинец, первый демократический мэ́р Парижа — погиб в лесу; скрываясь от революционного суда
- БРИССО** — республиканский журналист, герой 1791 года — гильотинирован
- КОНДОРСЕ** — философ, последний из энциклопедистов — отравился в ожидании суда
- Герцог ОРЛЕАНСКИЙ** — приведший дворян на помощь третьему сословию, Филипп Красный, видный якобинец — гильотинирован
- МАЙАР** — участник штурма Бастилии, похода на Версаль и штурма Тюильри — привлечен к суду по доносу Фабра д'Эгдантина, после чего перестал существовать как политический деятель
- ТЕРУАНЬ ДЕ МИРЕКУР** — участница Версальского похода и штурма Тюильри — выпорота якобинцами, сошла с ума
- ЖАК РУ** — лидер «бешеных», яростный защитник парижской бедноты — отравился в ожидании казни
- МАРАТ** — истинный друг народа — зарезан в ванной

ЭРО ДЕ СЕШЕЛЬ — член Комитета общественного спасения, составитель и докладчик конституции 1793 года	— гильотинирован
ЭБЕР — знаменитый республиканский журналист, вождь парижской бедноты	— гильотинирован
КЛООТС — космополит, пропагандист всемирной революции	— гильотинирован
ШОМЕТ — прокурор Парижа, защитник бедноты, руководитель Коммуны	— гильотинирован
ШАБО — составивший планы штурма Тюильри, видный якобинец	— гильотинирован
РОНСЕН — организатор парижской революционной армии	— гильотинирован
ВЕНСАН — разгромивший вандейцев	— гильотинирован
ЛАВУАЗЬЕ — знаменитый химик, способствовавший своими работами вооружению французской армии	— гильотинирован
ФАБР Д'ЭГЛАНТИН — автор республиканского календаря	— гильотинирован
КАМИЛЛ ДЕМУЛЕН — вдохновитель штурма Бастилии, первый республиканец Франции	— гильотинирован
ЖОРЖ ДАНТОН — вождь революции, человек, спасший Францию в 1792 году	— гильотинирован

Это герои революции. Это лучшие люди Франции. За ними настала очередь последних французских революционеров. Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон — были гильотинированы. Билло-Варен, Колло д'Эрбуа — умерли в ссылке.

Остались рядовые, трусливые политики, приспособленцы, изменившие своим убеждениям, ничтоже-ства, ввергнувшие Францию в хаос Директории.

Так кто же победил?

Еще девяносто лет во Франции сменялись диктаторы, короли, президенты, императоры, пока, наконец, не установилась буржуазная республика — а благами этой республики с одинаковым успехом пользовались потомки и якобинцев, и жирондистов, и роялистов. На мутной пене исторических событий появились многочисленные деятели разных мастей и калибров, но все они казались карликами по сравнению с гигантами прошлого, обывателями — по сравнению с людьми 93-го года.

Так неужели герои французской революции отдали свои жизни только за торжество буржуазной формации? Неужели для того, чтобы перейти к новой экономической системе, надо было принести столько жертв?

Делаем вывод: значит, человеческому обществу еще далеко до совершенства, если последователи и ученики великого гуманиста Жан-Жака Руссо забыли слова своего учителя:

— Ничто на земле не стоит цены человеческой!

Сен-Жюст

В революции заходят далеко тогда, когда не знают, куда идут.

Робеспьер

Десятого мессидора в двенадцать часов дня к зданию Тюильрийского манежа подлетел покрытый пылью экипаж. Кучер резко осадил лошадей, так что лошади вздыбились и даже несколько подались назад. Из экипажа выпрыгнул молодой человек в дорожном

сюртуке и, поправив упавшую на лоб прядь длинных волос, быстро пошел к дверям, возле которых, как и всегда в часы заседания Конвента, стояло человек двадцать — просители, зеваки, любопытные. Вход в здание манежа охраняли два национальных гвардейца. Рослые ребята, исполненные чувства собственного достоинства, они, прислонившись к стене, снисходительно слушали любезности, которые тараторила им молоденькая торговка. Вдруг гвардейцы, как по команде, вытянулись и взяли ружья «на караул». Несколько человек тут же обернулось, и буквально в одну секунду толпа расступилась, а мужчины поспешили снять шляпы.

Молодой человек в дорожном сюртуке, не глядя ни на кого и не отвечая на робкие приветствия, прошел сквозь этот живой коридор и, держась прямо, даже не наклоняя головы, начал подниматься по лестнице.

Тех, кто видел молодого человека впервые, поражала красота его лица. Классический древнегреческий профиль, длинные вьющиеся волосы, спадающие до плеч, делали молодого человека похожим на ангела, только что сошедшего с полотен дореволюционных художников. Но стоило только встретить взгляд молодого человека, как сравнение с ангелом сразу забывалось. Его презрительные зимние глаза светились недобрым огнем. В них угадывалась безжалостная сила, ощущая которую, люди невольно замирали. Если бы в природе существовал бог войны, то у него должны были быть именно такие глаза.

Сиейс — в прошлом знаменитый автор брошюры о третьем сословии, а ныне незаметный депутат «болота» — стоял в пролете лестницы, удобно облокотившись на перила, и вел неторопливую, тихую беседу с Тальеном. Неожиданно он заметил, как посерело

румяное самодовольное лицо Тальена, как тот буквально стал ниже ростом. Сиейс обернулся и сразу как-то сжался, почувствовав предательскую дрожь в коленях. Он увидел поднимающегося молодого человека, ощутил на себе его пронизывающий взгляд, — и первым невольным желанием Сиейса было спрятаться за широкую спину Тальена. В ту же секунду Сиейс, словно кукольный паяц, которого дернули за ниточку, повернулся и застыл в почтительном полупоклоне.

— Привет победителю при Флерюсе, — быстро произнес Тальен почему-то охрипшим голосом.

Молодой человек мрачно кивнул в ответ и последовал дальше.

В зале Конвента секретарь зачитывал разомлевшим от скуки депутатам корреспонденцию (потому что давно все декреты вотировались без обсуждения, а надо было чем-то занять время), когда шум, внезапно возникший на трибунах для зрителей, заставил его остановиться и оторваться от бумаг. Внизу в дверях секретарь увидел молодого человека с длинными вьющимися волосами, и уже в следующее мгновение секретарь перегнулся с трибуны, знаками приглашая его проходить, садиться, — ничего, мол, мы подождем.

Взгляд молодого человека, как нож, вонзался в лица депутатов. Даже стоя спиной к вошедшему, можно было догадаться, на кого он сейчас смотрит. Вот двое дружно привстали, приветливо машут рукой. Вот на длинной скамье, один за другим, слева направо, депутаты опускают головы. Вот лицо толстяка вспыхнуло притворной фальшивой улыбкой...

По тому, как депутаты разом задвигались на своих местах, секретарь понял, что молодой человек вышел из зала.

И тут же чуткое ухо секретаря уловило свистящий шепот: «Прибыл ангел смерти». Секретарь вскинул глаза и моментально засек того, кто это сказал. Депутат Тюрио сидел внизу, прямо перед трибуной. Мысленно для себя секретарь отметил, что у него есть повод сделать донос на Тюрио, и он это делает, когда надо будет, но именно, почему-то повторил секретарь, когда надо будет, а сейчас... а сейчас секретарь откашлялся и, дождавшись, пока стихнет гул на трибунах, продолжил чтение.

Через два часа Париж знал, что из армии вернулся член Комитета общественного спасения, начальник Бюро общего надзора полиции, второй человек Франции Антуан Сен-Жюст.

* * *

•

За последнее время все привыкли к тому, что сразу после имени Робеспьера называют имя Сен-Жюста. Политики парижских кофеен даже придумали распределение ролей между двумя ведущими членами правительства: Робеспьер — больше, Сен-Жюст — сильнее; Робеспьер говорит, Сен-Жюст исполняет.

В свои двадцать семь лет Сен-Жюст обладал властью, о которой безнадежно мечтали сильные люди минувших революционных лет — Мирабо, Барнав, Дюмурье, и которой никогда не имел последний король Франции Людовик XVI.

Железную руку Сен-Жюста впервые почувствовали в Страсбурге, куда он прибыл в ноябре 1793 года. У французской армии в Эльзасе не было ни провианта, ни одежды, ни начальников, ни малейшего намека на дисциплину. Контрреволюция торжествовала по поводу обесценивания ассигнаций, всеобщей

крайней нужды и держала бедных за горло. Белые кокарды передавались из рук в руки. Вновь появившиеся в городе эмигранты расхаживали с гордо поднятыми головами. Никаких реквизиций не производилось, а поэтому не было ни кормового хлеба, ни повозок, ни дров. Подпольные публичные дома кишели офицерами, ошалевшими от безделья. Раненые солдаты гнили от ран на больничных койках без всякой медицинской помощи. В сельских местностях бродили толпы дезертиров. Зато по Эльзасу кочевал прокурор Шнейдер, возивший за собой гильотину и палача и наводивший на округу ужас многочисленными смертными приговорами.

В короткий срок Сен-Жюст провел чистку командного состава, одел и обул армию, сделав ее полностью боеспособной. Он предал революционному суду Шнейдера и путем решительных мер навел в Эльзасе порядок.

С тех пор Сен-Жюст регулярно выезжал на фронт, и весть о его прибытии заставляла трепетать даже прославленных генералов. Храбрые полководцы, хладнокровные перед лицом неприятеля, они боялись неудач, которые могли привести к отставке или к эшафоту; соперничая с командирами других армий, они дрожали перед возможным доносом и шли на компромисс со своими подчиненными; решительные во время боя, они отступали перед крючкотворством хитроумных интендантов и закрывали глаза на то, что сразу замечал пронизательный взгляд Сен-Жюста.

«Военная администрация кишит разбойниками, — писал Сен-Жюст Конвенту, — крадут лошадиные рационы. Субординации там больше не признают и крадут все, взаимно презирая друг друга».

Но коррупция и воровство, которые, казалось, 303

начисто парализовали армию, странным образом исчезали с приездом Сен-Жюста. Появлялись патроны и снаряды, солдаты начинали получать полный паек, снабженцы — пессимисты по природе — вдруг проявляли чудеса предприимчивости, доставая в нужном количестве обувь и одежду.

Не колеблясь, Сен-Жюст смещал робких командиров. Перед строем расстреливали офицеров-изменников и проворовавшихся интендантов. Генералы развивали энергичную деятельность. А когда этого требовали обстоятельства, Сен-Жюст сам водил полки в атаку.

Никакие громкие фразы, никакие демагогические речи не могли скрыть от Сен-Жюста равнодушия и трусости лжепатриотов. Сен-Жюст говорил: «Патриотизм — это торговля словами, каждый жертвует всеми другими и никогда не жертвует своими интересами».

Сен-Жюст оставался в армии, пока срочные дела не заставляли его возвращаться в Париж. И тогда в Конвенте он выступал докладчиком от Комитета по самым важным вопросам.

Каждое слово Сен-Жюста звучало как удар топора. Он говорил только приговорами. Именно Сен-Жюст в 1793 году убедил Конвент усилить террор.

А 8 вантоза 1794 года он выступил с программной речью: «Не думаете ли вы, что государство может существовать, когда гражданские отношения противоречат форме его правления? Те, кто осуществляет революцию наполовину, лишь роют себе могилу... Собственность патриотов священна, но имущество заговорщиков должно пойти в пользу нуждающихся». Это был самый решительный шаг французской революции. Не вина Сен-Жюста, что эбертисты не поняли его и не поддержали.

В своей вантозской речи Сен-Жюст обратил внимание правительства на злоупотребления местных властей: «Свирепый взгляд, усы, мрачный и жеманный слог, лишенный наивности, разве в этом вся заслуга патриотизма?» Сен-Жюст потребовал установления спокойствия в стране и ограничения реквизиций.

Но жизнь и смерть революции решались на фронтах, и как только положение в Париже относительно нормализовалось — Сен-Жюст спешил в армию. Армию он не выпустил из-под своего контроля.

В начале мессидора по приказу Сен-Жюста французские войска шесть раз пытались форсировать Самбру, а на седьмой — опрокинули полки коалиции и взяли Шарлеруа. 8 мессидора французы разгромили интервентов при Флерюсе. Враг оставил несколько важных крепостей и покатился на восток. Путь в Бельгию, Голландию и Германию был открыт.

В чем же заключалась сила Сен-Жюста?

На фоне других людей, преданных революции, но подверженных обыкновенным человеческим слабостям — кто топил угрызения совести в вине, кто пытался любым способом делать карьеру, кто не мог устоять перед соблазном легкого обогащения, — на фоне чиновников, тратящих свои силы на ведомственные интриги, проконсулов, охваченных страхом перед недремлющим трибуналом, генералов, боявшихся совершить ошибки и поэтому избегавших самостоятельных решений — Сен-Жюст казался сверхчеловеком. В свои двадцать семь лет он не ведал колебаний и сомнений. В политике он придерживался лозунга «Кто не с нами, тот против нас». У него была одна любовь — революция. У него был один друг — верный патриот Леба. У него был один кумир, которого он боготворил — Робеспьер.

Честность Сен-Жюста была вне подозрений. Он вел спартанский образ жизни и не знал, что такое страсть к женщине или родственная привязанность. Не испытав никаких искушений молодости, лишенный всех так называемых житейских слабостей, отвечая только за самого себя, — Сен-Жюст абсолютно не боялся смерти.

Обладая властью, которая позволила полностью раскрыть его способности вождя и политика, энергичный молодой Сен-Жюст сейчас являлся самым сильным человеком, фактически лидером робеспьеровской партии.

10 мессидора, на крыльях победы при Флерюсе, он примчался в Париж спасти революцию.

Он был избран в Комитет общественного спасения за свои собственные заслуги перед страной, без всякой протекции Робеспьера. Более того, сам Робеспьер был введен в состав комитета значительно позже. Но в комитете Сен-Жюст не только проводил линию Робеспьера, он сознательно и добровольно стал как бы тенью Робеспьера, его вторым «я».

Такая позиция, с одной стороны, усиливала влияние Сен-Жюста. Так, например, вряд ли без его помощи Робеспьер отдал бы комитету Дантона и Демулена. В данном случае был заключен даже негласный союз между Сен-Жюстом и Билло-Вареном. Сен-Жюст запомнил, как одобрительно, чуть ли не с восхищением взглянул на него Билло-Варен, когда Робеспьер в конце концов согласился поставить свою подпись под приказом об аресте Дантона. В этот момент и Сен-Жюст чувствовал явное удовлетворение не только потому, что наконец сокрушил могущественных врагов революции, которые, прикрываясь сво-

ими прежними заслугами, пытались отбросить революцию назад, но и потому, что вырвал из сердца Робеспьера его старых друзей.

Когда Сен-Жюст убедил Робеспьера отступить от Дантона, он увидел, что в глазах великого человека промелькнуло отчаяние. На секунду ему стало даже жаль Робеспьера. Но так было надо. Революции отдавали жизнь тысячи солдат, ради революции приходилось жертвовать и друзьями.

И когда Сен-Жюст с трибуны Конвента доказывал, что не было у Дантона заслуг перед Францией (что, может быть, как он и сам понимал, звучало не совсем справедливо), когда он говорил про Дантона: «В то же самое время ты заявлял себя сторонником умеренных принципов, и твои сильные фразы видимо замаскировали слабость твоих предложений... Как банальный примиритель ты все свои речи на трибуне начинал громовым треском, а заключал сделками между правдой и ложью... Ты ко всему приспособлялся», — он не столько зачеркивал Дантона в глазах Конвента и народа, сколько уничтожал его в глазах Робеспьера. И не потому, что благодаря этому у Робеспьера не оставалось больше друзей, кроме Сен-Жюста и Кутона (это было бы слишком мелко и недостойно), а потому, что отныне великий человек был весь во власти революции. А революцию надо было вести дальше.

Сен-Жюст с грустью замечал, что Робеспьер подвержен некоторым слабостям, что он устал, что иногда в его поведении проскальзывает истеричность (Сен-Жюст до сих пор не понимает, как могли эти сволочи из Комитета довести Робеспьера до слез на заседании 23 прериаля. Хорошо, что Сен-Жюста не было тогда в Париже. Еще не известно, как бы ответил Сен-Жюст на наглые речи Билло-Варена. Но

идти на раскол в правительстве пока преждевременно), что Робеспьер в своих последних речах слишком много употребляет слово «я», и это не всегда производит благоприятное впечатление. Сен-Жюсту казалось, что его речи составлены удачнее, чем речи Робеспьера, они более остры и беспощадны и неотвратимо разят врагов, но он считал, что не ему судить великого человека. Он не переоценивал своих собственных достоинств. Ведь он выступал от лица правительства, от лица могущественных комитетов, а Робеспьер долгое время говорил только от самого себя, и властью Робеспьера была только его вера, сила его личных убеждений. Как бы там ни было, но Сен-Жюст признавал, что именно Робеспьер является мозгом революции, что, лишь опираясь на авторитет Робеспьера, можно спасти страну от грозящих ей со всех сторон опасностей.

Однако эта позиция Сен-Жюста, позиция человека, стоящего за спиной Робеспьера, вызывала к самому Сен-Жюсту несколько ироничное отношение со стороны трех ведущих членов Комитета общественного спасения: Карно, Билло-Варена и Барера. Их скрытую иронию Сен-Жюст переживал болезненно. Он привык чувствовать себя (и гордился этим) вторым человеком революционной Франции, человеком, который оказывает наибольшее влияние на Робеспьера, то есть на саму революцию. Правда, Сен-Жюст знал, что в Комитете общественной безопасности тоже существует скрытая недоброжелательность к нему, но там было проще, там он командовал.

Если все эти сложности между Барером и Билло-Вареном, с одной стороны, и Сен-Жюстом, с другой, пока были в плане чисто личном, то с Карно дело обстояло иначе. Сен-Жюст и Карно контролировали армию. Тут их разногласия мешали успешным воен-

ным действиям. Например, в момент форсирования Самбры Карно пытался часть войск перекинуть на другой участок. Осуществившись план Карно — не было бы победы при Флерюсе.

Вечером 10 мессидора, то есть сразу после прибытия в Париж, Сен-Жюст участвовал в бурном заседании Комитета общественного спасения. С Карно он поругался окончательно. Карно дошел до того, что намекнул Сен-Жюсту, что если бы не Робеспьер, он бы, Карно, с ним, с мальчишкой, не разговаривал. Такие вещи не прощаются. Но черт с ним, с Карно. Главная беда была в том, что члены Комитета опять напали на Робеспьера. Взбешенный Робеспьер заявил, что не будет больше приходить в Комитет.

Сен-Жюст решил, что Максимилиан может себе это позволить. Даже лучше, если он пока неофициально выйдет из правительства — пора припугнуть Комитет. Но он, Сен-Жюст, не имеет такого права. Как бы там ни было, Робеспьер оставался лидером правительства. Будучи в армии, Сен-Жюст еще раз убедился, что сейчас правительство сильно как никогда, что о разногласиях в Комитете ничего неизвестно, а правительство должно быть едино, и это важно.

Да, интриги проникли в правительство, но он, Сен-Жюст, должен быть выше этих интриг, он должен продолжать дело революции, а участвуя в работе Комитета — парализовать эти интриги. С Карно, пожалуй, они уже не договорятся. Но с Барером, Билло-Вареном, Колло д'Эрбуа, с людьми, в союзе с которыми Сен-Жюст разгромил эбертистов и оппозицию Дантона, договориться еще возможно, и Сен-Жюст в это верил.



Теперь они встречались крайне редко. Неотложные дела почти не выпускали Сен-Жюста из комитета, а Робеспьер появлялся только в Якобинском клубе. Тем не менее, когда встречи происходили, Сен-Жюст рассказывал Робеспьеру о делах в Комитете (про комитет Робеспьер слушал с подчеркнутым невниманием, как будто только из уважения к Сен-Жюсту) и о развивающемся обширном заговоре, занятиями которого всеильный Сен-Жюст пристально следил через своих агентов. Тальен, Фрерон, Робер, Баррас — Вадье, Дюруа, Камбон, а между ними Фуше, главный инициатор сговора. Эти люди ведут скрытую агитацию среди депутатов Конвента, они явно пользуются покровительством кого-то из членов Комитета общественного спасения, возможно, Колло д'Эрбуа. Как они собираются действовать, пока неизвестно, но цель их ясна — свалить Робеспьера. Про заговор Максимилиан слушал более внимательно и тут же начал долго и пространно жаловаться на злодеев и интриганов, на предателей и честолюбцев, для которых революционный террор стал средством сведения личных счетов и запугивания мелких лавочников, то есть говорил все то, что и сам Сен-Жюст прекрасно знал и понимал. Случалось, что Сен-Жюст ловил себя на чувстве раздражения, которое поднималось у него самого против великого человека: до каких пор они будут сообщать друг другу эти общеизвестные истины? Неужели Робеспьер не понимает, что пора действовать, действовать быстро и энергично?

Однако он надеялся, что все эти речи Робеспьера — своеобразная маскировка, что Робеспьер уже

близок к решению (ведь думает же он о чем-то во время своих одиноких прогулок по Елисейским полям!) и что скоро решение будет принято. Но проходили дни, заговор разрастался, революция словно окоченела, и только машина террора работала бесперебойно, и каждое утро по парижским мостовым, под лучами раскаленного солнца, которое словно сошло с ума, телеги увозили на гильотину новые партии мелких воров и третьестепенных заговорщиков.

Но когда Карно перебросил на фронт верных Коммуне канониров — дальше выжидать было нельзя. И вечером первого термидора Сен-Жюст пришел к Робеспьеру.

...Долгий ночной разговор.

Сен-Жюст убеждал Робеспьера помириться с комитетом. Сен-Жюст утверждал, что Барер и Билло-Варен пойдут на то, чтобы выдать Робеспьеру Тальена, Фуше и Камбона. При едином правительстве террор будет ненужен. Террор и сейчас практически бессмыслен. Отмена террора положит конец производству местных властей, пресечет ревностных доносчиков — и страна вздохнет свободно. Надо дать простор частной инициативе, тогда у мелких торговцев, крестьян, ремесленников появится материальный стимул, уйдет угроза голода. Мятеж в Вандее почти подавлен, все порты возвращены Франции, на французской земле нет больше ни одного интервента, армия крепка и надежна. Есть все условия для постепенного введения принципов конституции 93-го года. Только таким путем мы сможем построить государство, о котором мечтали, ради которого пролито так много крови.

Но Робеспьер непреклонен. Как, простить предателей? Войти в соглашение с теми злодеями, которые его, Робеспьера, обвиняют в контрреволюции и в диктаторстве? Да и где гарантия, что Вадье, Тюрио

и им подобные не будут составлять новые заговоры? Как отменить террор, когда контрреволюция поднимает голову? Наоборот, надо сейчас сокрушить заговорщиков.

Сен-Жюст: — Прекрасно. Значит, повторить 2 июня? Призвать Коммуну? Ударить в набат? Восстать против Конвента?

Но Робеспьер молчит.

Сен-Жюст: — В руках комитета власть и армия. Какую реальную силу мы можем противопоставить? Без союза с комитетом мы не справимся даже с теми заговорщиками, которые реально угрожают нашей жизни.

Нет, Робеспьер категорически против компромиссов.

Сен-Жюст: — Как же ты собираешься действовать?

Робеспьер: — Если они нападут на меня, то тем самым выроют себе могилы. Но они не посмеют. Ведь народ прекрасно знает, что я сделал для Франции и революции.

На лице Сен-Жюста невольная усмешка: «Они не посмеют!» Точно так же говорил Дантон.

Робеспьер: — Я же не сплю. Я тоже действую. Я выгнал Фуше из Якобинского клуба.

Сен-Жюст: — И чего ты добился? Фуше нечего терять. Вот-вот заговорщики выступят. Я отвечаю за свои слова.

Теперь Робеспьер пристально смотрит на Сен-Жюста. Сен-Жюст понимает, что Робеспьер достаточно хорошо знает его и предполагает, что раз он, Сен-Жюст, пошел на такой разговор, то у него явно есть еще и другой план.

Сен-Жюст не ошибся: Последовал тихий вопрос:

— Так что ты предлагаешь?

...Вот он, решающий момент. Теперь главное — заставить Максимилиана выслушать Сен-Жюста, не испугать, иначе Максимилиан сразу взвьется и будет слушать только самого себя, а все доводы Сен-Жюста разлетятся... Сен-Жюст выдерживает паузу и начинает издалека.

— Ты прав. Все то, что я предлагаю, это, конечно, компромисс и полумеры. Мы с тобой не раз убеждались, что люди, которые в свое время шли за революцией, помогали ей, потом становились ее врагами. Вернио и Бриссо тоже когда-то двигали революцию вперед, но ведь потом их пришлось убрать! А разве у Эбера и Дантона не было заслуг? Но если бы победили Эбер и Дантон, революция давно бы погибла. Наступила бы или анархия, или царство спекулянтов. Немногие люди способны довести революцию до конца. Значит, надо передать власть именно этим людям (...Хватит тянуть, — приказал себе Сен-Жюст, — пора поставить точку, все равно придется произнести это слово...) — нужно установить диктатуру.

Он ожидал, что Робеспьер вскочит, забегает по комнате, закричит, но Максимилиан только засмеялся. Максимилиан смеялся крайне редко, и его смех не предвещал ничего хорошего.

— Мой милый Антуан, если бы я тебя не знал, как себя самого, я бы подумал, что сейчас со мной говорит мой злейший враг. Ты предлагаешь мне исполнить мечту всех врагов революции! Ведь их обвинения сводятся к тому, что я диктатор, что я честолюбец, что я Кромвель. И вот наконец я сам иду им навстречу.

— Мне кажется, Максимилиан, что таков закон революции. Наступает момент, когда власть должна оказаться в руках человека, который один способен вывести народ к свободе и к счастью.

— К свободе и счастью через диктатуру? Хороший путь!

— Да, через диктатуру. Ты сам знаешь, что народ, привыкший жить в рабстве, не способен самостоятельно перейти к демократическому правлению. Разве у нас сейчас не диктатура? Диктатура многих, начиная от национальных агентов в департаментах и кончая членами комитета. Но среди них масса подлецов и интриганов, корыстолюбцев и злодеев. (Робеспьер почему-то развеселился. Как только Сен-Жюст замолкал, чтобы перевести дыхание, Робеспьер быстро вставлял одно и то же имя: Кромвель. Следовала еще одна пауза, и Сен-Жюст опять слышал: Кромвель, — после чего Робеспьер потирал ладони и разражался тихим смешком, хотя Сен-Жюст говорил о вещах совсем не веселых.) Вся власть сосредоточена в руках Конвента и верных нам агентов. Толпы бедняков, счастьем которых мы озабочены, разве они могут отстаивать свои интересы? У них в крови привычка слушаться доброго короля. Таким добрым королем будет ловкий демагог, человек, который их одурачит и подчинит себе армию. Когда могущественная государственная машина, которую мы создали, когда победоносная армия, которую мы сформировали, окажется в его руках, он использует эти силы для своих честолюбивых целей. И с революцией будет покончено. Опять Кромвель? Правильно. Почему мы думаем, что наша революция чем-то отличается от другой? Очевидно, революциями движут одни и те же законы. Приход Кромвеля был естествен. То же самое произойдет и у нас. На какой-то период нужен диктатор. Но в Англии им стал коварный генерал. У нас им будешь ты, Неподкупный. Как древний пророк Моисей, ты выведешь народ из пустыни...

— Когда-то я тоже думал о пророке, — перебил

его Робеспьер, — но ты уверен, что народ хочет, чтобы его за уши тянули к неясному для него светлому будущему?

— Впоследствии народ поймет, что ты был прав. Только путем диктатуры мы можем провести в жизнь вантозские декреты. Только путем диктатуры мы сможем уничтожить Карно, Вадье, Колло д'Эрбуа и прочих изменников.

Вот когда вскочил Робеспьер, вот когда он заходил по комнате, закричал:

— Кровь, опять кровь! Когда мы судили Бриссо и Вернио, мне говорили: «Отрубим головы изменникам, и революция восторжествует». Потом наступила очередь Эбера, потом пришел черед Дантона. Теперь Колло д'Эрбуа, Карно, а затем последуют Билло-Варен, Барер? Кто же следующий? Когда все это кончится? Я устал, я не хочу больше крови.

— Ты сам себе противоречишь. Ты сам говорил, что надо расправиться с предателями.

— Да, если они нападут первыми.

— Кровь прольется. Это будет наша кровь. Кровь наших друзей, лучших патриотов, кровь революции.

— Если суждено небом, пусть будет так. Я верю в наши идеалы, я верю в победу разума. Но я не хочу, слышишь, не хочу, чтобы в памяти народной Робеспьер — человек, который всю жизнь отдал революции, — вдруг остался диктатором. Если мне придется умереть, я погибну, но пусть моя смерть будет примером того, как в революции всегда надо оставаться честным.

И Робеспьер еще долго говорил о том, что революционер скорее должен взойти на эшафот, чем пожертвовать своими принципами, что на их истории, истории французской революции, будет учиться все человечество.

— И надеюсь, дорогой Антуан, что я тебя убедил и ты выбросил из своей светлой головы все мысли о диктатуре с чьей бы то ни было стороны.

Сен-Жюст встал.

— Не надо так подчеркивать последние слова, Максимилиан. К сожалению, я все понял. Без тебя нет и меня. Но горько сознавать, что все-таки я прав, и в моей правоте ты убедишься очень скоро.

...Сен-Жюст возвращался по пустынным ночным улицам Парижа и чувствовал себя человеком, который один бодрствует, когда все кругом спят,— нет, не сейчас, ночью, спят, а вообще спят. Вероятно, то же испытывает путник, который один смог подняться на неприступную вершину и с нее разглядеть скрытый для всех оставшихся внизу верный путь. Это чувство было и радостным и вместе с тем походило на боль, он знал, что стоящие внизу ему не поверят, что ему, поднявшемуся выше всех, придется спуститься и вместе со всеми тупо идти по другой дороге, которая, как он увидел, ведет к пропасти. Если же все кругом спят, то он, полный сил и решимости продолжать борьбу, тоже вынужден заснуть, а неприятель подступает к городу.

— Вся трагедия,— думал Сен-Жюст,— состоит в том, что Робеспьер устал, что он уже не способен идти дальше. А без Робеспьера не может продолжать свой путь и Сен-Жюст. Через два года Франция пошла бы за Сен-Жюстом, но сейчас — нет, безнадежно. Если прав Робеспьер, если их миссия состоит в том, чтобы достойно умереть, то умрут они достойно. Тут нет сомнений. Но хоть перед смертью Робеспьер убедится в том, как дальновиден был Сен-Жюст.

Правда, сдаваться совсем без боя он не собирался. Оставался еще первый вариант, предложенный Сен-Жюстом. Может, Робеспьер одумается и примет его.

И Сен-Жюст делал все, что было в его силах.

5 термидора Сен-Жюст привел Робеспьера на заседание Комитета. Даже Билло-Варен и тот был расстроган и обратился к Робеспьеру со следующими словами: «Мы ведь твои друзья, мы всегда шли вместе». Но снова раздались голоса, обвиняющие Робеспьера в диктатуре.

Однако Сен-Жюст еще надеялся сохранить единство правительства. Он договорился с Барером. Он, Сен-Жюст, выступит с программной речью, которая примирит враждующие стороны.

8 термидора на трибуну Конвента поднялся Робеспьер. Его речь была потрясающая. Конвент сидел, как парализованный. Еще раз Сен-Жюст увидел, какую силу представлял собой великий человек. Но эта сила была в то же время и слабостью Робеспьера — он слишком на себя надеялся. Он отказался от всяких попыток компромисса и объявил войну буквально всем. В той обстановке, которая теперь сложилась в Конвенте, объявить войну всем означало открытое самоубийство. Но появилась надежда: депутаты стали спрашивать у Робеспьера имена заговорщиков. Имена! Сен-Жюст еле сдержался, чтобы не выкрикнуть с места: «Назови несколько имен, и тогда все успокоится и пойдут за тобой!» Но Робеспьер еще верил в свою несокрушимость. Он не хотел нападать первым и не назвал имен. Это было равносильно подписанию собственного смертного приговора.

И потом, когда начались бурные события ночи 9 термидора, когда Сен-Жюст узнал о торжестве Робеспьера в Якобинском клубе (победа, в долговечность которой Сен-Жюст не верил), когда взбешенные члены Комитета обращались к Сен-Жюсту с угрозами и уже открыто договаривались об аресте робеспьеровской Коммуны, — Сен-Жюст продолжал спо-

койно писать свой доклад, доклад, в котором он еще пытался примирить враждующие стороны, сохранить правительство, сохранить революцию, но на успех которого он рассчитывал лишь как на чудо, он, человек, не верящий в чудеса.

И утром, когда он поднялся на трибуну, он уже твердо знал, что все погибло, что революция кончилась и что единственное, чего он добьется — докажет свою правоту Робеспьеру. Слабое утешение! Кому нужна эта правота?

И когда почти тут же Сен-Жюста прервал Тальен, а потом Билло-Варен и на протяжении нескольких часов заговорщики сменяли друг друга — и, надрываясь в истерике, кричали Барер, потом Вадье, потом опять Тальен, Лежандр и Колло д'Эрбуа; когда непрерывно звонил колокольчик председателя, заглушая речи немногих верных патриотов; когда изменники выстроились у трибуны и не давали слова Робеспьеру, пока Максимилиан не сорвал голос и не задохнулся; когда в конце концов незаметный, как мышь, депутат Луше предложил арестовать Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона, а со всех сторон неслись вопли: «Долой тирана!» — Сен-Жюст смотрел на этих людей, которых он считал трусами, демагогами, подхалимами, ничтожествами, на этих медуз, выживших только благодаря собственной бездарности, и думал, что именно в эти подлые лапы попадет теперь Франция, что именно эта грязь захлестнет страну, — во время страшных часов агонии революции Сен-Жюст неподвижно стоял на трибуне, скрестив руки и не произнося ни слова.

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. Слово герцога де Лианкура	5
Глава II. Вступление к Робеспьеру	16
Глава III. Хроника революции	23
Глава IV. Учредительное собрание	32
Глава V. Грани характера	49
Глава VI. Хроника революции	66
Глава VII. Новые люди	82
Глава VIII. Против течения	93
Глава IX. Хроника революции	105
Глава X. Жирондисты идут в атаку	118
Глава XI. Хроника революции	134
Глава XII. Накануне	142

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Робеспьер вспоминает последний год	160
Хроника революции	282
Реквием героям французской революции	296
Сен-Жюст	299

Гладилин Анатолий Тихонович.

Г52 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ РОБЕСПЬЕРА. Повесть о великом французском революционере. М., Политиздат, 1970.

319 с. с илл. (Пламенные революционеры).

P2 + 9(М)31

Редактор *А. П. Пастухова*

Иллюстрации художника *И. И. Блиоха*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 13 ноября 1969 г. Подписано в печать 10 апреля 1970 г. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 14,61. Учетно-изд. л. 13,40. Тираж 200 тыс. экз. А 06047.

Заказ № 3024. Цена 63 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».

